

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://filosoff.org/> приятного чтения!

Михаил Осипович Гершензон Избранное. Мудрость Пушкина
Мудрость Пушкина[1 – Эюд «Скрижалъ Пушкина», изъятый автором из книги, но сохранившийся в части тиража, помещен в Приложении настоящего издания [Ред.].][1 – Печатается по: М. О. Гершензон. Мудрость Пушкина. Т-во «Книгоиздательство Писателей в Москве». М., 1919. Приложение (Северная любовь Пушкина; Пушкин и гр. Е. К. Воронцова; Друг Пушкина Нащокин) публикуется в составе сб. «Образы прошлого» (1912), где эти очерки были собраны впервые (см. т. 3 наст. издания). Комментарии составлены Е. Ю. Литвин.]
Мудрость Пушкина[2 – Одноименный с названием книги очерк опубликован впервые в сб. «Мысль и Слово». Философский ежегодник, издаваемый под редакцией Г. Шпета. М., 1917. С. 1–37. Однако в начале 1917 г. Гершензон дважды выступал с лекцией «Мудрость Пушкина» (16 января в БЗК в Москве и 26 января в зале Тенишевского училища в Петрограде). Об этом он рассказывает в письмах к брату от 17 и 30 января 1917 г. – См.: Гершензон М. О. Письма к брату. Изд. М. и С. Сабашниковых. М., 1927. С. 179–181.]

1

Русская критика всегда твердо знала, что поэты не только услаждают, (но и учат. И в поэзии Пушкина помимо ее формальных достоинств – необычайной художественности, правдивости, народности и пр. – критика никогда не забывала отмечать еще иную ценность: ее философский смысл. Было ясно, что в поэзии Пушкина выразилось его мировоззрение, что оно с помощью красоты глубоко внедряется в читателя и, следовательно, представляет могучую воспитательную силу. Естественно, что этот предмет занял видное место в критической литературе. Как же изображали до сих пор мировоззрение Пушкина?

Белинский писал: «Натура Пушкина (и в этом случае самое верное свидетельство есть его поэзия) была внутренняя, созерцательная, художническая. Пушкин не знал мук и блаженства, какие бывают следствием страстно-деятельного (а не только созерцательного) увлечения живою, могучею мыслью, в жертву которой приносится жизнь и талант. Он не принадлежал исключительно ни к какому учению, ни к какой доктрине; в сфере своего поэтического мирозерцания он, как художник по преимуществу, был гражданин вселенной, и в самой истории, так же как и в природе видел только мотивы для своих поэтических вдохновений, материалы для своих творческих концепций... Лирические произведения Пушкина в особенности подтверждают нашу мысль о его личности. Чувство, лежащее в их основании, всегда так тихо и кротко, несмотря на его глубину, и вместе с тем так человечно, гуманно!.. Он ничего не отрицает, ничего не проклинает, на все смотрит с любовью и благословением. Самая грусть его, несмотря на ее глубину, как-то необыкновенно светла и прозрачна; она умиряет муки души и целит раны сердца. Общий колорит поэзии Пушкина и в особенности лирической – внутренняя красота человека и лелеющая душу гуманность»[3 – Белинский В. Г. Сочинения Александра Пушкина. Статья пятая (цит. по изданию: Белинский В. Г. Собрание сочинений в девяти томах. Т. 6, М.: Художественная литература. С. 282–283 (далее: Белинский)].
Далее Белинский описывает чувство Пушкина, как неизменно «благородное, кроткое, нежное, благоуханное и грациозное», и заключает отсюда: «В этом отношении, читая его творения, можно превосходным образом воспитать в себе человека, и такое чтение особенно полезно для молодых людей обоюбого пола. Ни один из русских поэтов не может быть столько, как Пушкин, воспитателем юношества, образователем юного чувства»[4 – Там же. С. 283.]

Достоевский в своей знаменитой речи представил Пушкина отчасти бессознательным выразителем русского народного гения, поскольку он в своем творчестве проявил присущие русскому народу всемирную отзывчивость, способность к всечеловеческому единению и братской любви. Сознательную же его заслугу Достоевский видит в двойственной проповеди, обращенной к русскому обществу; именно, он-де первый, отрицательными типами Алеко и Онегина, указал на болезнь русского интеллигентного общества, оторванного от народа, и первый, положительными типами Татьяны, Пимена и других, взятыми из народного духа, указал обществу путь исцеления: обращение к народной правде. Правду эту, проповеданную Пушкиным, Достоевский выражает так: «Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость. Смирись, праздный человек, и прежде всего потрудишься на родной ниве... Не вне тебя правда, а в тебе самом; найди себя в себе, подчини себя себе, овладей собой, и узришь правду. Не в вещах эта правда, не вне тебя и не за морем

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org
где-нибудь, а прежде всего в своем собственном труде над собою. Победишь себя, усмиришь себя – станешь свободен, как никогда и не воображал себе, и начнешь великое дело», и т. д. [5 – Ф. М. Достоевский выступил со своей знаменитой речью о Пушкине в июне 1880 г. на втором заседании общества любителей российской словесности, проходившего в рамках мероприятий, посвященных открытию в Москве памятника А. С. Пушкину. Она была опубликована в августовской книжке «Дневника писателя» за 1880 г. Гершензон в вольном пересказе цитирует следующие фразы из речи Достоевского: «фантастический и нетерпеливый человек жаждет спасения пока лишь от явлений внешних;...И никогда-то он не поймет, что правда прежде всего внутри его самого <...> Нет, эта гениальная поэма («Цыганы». – Е.Л.) не подражание! Тут уже подсказывается русское решение вопроса, «проклятого вопроса» по народной вере и правде: «Смирись, гордый человек, и прежде всего потрудись на родной ниве», – вот это решение по народной правде и народному разуму. «Не вне тебя правда, а в тебе самом, найди себя в себе, подчини себя себе, овладей собой – и узришь правду. Не в вещах эта правда, не вне тебя и не за морем где-нибудь, а прежде всего в своем собственном труде над собою. Победишь себя, усмиришь себя, начнешь великое дело и других свободными сделаешь и узришь счастье, ибо наполнится жизнь твоя, и поймешь наконец народ свой и святую правду его». (Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений в 30-ти томах. Т. 26, л.: Наука, 1984. С. 138, 139.)]

Пыпин изображал Пушкина «поэтом-гуманистом» [2 – Пыпин А. Н. Характеристики литературных мнений. 1872–73. Изд. 3. С. 55, 70 и 88.]. «Пушкин, как художник, был носителем идеи о достоинстве человеческой личности, проникнут был стремлением к правде, глубоким гуманным чувством, убеждением в необходимости просвещения и в свободном действии человеческой мысли; наконец, он проникнут был горячей любовью к своему народу, к его славе и величию». Словом, «он стремился служить просвещению, добру и правде». И общественное значение его поэзии весьма велико: «как прелесть стихов, то есть художественная сторона его произведений, впервые приобщала массу общества к наслаждению чистой поэзией и уже тем оказывала великую услугу внутреннему развитию общества, так и его высокие нравственные идеи, идеи чистой человечности, благотворно влияли на воспитание общества».

Вл. Соловьев [3 – Соловьев Вл. Значение поэзии Пушкина // Вестник Европы г. 1899, декабрь. С. 709–711.] утверждает, что Пушкин, более всего дорожа в своем творчестве чистой поэзией, тем не менее признавал за собою и нравственное воздействие на общество, ибо «и чистая поэзия приносит истинную пользу, хотя не преднамеренно». Вл. Соловьев вкладывает в уста Пушкина такие слова, обращенные к толпе: «То добро, которое вы цените, – оно есть и в моем поэтическом запасе», и под добром Соловьев понимает здесь: пробуждение добрых чувств и проповедь милосердия к падшим.

Д. Н. Овсяннико-Куликовский [4 – Овсяннико-Куликовский Д.Н. А. С. Пушкин: Произведения в стихотворной форме // История русской литературы XIX в. Изд. Т-ва Мир. Вып. 5. 1908. С. 373–376.] признает Пушкина чистым художником («гений по преимуществу объективный») и не приписывает ему никакой активной проповеди, о мировоззрении же его говорит следующее: «Что касается общего характера и настроения лирики Пушкина, то в этом отношении нужно различать два периода: в первом, закончившемся во второй половине 20-х годов, лирика Пушкина характеризуется радостной отзывчивостью на все «впечатления бытия», светлым, оптимистическим воззрением на мир и человечество, гармонической уравновешенностью поэтических дум и чувств. Лишь изредка проскальзывали у него скорбные ноты грусти, уныния, разочарования, чтобы сейчас же умолкнуть и утонуть в яркой жизнерадостности его поэтического мирозерцания. Во втором периоде, начинающемся в половине 20-х годов, эти ноты появляются чаще и звучат громче... Великий поэт был утомлен жизнью, нашей русской дореформенной жизнью, и рвался «на волю», понимая под «волей» личную независимость, свободу от светских обязательств, от дрязг жизни, от всех удручающих впечатлений действительности. Он жаждал «покоя», внутреннего мира, – и в этом стремлении он доходил до резкого протеста против обязательств, какие предъявляют человеку общество, среда, «свет», публика, государство. Он переживал полосу резкого, раздражительного, капризно-обидчивого индивидуализма. Но несомненно, что это не было у него принципом, не входило в систему его убеждений, это было только настроением... Ссора поэта с толпой была лишь эпизодом в истории его разлада с действительностью, одним из выражений – и притом наименее удачных – той душевной отчужденности от всего окружающего, которая овладевала гением Пушкина»...

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org

Таковы наиболее авторитетные и влиятельные суждения о поэзии Пушкина за 70 лет. Как ни велики разногласия между ними, в одном они сходятся (и этот приговор есть общий приговор минувших поколений, он тысячеголосым эхом перекликается во всей литературе о Пушкине): вольно или невольно, Пушкин деятельно служил так называемому общественному прогрессу; несмотря на все отклонения, общий итог его творчества должен быть признан безусловно положительным в смысле соответствия основным задачам культуры, так как его поэзия своей формой и содержанием сеет в душах семена правды, любви, милосердия, чуткости к красоте и добру. Одним словом, человечество строит на земле величественный храм разумного и любовного общежития, и Пушкин был и остается одним из полезнейших участников этой зидательной работы.

Было бы праздным делом разбирать и оспаривать доводы, на которые опирается эта оценка. Ежели мы, нынешнее поколение, видим другое в поэзии Пушкина, не лучше ли прямо высказать наше новое понимание? Та оценка была, без сомнения, вполне добросовестна; но наше право и наша обязанность – прочитать Пушкина собственными глазами и в свете нашего опыта определить смысл и ценность его поэзии.

2

Наши символисты не правы, когда утверждают, что искусство бывает двух родов: символическое, то есть открывающее тайны, – и только пленительное [6 – Возможно, что Гершензон имел в виду уже ставшее к тому времени распространенным саморазграничение символистского течения на два потока: раннее – эстетское («пленительное») и религиозно-мистическое (по Гершензону, «тайное»), ассоциирующиеся в первом случае с Брюсовым и Бальмонтом и, с другой стороны, так называемыми «старшими символистами» и «младосимволистами» (Вяч. Иванов, Блок, Белый и др.) (За помощь в данном комментарии благодарю ведущего научного сотрудника ИМЛИ И. В. Корецкую)]. Нет: всякое искусство открывает тайны, и всякое в своем совершенстве непременно пленительно.

Дело художника – выразить свое видение мира, и другой цели искусство не имеет; но таков таинственный закон искусства, что видение вовне выражается тем гармоничнее, чем оно само в себе своеобразнее и глубже. Здесь, в отличие от мира вещественного, внешняя прелесть есть безошибочный признак внутренней правды и силы. Пленительность искусства – та гладкая, блестящая, переливающая радугой ледяная кора, которою как бы остывает огненная лава художнической души, соприкасаясь с наружным воздухом, с явью. Или иначе: певучесть формы есть плотское проявление того самого гармонического ритма, который в духе образует видение. Но как бы ни описывать это явление, оно навсегда останется непостижимым. Ясно только одно: чем сильнее кипение, тем блестящее и радужнее форма.

Эта внешняя пленительность искусства необыкновенно важна: она играет в духовном мире ту же роль, какую в растительном царстве играет яркая окраска цветка, манящая насекомых, которым предназначено разносить цветочную пыль. Певучесть формы привлекает инстинктивное внимание людей; еще не зная, какая ценность скрыта в художественном создании, люди безотчетно влекутся к нему и воспринимают его ради его внешних чар. Но вместе с тем блестящая ледяная кора скрывает от них глубину, делает ее недоступной; в этом – мудрая хитрость природы. Красота – приманка, но красота – и преграда. Прекрасная форма искусства всех манит явным соблазном, чтобы весь народ сбегался глядеть; и поистине красота никого не обманет; но слабое внимание она поглощает целиком, для слабого взора она непрозрачна: он осужден тешиться ею одной, – и разве это малая награда? Лишь взор напряженный и острый проникает в нее и видит глубины, тем глубже, чем сам он острее. Природа оберегает малых детей своих, как щенят, благодетельной слепотою. Искусство дает каждому вкушать по силам его, – одному всю свою истину, потому что он созрел, другому часть, а третьему показывает лишь блеск ее, прелесть формы, для того, чтобы огнепалая истина, войдя в неокрепшую душу, не обожгла ее смертельно и не разрушила ее молодых тканей.

Так и поэзия Пушкина таит в себе глубокие откровения, но толпа легко скользит по ней, радуясь ее гладкости и блеску, упиваясь без мысли музыкой стихов, четкостью и красочностью образов. Только теперь, чрез столько лет, мы начинаем видеть эти глубины подо льдом и учимся познавать мудрость Пушкина сквозь ослепительное сверкание его красоты.

В науке разум познает лишь отдельные ряды явлений, как раздельны наши внешние органы чувств; но есть у человека и другое знание, целостное, потому что целостна самая личность его. И это высшее знание присуще всем без изъятия, во всех полное и в каждом иное; это целостное видение мира несознаваемо-реально в каждой душе и властно определяет ее бытие в желаниях и оценках. Оно также – плоть опыта, и обладает всей уверенностью опытного знания. Между людьми нет ни одного, кто не носил бы в себе своего, беспримерного, неповторимого видения вселенной, как бы тайнописи вещей, которая, констатируя сущее, из него же узаконяет долженствование. И не знаем, что оно есть в нас, не умеем видеть, как оно чудным узором выступает в наших разрозненных суждениях и поступках; лишь изредка и на мгновение озарит человека его личная истина, горящая в нем потаенно, и снова пропадет в глубине. Только избранникам дано длительно созерцать свое видение, хотя бы не полностью, в обрывках целого; и это зрелище опьяняет их такой радостью, что они как бы в бреду спешат поведать о нем всему свету. Оно не изобразимо в понятиях; о нем можно рассказать только бессвязно, уподоблениями, образами. И Пушкин в образах передал нам свое знание; в образах оно тепло укрыто и приятно на вид; я же вынимаю его из образов, и знаю, что, вынесенное на дневной свет, оно покажется странным, а может быть, и невероятным.

3

Пушкин был европеец по воспитанию и привычкам, образованный и светский человек XIX века. И всюду, где он высказывал свои сознательные мнения, мы узнаем в них просвещенный, рационально-мыслящий ум. В идеях Пушкин – наш ровесник, плоть от плоти современной культуры. Но странно: творя, он точно преображается; в его знакомом, европейском лице проступают пыльные морщины Агасфера [7 – * Агасфер – «Вечный жид»; персонаж христианской легенды позднего западноевропейского средневековья. Имя Агасфер – стилизованное библейское имя, произвольно заимствованное из Ветхого завета (легенды об Эсфири); в более ранних версиях легенды встречаются и другие имена – Эспера-диос («Надейся на бога»), Бутадеус («ударивший бога»), Картафил (см. Мифы народов мира. М., 1989. С. 54).], из глаз смотрит тяжелая мудрость тысячелетий, словно он пережил все века и вынес из них уверенное знание о тайнах. В своей поэзии он мертв для современности. Что ему дневные страсти и страдания людей, волнения народов? Все, что случается, случалось всегда и будет повторяться вечно; меняются радужные формы, но сущность остается та же; от века неизменны мир и человек. В несметно-разнообразных явлениях жизни все вновь и вновь осуществляются немногие закономерности, с виду такие простые, – повторяются извечные были; и человек знает это, давно разгадал однообразие и безысходность своих судеб, и с незапамятных времен как бы сам себе неустанно твердит правду роковых определений. Эту древнюю правду носит в себе Пушкин; эти немногие повторные были он видит в событиях дня. Он беспримерно индивидуален в своем созерцании, и однако чрез его мышление течет поток ветхозаветного опыта.

Пушкин – язычник и фаталист. Его известное признание, что он склоняется к атеизму [8 – Гершензон имеет в виду следующую фразу из одесского письма Пушкина П. А. Вяземскому, датированному апрелем – первой половиной мая 1824 года: «... читая Шекспира и Библию, святой дух иногда мне по сердцу, но предпочитаю Гёте и Шекспира. – Ты хочешь знать, что я делаю, – пишу пестрые строфы романтической поэмы и беру уроки чистого афеизма» (Х. С. 70). Письмо полностью не сохранилось, оно было перлюстрировано. Именно эти строки послужили основной причиной высылки Пушкина из Одессы в Михайловское.], надо понимать не в том смысле, будто в такой-то момент своей жизни он сознательно отрекся от веры в Бога. Нет, он таким родился; он просто древнее единобожия и всякой положительной религии, он как бы сверстник охотникам Месопотамии или пастухам Ирана. В его духе еще только накоплен материал, из которого народы позднее, в долгом развитии, выкуют свои верования и культы. Этот материал, накопленный в нем, представляет собою несколько безотчетных и неоспоримых уверенностей, которые логически связаны между собою словно паутиными нитями и образуют своего рода систему.

Самый общий и основной догмат Пушкина, определяющий все его понимание, есть уверенность, что бытие является в двух видах: как полнота, и как неполнота, ущербность. И он думал, вполне последовательно, что полнота, как внутренне-насыщенная, пребывает в невозмутимом покое, тогда как ущербное непрестанно ищет, рыщет. Ущербное вечно терзаемо голодом, и оттого всегда стремится и движется; оно одно в мире действует.

Эта основная мысль Пушкина представляла как бы канон, которому неизменно, помимо его воли, подчинялось его художественное созерцание. Всюду, где он изображал совершенство, он показывал его бесстрастным, пассивным, неподвижным. Таким изображен райский дух в стихотворении «Ангел»: он только есть, но абсолютно недвижим, даже не смотрит, потому что и взгляд – уже действие: он в дверях Эдема сияет поникшею главой [5 – В Дивеевском житии Серафима Саровского есть рассказ о девушке, святой, которая ходила, опустив глаза в землю, – не глядела.]. Летает, смотрит и говорит, движимый внутренней тревогой, демон, олицетворение неполноты. Если бы спросить Пушкина, что же такое Бог? – он должен был бы ответить: Бог – на последней ступени, выше ангелов, потому что ангелам еще присуще бытие, которое есть все же наименьшая действительность; Бог – абсолютное небытие. Рисуя совершенную красоту, Пушкин неизменно скажет: «все в ней гармония», и представит ее в состоянии полного покоя: «Она покоится стыдливо в красе торжественной своей». Так же изобразит он и Марию в «Бахчисарайском фонтане»; он показывает ее и нам, и Зареме спящую: она «покоилась», «казалось, ангел почивал», и пробужденная Заремой, она почти не смотрит, не слышит, не говорит; она – ангельской природы. Но действует пылко, крадется в ночи, и смотрит, и грозит – волнуемая страстью Зарема. В ней нет самобытной полноты, ей нужна для завершенности любовь Гирея. Бездействен Моцарт, исполненный небесных сил, и ничего не жаждет на земле, но действовал всю жизнь и пред нами действует, убивает Моцарта Сальери, которому дан неполный дар, более гнетущий, чем ничего. Поэтому и Татьяна на высоте своей представлена в состоянии покоя. Каковы бы ни были мотивы, побудившие Пушкина выдать ее замуж помимо ее воли и вложить в ее уста слова отречения, – несомненно, тайным фокусом всех его соображений был предносившийся ему зрительный образ Татьяны. Весь роман есть собственно история двух встреч Татьяны и Онегина – в саду и в гостиной. В молодости ущербная Татьяна вспыхнула страстью, и в страсти действовала; теперь она созрела до полноты и бездействия. В представлении Пушкина активность помрачила бы ее идеальный облик; решилась она действовать, – оставить мужа, и пр. – она изменила бы своей природе. В полном расцвете своем Татьяна должна была явиться бездейственной (и Пушкин в конце поэмы интуитивно все вновь и вновь подчеркивает ее безмятежность, «покой») – как Онегин, напротив, должен был явиться алчущим и страстным, ибо только так вполне проявлена их противоположная сущность. И оттого же, наконец, по мысли Пушкина, «гений и злодейство – две вещи несовместные», потому что гений – полнота, то есть бездейственность, а злодейство как раз – бешенство действенности, не знающее никаких границ, рожденное последним голодом.

Что же это? Значит в Пушкине ожил древний дуализм Востока, и опять он делит людей на детей Ормузда и детей Аримана [9 – Ормузд – другие наименования: Ахура Мазда Авест «Господь Мудрый»; древнеперс. Аурамазда; среднеперс. Ормазд, в грецизированной передаче Оромаздес. Верховный бог зороастрийского пантеона, в системе дуализма тождественный мировому Добру и противостоящий Анххро Майнью (см. ниже). Представление восходит к культуре Ахуров в индо-иранской религии; по одной из версий, уже в то время Ахура Мазда почитался у многих племен как верховный бог, связанный с небом и иногда олицетворяющий «небесную твердь». Ариман – другое наименование Анххро Майнью Авест. «Злой Дух»; среднеперс. и фарси Ахриман; в грецизированной передаче Ариман. В зороастрийских религиозных системах всех эпох – воплощение Мирового Зла, антагонист Ахура Мазды. (См.: Зороастрийская мифология. Рак И. Ф. Мифы древнего и средневекового Ирана // Нева, СПб., 1998. С. 446, 454.)]? Но ведь с тех пор человек увидел над двойственностью первоначального опыта небесный купол и постиг все сущее как единство в Боге; и ведь прозвучала же в мире весть о спасении, указавшая грешной душе в ней самой открытую дверь и лестницу для восхождения в совершенство. – Но Пушкин ничего этого не знает. Для него полнота и ущерб – два вечных начала, две необратимые категории. Он верит, что полнота – дар неба и не стяжается усилиями; ущербное бытие обречено неустанно алкать и действовать, но оно никогда не наполнится по воле своей.

4

Пушкин многократно, в разных видах, изображал встречу неполноты с совершенством. Самая мысль сводить их лицом к лицу показывает, что он знал между ними какие-то отношения. Я остановлюсь на трех таких встречах. Эти три рассказа помогут нам яснее уразуметь его свидетельство. Именно, он утверждает, что полнота излучает некий свет, и что ущербное восприимчиво к этим лучам. Отсюда ясно, во-первых, что полнота, по мысли Пушкина, не совершенно пассивна; она не действует только из своей индивидуальной воли, у нее такой воли вовсе нет, но самое ее бытие есть

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org
 проявление и действие высшей силы. Во-вторых, и неполное не безусловно замкнуто: оно не может не раскрываться, когда его касается сияние полноты, не может не принимать в себя ее лучей. И вот Пушкин рисует три таких встречи. Первая – в стихотворении «Ангел»: демон, глядя на ангела, впервые познает жар умиления. Это – наилучшая встреча; обаяние совершенства взволновало демона, но его волнение разрешается само в себе, не переходит в действие, и бездействием демон на мгновение приобщен к ангельскому бытию. Умиление благочестиво и мудро, ибо оно утверждает полноту, как высшую себя, и не притязает смешаться с нею, что и невозможно. Вторая встреча – в последней песне «Онегина». В окончательной зрелости своей Татьяна и Онегин противостоят друг другу, как ангел и демон на земле, и Онегин, терзаемый своей неполнотой, гонимый ею по свету, – как демон, летающий над адской бездной, – Онегин в созерцании Пушкина неизбежно уязвлен обаянием Татьяны. В нем загорается чувство, как в демоне, но иное; он действует, – всюду ищет Татьяну, пишет ей, молит о любви; его чувство – не безгрешное умиление демона: его чувство активно, то есть причастно несовершенству. Это худшая встреча. Любовь кощунственна и близорука: она мнит свое несовершенное бытие вполне однородным с полнотой и оттого посягает на слияние с нею, что невозможно; и действуя с целью осуществить свой кощунственный и безнадежный замысел, она тем самым и себя еще более закрепощает неполноте, и вовлекает в движение, в действие, то есть в ущербность, предостоящее ему совершенство. Наконец, третья встреча, худшая из всех, – когда явление Моцарта возбуждает Сальери к максимальной активности, к злодейству. Зависть нечестива и уже совсем слепа; она полагает свою ущербность единственно законной формой бытия, а полноту считает неправой случайностью, оттого силится рассеять явление полноты. Но это – безумие: явление полноты – только проявление некоего Целого, Большого; можно устранить конкретное явление полноты, но не силу, родившую его и рождающую вечно. А своим безумным действием ущербное уже окончательно ввергает себя в неутолимую тревогу, в неисходную деятельность.

5

Итак, по мысли Пушкина, ущербный бессилён исцелиться произвольно. Всякое желание и действие проистекает из ущербной природы; поэтому взалкав совершенства и домогаясь его, ты этим новым желанием и действием только глубже погружаешь себя в ущербность. Знай же, что ты заключен в порочный круг, и не суживай его усилиями выступить за окружность. Напротив, смиряйся пред совершенством, созерцай его бескорыстно; тогда, бездействием умиления, ты хоть мимолетно вступаешь в покой совершенства. Пушкин трогательно любил это чувство, лелеял его в себе и с любовью изображал в других. Самое слово «умиление» он повторял многократно. Он знал терзания совести, «змеи сердечной угрызенья», но его раскаянье всегда молитвенно и смиренно. Таковы строфы «Когда для смертного умолкнет шумный день»; таков его ответ Филарету, чистая песнь сокрушения и благоговенья пред святостью:

Я лил потоки слез нежданных
 И язвам совести моей
 Твоих речей благоуханных
 Отраден чистый был елей...
 Твоим огнем душа палима,
 Отвергла мрак земных сует,
 И внемлет арфе серафима

В священном ужасе поэт. [10 – Стихотворение Пушкина «В часы забавиль праздно скуки...» (1830) (III. С. 157).]

Этот священный ужас – то самое чувство, которое испытал демон, созерцая ангела. Умиление внушает Пушкину его Мадонна, «чистейшей прелести чистейший образец»; и всюду, где ему являлось, хотя бы в телесном образе, совершенство, – оно исторгало у него такое признание; он «благоговеев богомольно перед святыней красоты», его душа трепещет «пред мощной властью красоты». Даже его свирепый Гирей обезоружен святой невинностью Марии. Поэзия Пушкина исполнена умилением, каждый его взгляд на прекрасное и каждое слово о нем суть умиление. Как Пушкин мыслил совершенство и созерцал красоту – поистине, «ангел Рафаэля так созерцает божество» [6 – В последней книжке А.С. Волжского (изд. «Путь») хорошо сказано о таком же, как у Пушкина, отношении русского простонародья к святым: умиляется на святость, но не воделеет ее. – И немецкий поэт сказал: Die Sterne, die begehrt man nicht (Звезды – их не воделеют. – Гёте).].

А в основании этого светлого чувства лежала у него страшная уверенность, что ущербное бытие неисцелимо. Какая убийственная и какая опасная мысль! Она повергает грешного в отчаяние и парализует его волю. Зачем стремиться к святости, когда это стремление и тщетно, и греховно? Пушкин не только не верит в возможность нравственного совершенствования: он еще осуждает и запрещает его. Двадцать столетий люди исповедуют противоположный догмат: грех исцелим; захоти, и исцелишься. Спор идет на протяжении веков лишь о способах исцеления: делами ли спасается грешный, или верою. Но и под верою обычно понимали некое действительное состояние, пусть только духовное, именно стремление к совершенству, упорное алкание его. Пушкин всем своим умозрением проповедует обратное, квиетизм: оставайся в грехе, не прибавляй к своим желаниям нового и страстнейшего из желаний – желания избавиться от желаний, что и есть святость. Какое поразительное открытие! Не арабская ли кровь влила в артерии Пушкина это знание первобытных душ, живучее темное знание, которое, как бессмертный змей, влачится до нас чрез тысячи и тысячи поколений, то зарываясь в ил невидимо, то всплывая на поверхность сознания? Дикарь, Кальвин и Пушкин – что соединило их в тождественном понимании мира?

6

Но Пушкин еще не досказал своих откровений. Словно отвечая на естественный вопрос: как возможны в несовершенном умиление, любовь и зависть, то есть как возможно вообще, что совершенство воздействует на ущербное, вызывает в нем движение, – Пушкин отвечает: иначе не может быть, ибо ущербное в самом себе имеет потенциальную полноту, – оно одноприродно с совершенством (и в этом смысле любовь отчасти права). Одна и та же сущность, там воплощенная, здесь замкнута как бы проклятием. Есть святость, есть сила на дне мятущейся души. Так, в уединении ты познаешь «часы неизъяснимых наслаждений».

Они дают нам знать сердечну глубь;
В могуществе и в немощах сердечных
Они любить, лелеять научают

Не-смертные, таинственные чувства. [11 – Цитата из стихотворения Пушкина «Еще одной высокой, важной песни...» (1829). В современном академическом издании Пушкина эти строки выглядят так: «Они дают мне знать сердечну глубь, В могуществе и немощах его, Они меня любить, лелеять учат Не смертные, таинственные чувства» (III. С. 150).]

Как клад, лежат они в душе «не-смертные, таинственные чувства», и в лучшие твои минуты ты можешь созерцать его. Это не полнота, а только предощущение ее. Человеку не дано усилием воли оживлять в себе дремлющую силу, так, чтобы она наполнила его, но уже и знать ее в себе есть счастье. По уверению Пушкина, она самовластна и не покорна сознанию; она подчинена каким-то особенным законам.

И вот Пушкин исследует самочинное бытие этой загадочной силы. Если вообще сознательная сторона душевной жизни наименее интересует его, а преимущественное и страстное внимание он направляет на бессознательную деятельность духа, то всего напряженнее, с ненасытной жадностью, он вникает в природу последней стихии, совсем закутанной в ночь.

По его мысли, ущербная личность не скудна, но стихийная воля в ней как бы связана. Здесь сила клокочет на дне; душа безнадежно алчет наполниться ею и мятется в вечном голоде. Что связывает стихию? Пушкин определенно отвечает: разум. Ущербность представляется Пушкину болезнью, когда внутри личности образовалось как бы противотечение, которое оттесняет назад кипящий поток и держит его в безплотном плену. Но случается изредка, стихия вдруг, точно вулканическим взрывом, наполняет душу. Ничто так не волнует Пушкина, как зрелище этих потрясающих извержений, и строфы, где он повествует о них, – без сомнения, вершины его поэзии. Нигде больше он не воспарял вдохновением так высоко, и нигде не видел с такой орлиной зоркостью.

По созерцанию Пушкина формы бытия располагаются в виде лестницы, где на самом верху, как бытие блаженнейшее и объективно-высшее, стоит абсолютная, ненарушимая полнота: врожденное совершенство. Таким Пушкин символически мыслит ангела. На земле совершенство невозможно, но есть люди близкие к ангельскому лику; таковы у Пушкина херувим-Моцарт и большинство его женских образов, как Татьяна и Мария Потоцкая. Он никогда не пробовал определить совершенство; но по всему составу его показаний должно заключить, что оно представлялось ему таким состоянием, когда стихийная сила равномерно распределена в личности, как бы гармонически циркулирует в ней. Эта полнота есть равномерная внутренняя действенность, и она вовне бездейственна [7 – Св. Тереза определяет высшую форму экстаза, как чистое созерцание (*contemplatio pura*); это состояние характеризуется, по ее словам, совершенным замиранием как мысли и слова, так и воли: «Когда восхищение становится полным и общим, тогда человек не проявляет никакой деятельности, не совершает никаких поступков». Так учили и другие мистики.]

Ниже ее стоит, по мысли Пушкина, полнота, дарованная чудом, рождающаяся в экстазе. Она ниже той, потому что менее гармонична и менее устойчива. Как ни мало действует тот, кто из неполного существования разбужен к полноте чудом, – он все же действует. Человек в состоянии экстатической полноты проявляет, по мысли Пушкина, наименьшую возможную действенность, именно действенность изреченного слова. Эта полнота, как и всякая другая, нисходит на душу помимо индивидуальной воли и сознания.

Бедному рыцарю было видение, непостижное уму, и с той поры он «сгорел душой». Вся остальная его жизнь – бездейственное пылание; поразительно, как, сам того не сознавая, Пушкин упорно выставляет на вид праздность бедного рыцаря, его безучастие ко всем мирским делам.

И в пустынях Палестины,
Между тем как по скалам
Мчались в битву паладины,
Именуя громко дам,
«*Lumen coelum, sancta Rosa!*» [8 – «Свет небес, святая Роза!»

(лат.).]

Восклицал он, дик и рьян,
И как гром его угроза
Поражала мусульман.
Возвратясь в свой замок дальный,
Жил он строго заключен,
Все безмолвный, все печальный,
Как безумец умер он. [9 – Цитируется вариант, публикуемый в

«Сценах из рыцарских времен» [Ред.].]

Он не сражается; его единственное действие – слово, почти междометие, да и это последнее его действие скоро угасает совсем.

Мицкевич несомненно был прав, когда назвал «Пророка» Пушкина его автобиографическим признанием [12 – Творчеству и биографии Пушкина А. Мицкевич посвятил следующие работы: «О польских переводах из Дмитриева и Пушкина», «Пушкин и литературное движение в России», а также коснулся его творчества в двух курсах лекций «О славянской литературе» (16.II. 1841; 24.V., 7.VI 1842). Упоминания о стихотворении «Пророк» в них нет.]. Недаром в «Пророке» рассказ ведется от первого лица; Пушкин никогда не обманывал. Очевидно, в жизни Пушкина был такой опыт внезапного преображения; да иначе откуда он мог узнать последовательный ход и подробности события, столь редкого, столь необычайного? В его рассказе нет ни одного случайного слова, но каждое строго-деловито, конкретно и точно, как в клиническом протоколе. Эти удивительные строки надо читать с суеверным вниманием, чтобы не упустить ни одного признака, потому что то же может случиться с каждым из нас, пусть частично, и тогда важно проверить свой опыт по чужому. Показание Пушкина совершенно лично, и вместе вневременно и универсально; он как бы вырезал на медной доске запись о чуде, которое он сам пережил и которое свершается во все века, которое, например, в конце 1870-х годов превратило Льва Толстого из романиста в пророка.

Уже первое четверостишие ставит меня в тупик: нужно слишком много слов, чтобы раскрыть содержание, заключенное в 15 словах этой строфы. Пушкин свидетельствует, что моменту преображения предшествует некое тайное томление, тоска, беспричинная тревога. Дух жаждет полноты, сам не зная какой, привычный быт утратил очарование, и жизнь кажется пустыней. И вдруг, – помимо личной воли, помимо сознания, непременно вслед за каким-нибудь житейским событием, может быть малым, но глубоко потрясающим напряженные нервы («на перепутье»), – наступает чудо.

И вот, начинается преображение: ущербное существо постепенно наполняется силой. Кто мог бы подумать, что ранее всего преображаются органы чувств? Но Пушкин определенно свидетельствует: чудо началось с того, что я стал по-иному видеть, стал замечать то, что раньше было скрыто от моих взоров, хотя и всечасно пред ними. Затем безмерно стал чуток мой слух; я услышал невнятные мне дотоле вечно звучащие голоса вещей. Еще прошел срок, и я не узнал своей речи; точно против воли, я стал скрытен в слове, заговорил мудро и осторожно. Только теперь, когда непонятным образом обновлены уже и зрение, и слух, и слово, – только теперь человек ощущает в себе решимость признаться себе самому и исповедовать пред людьми, что он преображен (пылающий уголь вместо сердца). Но и сознав себя, он одну минуту испытывает смертельный ужас, ибо преображением он исторгнут из общезития и противопоставлен ему, как безумный: «Как труп, в пустыне я лежал». Но вот, нахлынул последний вал, – душа исполнилась до края; теперь он знает: это не личная воля его, это Высшая воля стремится широким потоком чрез его дух. Отныне он не будет действовать, ибо дух его полон; его единственным действием станет слово: «Глаголом жги сердца людей». В то время как деятели будут бороться со злом и проводить реформы, он будет, может быть, выкликать: «Lumen coelum, sancta Rosa!» и клич его будет устрашать ущербных, грозя им Страшным судом.

Наконец, последняя форма экстатической полноты – вдохновение поэта. Это полнота перемежающаяся, наступающая внезапно и так же внезапно исчезающая. Человек, всецело погруженный в ущербное бытие, вдруг исполняется силой; жалкий грешник на краткое время становится пророком, и глаголом жжет сердца людей. Эту двойственность Пушкин изобразил в стихотворении «Поэт». Чем вызывается преображение? чей непостижимый призыв вдруг пробуждает спящую душу? – здесь все тайна; Пушкин говорит метафорами: «Аполлон требует поэта», «до слуха коснулся божественный глагол». Но самую полноту он изображает отчетливо, и если собрать воедино черты, которыми Пушкин обрисовал вдохновение, то оно может быть определено, как гармонический бред.

8

Итак, до сих пор мы нашли у Пушкина два вида полноты: во-первых, полноту врожденную, – совершенство, во-вторых, более или менее полное, более или менее устойчивое наитие. Но дальше открывается, что кроме полноты гармонической, представленной этими двумя формами, Пушкину была ведома еще другая полнота – хаотическая, когда сила тоже всецело наполняет душу, но наполняет не стройно, а как бы бурными волнами или водоворотом, что вовне означает исступленную действительность. Следовательно, в представлении Пушкина верхней бездне, небесной, соответствует нижняя бездна; ущербность в своей последней глубине полярно-противоположна совершенству. И вот что поразительно: Пушкин почти говорит: – «и равноценна ему по мощи и субъективной сладости». Он считает совершенство наивысшей формой бытия, какая вообще возможна, и умиленно благоговеет пред ним, но и о полноте хаотической он говорит восторженно, как о блаженнейшем состоянии твари. Он имеет смелость в XIX веке, в разгар гуманитарной цивилизации, почти приравнять исступление и совершенство, до такой степени их общий признак – душевная полнота, угашение разума, – перевешивает для него различие их частных определений. Счастье на миг приблизиться к ангельскому состоянию, но блаженство также, хотя и мучительное, стать на мгновение Люцифером. Такова подлинная мысль Пушкина: только бы не быть «чадом праха».

Поистине, к большой выгоде дано человеку искусство. Пушкин в стихах исповедует крайне опасные убеждения, которых никогда не дерзнул бы высказать в прозе; кому же охота прослыть сумасшедшим или дикарем! Темно и страшно в глубинах духа; но

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org
поэзия хитра: она прикрывает сверху пучину радужной ледяной корой, которая радуется – и поглощает взоры; а под корой уже свободно и всенародно плавают глубоководные чудовища. Если бы робкие и незрелые увидели, какой вопль негодования поднялся бы! Но они не догадаются; и поэт хранит невинный вид, между тем как педагоги усердно тискают его стихи в хрестоматиях.

Простейшая и самая общая форма хаотической полноты – сумасшествие. Пушкин без обиняков заявляет: я был бы рад расстаться с разумом.

Как бы резво я
Пустился в темный лес!
Я пел бы в пламенном бреду,
Я забывался бы в чаду
Нестройных чудных грез.

И я б заслушивался волн,
И я глядел бы, счастья полн,
В пустые небеса;
И силен, волен был бы я,
Как вихорь, роющий поля,
Ломающий леса.

Вот в чистом виде своем хаотическая полнота, еще совсем не определившаяся, подобная неистовству элементарных сил. Даже и это состояние Пушкин рисует себе с завистью. Еще выше стоит, по его мысли, тот экстаз, тоже бурный, который рождается в отпор внешней преграде, – экстаз бунта, также еще общий человеку и низшей природе. Экстаз сумасшествия беззлобен, экстаз бунта свиреп; первый разрешается бесцельным движением, второй – устремленным на преграду; но оба безудержно-действенны. Такой бунт изображен в стихотворении «Обвал». В этом элементарном явлении Пушкин узнал нечто родное и обаятельное для него – дикую красоту мятежа; вот почему его рассказ, с виду такой сухой, трепещет страстью, вот откуда это благоговейное личное обращение: «О Терек!»

Оттоль сорвался раз обвал,
И с тяжким грохотом упал,
И всю теснину между скал
Загородил,
И терека могущий вал Остановил.

Вдруг, истощась и присмирив,
О Терек, ты прервал свой рев;
Но задних волн упорный гнев
Прошиб снега...
Ты затопил, освирепев,
Свои берега.

Так чума запрудила людям течение их привычных дел, и дух, освирепев, прошиб страх смерти, взыграл восторгом: дух затопил свои берега. Оттого-то

Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане,
Средь грозных волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане,
И в дуновении Чумы.

Всё, всё, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья –
Бессмертья, может быть, залог,

Пушкин прибавляет:

И счастлив тот, кто средь волненья
Их обретать и ведать мог.

Это экстаз разрушительный, злой: берега залиты, обвал пробит, «И Терек злой под ним бежал»; и Вольсингам знает свое беззаконие. И тем не менее Пушкин называет

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org
его «неизъяснимым наслаждением» и видит в нем залог бессмертия, потому что Пушкин обожает в конце концов всякое освобождение «не-смертных чувств», всякий экстаз.

Кто, волны, вас остановил,
Кто оковал ваш бег могучий,
Кто в пруд безмолвный и дремучий
Поток мятежный обратил?
Вы, ветры, бури, взойте воды,
Разружьте гибельный оплот,
Где ты, гроза, символ свободы?
Промчись поверх невольных вод!

Итак, вот верхняя бездна – рай совершенства, и нижняя – ад, где сгорает Вольсингам, «падший дух». Между безднами – все ступени безумия, и всем безумиям Пушкин говорит свое да, потому что всякое состояние полноты, будь то даже полнота бессмысленная или сатанинская, лучше ущербного, то есть разумного существования. Отсюда интерес Пушкина к Разину и Пугачеву; отсюда грустный тон в отброшенной строфе «Кавказа»:

Так буйную вольность законы теснят,
Так дикое племя под властью тоскует, –

и оттого же он с таким презрением и отвращением произносит слово «покой»:

Но скучный мир, но хлад покоя
Счастливец душу волновал...

Мучением покоя
В морях казненного...

Народы тишины хотят
И долго их ярем не треснет...

Паситесь, мирные народы,
Вас не пробудит чести клич!

9

Не как спасенный Вергилий[13 – Речь идет о произведении Данте «Божественная комедия»], но как один из тех, кто среди адских мук, кляня и стеля, повествует Данту о своей плачевной судьбе, так Пушкин низводит нас в ад ущербного существования. Он сам наполовину жил в аду. Здесь стихийная воля пленена разумом и душа безнадежно жаждет наполниться. Оттого ее жизнь – непрерывная смена желаний. Стихия не может подняться со дна, чтобы целостно разрешиться в душе свободным и могучим движением. Лишь без устали, без конца выбивают вверх частичные извержения лавы – наши желания и страсти. Пушкин многократно свидетельствует: желание, страсть – в сущности беспредметны, не направлены ни на что внешнее; действительно, ведь желание – не что иное, как позыв, обращенный внутрь самой души, именно – мечта о том, чтобы замкнутая сила наполнила меня. Но здесь ущербную душу подстерегает соблазн: так как ей не дано воззвать в себе полноту своей волею, то она устремляется на внешнее, как огонь на хворост, чтобы разгореться. Так из общего голода рождается конкретное желание или конкретная страсть. Так Пушкин рисует состояние Татьяны накануне любви:

Давно сердечное томленье
Теснило ей младую грудь;
Душа ждала... кого-нибудь,
И дождалась. Открылись очи:
Она сказала: это он!

И гениальные строки в письме Татьяны говорят о том, как общий голод души субъективно преображается в конкретную страсть:

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org

Ты в сновиденьях мне являлся:
Незримый, ты мне был уж мил,
Твой чудный взгляд меня томил,
В душе твой голос раздавался Давно...

Оттого каждая страсть сулит нам не частичное только, но полное утоление духа.
Дон Жуан справедливо говорит Донне Анне:

С тех пор,
Как вас увидел я, все изменилось.
Мне кажется, я весь переродился.

Так смотрит и каждый человек на предмет своего желания: здесь-то я наконец утолю свой голод.

Но утолить душевный голод может только взыгравшая сила, она поднимается не иначе, как самовластно, по присущим ей законам; страсть же сжигает свой предмет и с ним гаснет сама, то есть сменяется тотчас новым желанием, новой страстью, и обманутый голод разгорается сильнее. Вся жизнь – чередование пламенных вспышек, сулящих блаженство, и мучительных угасаний. Совершенству, разумеется, чужды страсти; о Марии Пушкин говорит: «Невинной деве непонятен язык мучительных страстей», и о гармонической красоте – что в ней «все выше мира и страстей». А Зарема «для страсти рождена», в ее сердце – «порывы пламенных желаний». Таков же Алеко; и нет спасения от страстей, потому что ущербный дух не может не алкать.

Боже, как играли страсти
Его послушною душой!
С каким волнением кипели
В его измученной груди!
Давно ль, надолго ль усмирили?
Оне проснутся: погоди.

Непонятно, как могли усмотреть в «Цыганах» моральную идею. Пушкин хотел представить в Алеко ущербную душу, которая не может не рождать из себя страстей, в какие бы условия ее ни поставить; он хотел также показать, что ущербность и сопряженные с нею страсти присущи не только питомцу культуры, но человеку вообще, хотя в детях степей они несравненно более гармоничны. Алеко и цыгане – только две разновидности неполноты, и это общее в них для Пушкина важнее явного различия между ними. Объединяющий их замысел поэмы полностью и ясно выражен в ее последних строках – странно, что их не замечают:

Но счастья нет и между вами,
Природы бедные сыны!
И под издранными шатрами
Живут мучительные сны;
И ваши сени кочевые
В пустынях не спаслись от бед,
И всюду страсти роковые,
И от судеб защиты нет.

10

Поэтому Пушкин мыслит о страсти двойственно. Он не может не любить ее, потому что страсть – все же полнота души, хотя и преходящая. Его лестница священных безумий не кончается на пороге ущербности: страсть – мгновенная вспышка безумия в самой ущербности. Страсть наполняет душу чудными грезами; Пушкин много раз называет мир пустыней («Не даром темною стезей я проходил пустыню мира?» [14 – Цитата из стихотворения Пушкина «Козлову» (1825).], «доселе в жизненной пустыне», «Что делать ей в пустыне мира» и т. д.): страсть преобразует пустыню в райский сад. По мысли Пушкина, вещи бесцветны, – их окрашивает только воспринимающий дух, смотря по его полноте. Со своей обычной точностью выражений Пушкин говорит: «Страданья... плоды сердечной пустоты», «Минуты хладной скуки, Сердечной пустоты», – и много лет спустя добавляет обратное: «тайный жар, мечты... плоды сердечной полноты». Рисуя бесстрастное время своей жизни, он говорит:

Тянулись тихо дни мои
Без божества, без вдохновенья,
Без слез, без жизни, без любви;

но вспыхнула страсть –

И сердце бьется в упоенье
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь [15 – Цитаты из стихотворения «К***»

(1825), посвященное А. П. Керн.]

Страсть по Пушкину – всплеск стихийной силы, ее сладость и мощь – в ее беззаконии. Она вспыхивает и гаснет по своему произволу; Пушкин говорит безлично: «Душе настало пробужденье». Здесь воля бессильна, а разум сам поражен неожиданностью душевного взрыва; напротив, пробужденная стихия властно покоряет себе всю личность, заставляет ее служить себе. Он говорит:

Душа лишь только разгоралась

(а разгорается она своевольно), –

И сердцу женщина являлась
Каким-то чистым божеством. [16 – Гершензон приводит строки из начальных строк 4-й главы «Евгения Онегина», изъятых Пушкиным. См.: Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: в 10 т. Т. V. С. 528.]

Что же сам человек, с его умом и волею, с его целесообразным стремлением? – Он только орудие сверхличной стихии, которая, пробудившись, владеет им. И так же произвольно страсть угасает, и опять ее угасание определяет волю и разум, а не наоборот. Может ли быть большее рабство, большее унижение гордого разума? Личность – ничто, перо, носимое бурей; ей безусловно законодательствует стихия. Но Пушкин не видит здесь обиды. Он точно удивился, когда впервые сознал свою подданность непонятному закону, как раньше никогда не сознавал; но в нем нет ропота: он только с недоумением констатирует в себе действие этого закона. Женщина, которую он любил когда-то, умерла; казалось бы, весть о ее смерти должна была глубоко взволновать его, но нет:

Напрасно чувство возбуждал я:
Из равнодушных уст я слышал смерти весть,
И равнодушно ей внимал я.
Так вот кого любил я пламенной душой
С таким тяжелым напряженьем,
С такою нежною, томительной тоской,
С таким безумством и мученьем!
Где муки, где любовь? Увы, в душе моей
Для бедной, легковерной тени,
Для сладкой памяти невозвратимых дней
Не нахожу ни слез, ни пени [17 – Цитата из стихотворения Пушкина

«Под небом голубым страны своей родной...» (1826), посвященное памяти Амалии Ризнич (II. С. 250).]

Нет, он не оскорблен владычеством стихии над личностью; напротив, он приемлет ее власть со страстной благодарностью и благоговением. В бессмертных стихах он поет гимн беззаконной стихии, славя ее всюду, где бы она ни проявлялась, – в неодушевленной природе, в звере или в человеческом духе:

Зачем крутится ветер в овраге,
Подъемлет лист и пыль несет,
Когда корабль в недвижной влаге
Его дыханья жадно ждет?
Зачем от гор и мимо башен
Летит орел, тяжел и страшен,
На черный пень? – Спроси его.
Зачем арапа своего
Младая любит Дездемона,
Как месяц любит ночи мглу?

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org

Затем, что ветру и орлу

И сердцу девы нет закона.

Гордись! таков и ты, поэт:

И для тебя закона нет[18 – Цитата из неоконченной поэмы Пушкина

«Езерский» (XIII строфа). См. также «Египетские ночи». В академическом издании Пушкина последние две строчки выглядят так: «Гордись: таков и ты поэт, И для тебя условий нет»(IV. С. 250).].

Этим «гордись» Пушкин подрывает все основы нравственности и общежития. Гордись не моральным поступком, не успехами разумного строительства; как раз наоборот – пусть толпа подчиняется законам разума, – гордиться вправе перед нею тот, кто ощущает в себе беззаконность стихийной воли. К морю Пушкин обращает привет: «Прощай, свободная стихия!» Море чарует его больше всего «грозной прихотью своей», «своенравными порывами».

Смиранный парус рыбарей,
Твоею прихотью хранимый,
Скользит отважно средь зыбей:
Но ты взыграл, неодолимый,
И стая тонет кораблей.

И в человеке – лучшее, когда он «волей своенравной» подобен морю, да и своенравная воля и прихоть волн, по мысли Пушкина, – одна и та же стихия. Он говорит о Байроне, обращаясь к морю:

Твой образ был на нем означен,
Он духом создан был твоим:
Как ты, могущ, глубок и мрачен,
Как ты, ничем неукротим.

11

Итак, Пушкин не устает славословить «упоенье», «пламень упоенья», «упоение страстей». И в то же время он оплакивает страсти, потому что они изнуряют дух. Он называет их не раз: «мучительные сны», он говорит: «страх живет в душе, страстями томимой». Каждая страсть в разгаре своем – минутный экстаз: да будет она благословенна! Но как ужасны последствия страстей! Страсть, сгорая, оставляет горькое чувство, и от многих страстей накапливается многая горечь.

Кто чувствовал, того тревожит
Призрак невозвратимых дней, –
Тому уж нет очарований,
Того змия воспоминаний,
Того раскаянье грызет[19 – Евгений Онегин. Гл. I, строфа XLVI.].

Надо прислушаться к словам Пушкина: «Страстями сердце погубя», «Где бурной жизнью погубил надежду, радость и желанье», «Без упоенья, без желаний я вяну жертвою страстей», «Душевной бури след ужасный». Вот кара: сердце, утомленное страстями, гаснет, холодеет; исчезает очарованье, нет желаний, и жизнь подобна смерти. Эту мысль Пушкин высказывает несчетное множество раз: «Уснув бесчувственной душой», «увядшее сердце», «души печальный хлад», «хладный мир души бесчувственной и праздной», «сердца тяжкий сон». Что же? Значит, надо проклясть эти мгновенные вспышки, оставляющие такой печальный след? Нет, Пушкин не проклянет страсти. Как бы пагубна она ни была, все же она лучше прозябанья. Только одно ненавидел Пушкин на земле, одно презирал в человеке: неспособность к страсти. Как душевная полнота есть высшее состояние личности, так бесстрастие – низшее, последняя нищета души. Один этот признак Пушкин и вкладывал в понятие толпы. Нелепо говорить о его аристократизме: чернь для него – те, кто живет бесстрастно, даже не тоскуя по душевной полноте; слово «хладная» у него – постоянный эпитет к слову «толпа» и встречается десятки раз во всевозможных сочетаниях: «хладная толпа», «хладный свет», «посредственности хладной» и т. п. У него чернь точно определяет себя: «Мы сердцем хладные скопцы». Холод чувств, мерзость тепловатых желаний и производимой ими мелкой суеты, точно ряби на плесневеющем пруде, – вот что он ненавидит всей душой. Здесь не может зародиться

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org
ни одна высокая мечта, ни один подвиг; здесь царит, по слову Пушкина, разврат, как гниль в пруду. Пушкин говорит черни: «В разврате каменейте смело», ибо в холоде сердце каменеет. Он много раз говорит: надо бежать от толпы, от суеты, надо жить «в строгом уединении, вдали охлаждающего света», он боится

Ожесточиться, очерстветь
И наконец окаменеть
В мертвящем упоенье света[20 – Там же. Гл. VI, XLVI.],

Он говорит о Ленском:

От хладного разврата света
Еще увянуть не успев[21 – Там же. Гл. II, VII.].

И самое страшное то, что сердце, перегоревшее в страстях, впадает именно в бесчувственность, становится бесстрастным и холодным, как сердце любого из толпы. Ущербному нет спасенья; пережив ли ряд страстей или не зная их вовсе, – итог один: рано или поздно душу обнимает «печальный хлад». Молодость – пора страстей, хотя не для всех: большинство рождаются холодными; но зрелый возраст сравнивает тех и других. Так думал Пушкин. Старость он неизменно определяет как «охлажденны лета»; он не задумываясь пишет: «Под хладом старости»[22 – Начало стихотворения «Мордвинову» (1827): «Под хладом старости угрюмо угасал...» (III. С. 16).].

Все предопределено, и человек ни в чем не виновен. Холодный не может загореться восторгом, страстный не может не пылать, но не властен и продлить свое горенье. Все печально и ничтожно на земле, кроме душевной полноты, – но она не в нашей воле; мы – как рабы, которым неведомый хозяин бросает подачки – минуты упоенья. Подчас сердце Пушкина наполняется упоеньем горечи, и он вопрошает:

Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал?[23 – Стихотворение «Дар напрасный, дар случайный...» написано 26 мая 1828 г.]

12

Разуменье Пушкина совершенно духовно, то есть имеет своим предметом исключительно жизнь духа, так как в духе он видит не только единственное творческое начало и всеобщего двигателя, но и единственную реальность мироздания, веществу же приписывает лишь призрачное бытие, которое создается и определяется каждый раз данным состоянием духа.

Нет двух миров, но одна и та же стихия царит в природе и в духе. Диким воображением своим Пушкин как будто видит самый лик стихии, и однажды ему напомнил ее Петр:

Лик его ужасен,
Движенья быстры, он прекрасен,
Он весь как Божия гроза.

Человек бессилен повелевать своему духу, то есть стихии, действующей в нем. Наше сознание только извещает нас о наступающем приливе или отливе стихийной силы, но не может их вызывать или даже в самой малой мере воздействовать на них. Поэтому Пушкин должен был безусловно отрицать рациональную закономерность духовной жизни, то есть эволюцию, прогресс, нравственное совершенствование. Там, где повластно царит своеволие стихии, не может быть никаких законов. Тем самым снимается с человека всякая нравственная ответственность.

Отсюда ясно, что Пушкин весьма слабо отличает моральное добро от зла. Он почти равно любит их, когда они рождены в грозе и пламени, и почти равно презирает, когда они прохладны, то есть оценивает их больше по их температуре, нежели по качественному различию. Совершенство по Пушкину – не моральная категория: совершенство есть раскаленность духа, но равномерная и устойчивая, так сказать – гармоническое пыланье («Твоим огнем душа палима»). Когда будет составлен словарь

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org

Пушкина, то несомненно окажется, что никакие определительные речения не встречаются у него чаще, нежели слова пламя и хлад с их производными, или их синонимы, в применении к нравственным понятиям. В его обожании огня и отвращении к холоду сказывается то древнее знание человека, которое некогда привело народы к солнце- и огнепоклонству, к культу Агни, по-русски огня. Самую обитель Бога, небесные селенья, он определяет, как пламя («Где чистый пламень пожирает несовершенство бытия»).

Отсюда понятна также его затаенная вражда к культуре. Ему, как и нам, мир предстоит расколотым на царство стихии и царство разума. В недрах природного бытия, где все – безмерность, беззаконие и буйство, родилась и окрепла некая законодательная сила, водворяющая в стихии меру и строй. Но в то время как люди давно и бесповоротно признали деятельность разума за должное и благо, так что уверенностью эта сделалась как бы исходной аксиомой нашего мышления, – Пушкин исповедует обратное положение. Как и мы, он хочет видеть человека сильным, прекрасным и счастливым, но в такое состояние возносит человека, по его мысли, только разнузданность стихии в духе; и потому он ненавидит рассудок, который как раз налагает на стихию оковы закона. Слово «свобода» у Пушкина должно быть понимаемо не иначе, как в смысле волевой анархии.

Пушкин различает два вида сознания: ущербный, дискурсивный разум, который, ползая во прахе, осторожно расчленяет, и мерит, и определяет законы, – и разум полноты, то есть непосредственное интуитивное постижение. Ущербный разум – лишь тусклая лампада пред этим чудесным узрением, пред «солнцем бессмертным ума». Что Пушкин называет «умом», в отличие от рассудка, – тождественно для него с вдохновеньем: «Вдохновенье есть расположение души к живейшему принятию впечатлений и соображению понятий, следственно и объяснению оных. Вдохновенье нужно в геометрии, как и в поэзии». («О вдохновении и восторге», 1824 г.) Здесь весь смысл – в слове «живейшему»; на нем ударение. Если бы критики, читая «Вакхическую песнь» Пушкина, сумели расслышать главное в ней, – ее экстатический тон, – они не стали бы объяснять слова: «да здравствует разум!» как прославление научного разума. Это стихотворение – гимн вдохновенному разуму, уму-солнцу, которому ясно противопоставляется «ложная мудрость» холодного, расчетливого ума[10 – Пушкин часто употребляет слово «разум» и в смысле рассудка, например: Пылать – и разумом всечасно Смирять волнение в крови. Ясно, что здесь говорится не о том «разуме», который восхваляется в «Вакхической песне». Сравн.: «Думы – плоды подавленных страстей»].

Разум порожден остылостью духа (думы, по его определению, суть «плоды подавленных страстей»). Там, в низинах бытия, где прозябают холодные, разум окреп и вычислил свои мерилы, и там пусть царствует, – там его законное место. Но едва вспыхнуло пламя, – личность тем самым изъята из-под власти разума; да не дерзнет же он святотатственно стеснять бушевание страсти. Вот почему Пушкин, страшно сказать, ненавидит просвещение и науку. Для Пушкина просвещение – смертельный яд, потому что оно дисциплинирует стихию в человеческом духе, ставя ее с помощью законов под контроль разума, тогда как в его глазах именно свобода этой стихии, ничем не стесненная, есть высшее благо. Вот почему он просвещение, то есть внутреннее укрощение стихии, приравнивает к внешнему обузданию ее, к деспотизму. Эти два врага, говорит он, всюду подстерегают божественную силу:

Судьба людей повсюду та же:

Где капля блага, там на страже

Иль просвещение, иль тиран; [24 – Из стихотворения «К морю»

(«Прощай, свободная стихия!», 1824). В академическом издании Пушкина данная строфа выглядит так: «Мир опустел... Теперь куда же Меня б ты вынес, океан? Судьба земли повсюду та же: Где капля блага, там на страже Уж просвещение иль тиран» (II. С. 181).]

В «Цыганах» читаем:

Презрев оковы просвещенья,
Алеко волен как они;

и в уста Алеко он влагает такой завет сыну:

Расти на воле, без уроков...
Пускай цыгана бедный внук
Лишен и неги просвещенья

«Цыган».]

Сколько усилий было потрачено, чтобы забелить это черное варварство Пушкина! Печатали: «там на страже – Непросвещение иль тиран», или: «Коварство, злоба и тиран», «Иль самовластье, иль тиран», и в песне Алеко: «Не знает нег и пресыщенья». Но теперь мы знаем, что Пушкин написал именно так.

Жизнь, учит Пушкин, – всегда неволя, но в огне неволя блаженная, в холоде горькая, рабство скупому закону. И кроме этой жизни нет ничего; рай и ад здесь, на земле. История, поступательный ход вещей? – нет, их выдумали люди. Но есть три состояния стихии в человеческом духе: ущербные желанья, экстазы и безмятежность полноты; есть действительность мелкая и презренная, есть героическая действительность, которая прекрасна и мучительна, и есть покой, глубокий, полный силы, чуждый всякого движенья вовне. Кто осенен благодатной полнотой, тот вовсе не действует, и в этом смысле не живет; лишь тайный свет, безвольно излучаемый им, тревожит бодрствующих, ущербных.

13

Так учил Пушкин. Но он был поэт, а не философ. Мудрость, которую я выявляю здесь в его поэзии, конечно не создалась им, как система идей; но она была в нем, и наше законное право – формулировать его умозрение, подобно тому как можно начертать на бумаге план готового здания. Эти линии плана вполне реальны, ими определяется расположение частей, хотя в самом здании их не видно, – они заложены в камень и орнамент.

Есть разные виды самосознания. Человек, обладающий зрительной памятью, обычно не сознает своей природы, и все же он принадлежит к зрительному типу, что ясно для наблюдателя. Консерватор или революционер основывают свои убеждения, разумеется, на конкретных доводах философского, морального или практического порядка, но исследователь вскрыет и в том, и в другом, как основной узор личности, врожденные склонности и несознанные усмотрения, которыми определяется характер их идей.

Эту сердцевину духа, этот строй коренных усмотрений я пытаюсь обнаружить в Пушкине; слежу линии его скрытого плана и черчу их на плоскости. Оттого так четко в моем чертеже то, что в самой поэзии Пушкина окутано художественной плотью. Я формулирую имманентную философию Пушкина, и мое изложение так же относится к его поэзии, как географическая карта – к самой стране, как линейный план – к зданию, как механическая формула – к самой машине.

Древнее знание живо в каждом из нас, оно сгустилось и затвердело на дне наших слов. Но мы не создаем его, а Пушкин создал в своем личном опыте. И это преимущество он купил дорогой ценой.

14

Пушкину не было дано ни ангельской полноты, ни той, противоположной, которую он знал в Петре, Наполеоне и Байроне. Судьба повела его как раз труднейшей дорогой – через страсти в душевный холод. Как Онегин,

Он в первой юности своей
Был жертва бурных заблуждений
И необузданных страстей,

и как в Онегине, «рано чувства в нем остыли». Начиная с 1819 года он беспрестанно жалуется на возрастающую бесчувственность, вследствие бурных страстей. Он «пережил свои желанья, разлюбил свои мечты», он живет «без упоительных страстей»; он жалуется: «тягостная лень душою овладела», «остыла в

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org
сердце кровь», «душа час от часу немеет, в ней чувств уж нет», «в сердце, бурями
смиреном, теперь и лень, и тишина»; он говорит:

С этих пор
Во мне уж сердце охладело,
Закрылось для любви оно,
И все в нем пусто и темно;

он сравнивает себя с Онегиным:

Я был озлоблен, он угрюм;
Страстей игру мы знали оба;
Томила жизнь обоих нас;
В обоих сердца жар погас.

Но он с юности знал тоску по совершенству. Еще в разгаре страстей его томило
«смутное влеченье чего-то жаждущей души», – а эта тоска никогда не остается
неутоленной. И оттого случилось, что на пороге зрелых лет предстал ему «ангел
нежный» в виде женщины, –

И скрылся образ незабвенный
В его сердечной глубине.

Мы не знаем, кто она была; во всяком случае, это была живая женщина, и Пушкин
любил ее как женщину, не отвечавшую ему любовью. Но он знал также, что это
воплотилась перед ним его жгучая тоска по полноте, по самозабвению, как порою
зной и жажда в пустыне рисуют путнику цветущий оазис-мираж. Он всегда говорил о
ней двойственно: то как о живой женщине, то как о райском видении, сне. Он ее
«узнал иль видел как во сне»; ее образ в нем – «сон воображенья», «души неясный
идеал». Он говорит о ней:

Бывало, милые предметы
Мне снились, и душа моя
Их образ тайный сохранила;
Их муза после оживила.

И весь жар сердца, еще горевший в нем, на долгие годы сосредоточился в этом
образе. То был его собственный лучший лик, мечтаемое им совершенство. О ней он
вспоминал в «Разговоре книгопродавца с поэтом»:

Душа моя
Хранит ли образ незабвенный?

Ей говорит в Посвящении к «Полтаве»:

Твоя далекая пустыня,
Последний звук твоих речей –
Одно сокровище, святыня,
Одна любовь души моей.

Он долго лелеял память о том часе, когда ее образ впервые просиял перед ним –
или в его душе. Эту внутреннюю встречу он изобразил в «Ангеле», и в черновиках
того Посвящения есть строка: «Верь, ангел, что во дни разлуки...», и в другом
месте он говорит о ней же:

Земных восторгов излишня,
Как божеству, не нужны ей.

Об этой же встрече он рассказал и в «Бахчисарайском фонтане». Гирей не забудет
Марии; после ее смерти

Он снова в бурях боевых
Несется мрачный, кровожадный,
Но в сердце хана чувств иных
Таится пламень безотрадный.
Он часто в сечах роковых
Подъемлет саблю и с размаха
Недвижим остается вдруг,

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org
Глядит с безумием вокруг,
Бледнеет, будто полный страха,
И что-то шепчет, и порой
Горючи слезы льет рекой;

И смысл всей поэмы выражен ясно в одной строфе:

Так сердце, жертва заблуждений,
Среди порочных упоений
Хранит один святой залог,
Одно божественное чувство[11 – Сравн. в «Разговоре книгопродавца
с поэтом»: Одна бы в сердце пламенела лампадой чистой любви... Это – та, в сердце,
«святыня строгая», которая озаряет «спасенный чудом уголок».]

Он пел о себе, о своем умилении. И этот же образ ущербного человека, носящего в себе «святой залог», он много лет спустя нарисовал еще раз, но уже взнесенным высоко над землей, отрешенным от всего дольного, – в лице «Бедного рыцаря». Он сам хотел бы взлететь туда – если бы ему крылья!

Далекий, вожделенный брег!
Туда б, сказав прости ущелью,
Подняться к вольной вышине;
Туда б, в заоблачную келью,
В соседство Бога скрыться мне!

«Жар умиленья», «чистое упоенье любви» не спасли Пушкина. С годами его бесчувствие все усиливалось. В 1826 году он пережил тот миг преображения, который запечатлен в «Пророке». Мицкевич говорит о «Пророке»: это было начало новой эры в жизни Пушкина, но у него не достало силы осуществить это предчувствие. Если бы мысль Мицкевича стала известна Пушкину, он без сомненья подтвердил бы ее, но виновным не признал бы себя: он твердо знал, что царство Божие не стяжается усилиями. Можно думать, что, потрясенный своей неудачей, сознав свою обреченность, он с тех пор стал еще быстрее клониться к упадку. К 1827–28 годам относятся самые безотраднейшие его строки. В 7-й песне «Онегина», дивясь тяжелому чувству, которое пробуждает в нем весна, он спрашивает себя:

Или мне чуждо наслажденье,
И все, что радует, живит,
Все, что ликует и блестит,
Наводит скуку и томленье
На душу, мертвую давно,
И все ей кажется темно?

Какое горькое признание! Теперь бывают минуты, когда он – почти как один из толпы, живой мертвец. Разве не о духовной смерти говорят эти строки:

Цели нет передо мною,
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум.

Так ли он принимал жизнь в пору юности своей, так ли отвечал на вызовы судьбы? Теперь, в 1828 году, – какая надломленность в нем!

Бурной жизнью утомленный,
Равнодушно бури жду:
Может быть еще спасенный
Снова пристань я найду[26 – Из стихотворения «Предчувствие»
(1828). Стихотворение написано в связи с делом о распространении стихотворения
«Из Андрея Шенье» и допросами о принадлежности Пушкину «Гавриилиады».]

Позднее это чувство просветляется в Пушкине. Он решил: больше нечего ждать, надо помириться на том малом, что даровано. Этим смирением внушена Пушкину трогательная элегия «Безумных лет угасшее веселье». Минутами он пытается разуверить себя и воспрянуть, но как сильно он понизил свои требования!

О нет, мне жизнь не надоела,
Я жить люблю, я жить хочу!

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org
Душа не вовсе охладела,
Утрата молодость свою.
Еще хранятся наслажденья
Для любопытства моего,
Для милых снов воображенья...

Нельзя без волнения читать эти строки, – да Пушкин и не смог дописать их, точно муза, плача, отвернула свое лицо. Было естественно, что Пушкин именно в 1830 году решил жениться. Его женитьба была только обнаружением того созревшего состояния души, которое выражалось в его суждениях о своем поступке: «Нет иного счастья, как на обычных путях, к тому же я женюсь без упоенья» [27 – Из письма к Н. И. Кривцову от 10 февраля 1831 года: «<...> счастья мне не было. Мне за 30 лет. В тридцать лет люди обыкновенно женятся – я поступаю как люди и, вероятно, не буду в том раскаиваться. К тому же я женюсь без упоения, без ребяческого очарования. Будущность является мне не в розах, но в строгой наготе своей <...>» (Х. С. 264).]. Правда, ему оставалось еще, на наш взгляд, немало: ему оставался еще «пламенный восторг» вдохновенья, и вдохновеньем он дорожил, как последним кладом, взывал к нему:

Волнуй мое воображенье,
Дремоту сердца оживляй,
В мой угол чаще прилетай,
Не дай остыть душе поэта [28 – Усеченная цитата из последней XLVI строфы VI главы «Евгения Онегина». Приводим ее полный текст: «Дай оглянись. Простите ж, сени, где дни мои текли в глуши, исполнены страстей и лений снов задумчивой души. А ты, младое вдохновенье, Волнуй мое воображенье, Дремоту сердца оживляй, В мой угол чаще прилетай, Не дай остыть душе поэта, Ожесточиться, очерстветь, И наконец окаменеть в мертвящем упоенье света, В сем омуте, где с вами якупаюсь, милые друзья».].

И к стиху: «Судьбою вверенный мне дар» у него была готовая рифма: «Во мне питаю сердца жар». Но могло ли и вдохновение жарко пылать в остывающей душе? Оно само ведь питалось ее общим пламенем. Угас и тот светлый образ, хранивший последнее тепло чувства. Пушкин стынет, стынет, и на душе его все мрачнее. Под пеплом еще таилась в нем жгучая мечта – не о совершенстве: Бог с ним! но о какой бы то ни было полноте, о внезапном порыве, который наполнил бы душу и унес бы ее. Одиннадцать лет, с 1824 по 1835 г., Пушкин тайно лелеял преступный замысел «Египетских ночей», как сладчайшую свою мечту. С какой радостью он сам кинулся бы к урне роковой, где лежали жребии смертоносного блаженства! Он начал «Египетские ночи» в то время, когда впервые со страхом сознал в себе неудержимое угасание чувства. Напомню еще раз изумительный набросок 1823 года:

Кто, волны, вас остановил,
Кто оковал ваш бег могучий,
Кто в пруд безмолвный и дремучий,
Поток мятежный обратил?

В рукописи здесь сбоку написано еще несколько неотделанных и неразборчивых строк, которые можно читать приблизительно так:

Чей жезл волшебный усыпил
Во мне надежду, скорбь и радость
И душу бурную прежде
Одной дремотой осенил.

Очевидно, уже за этими стихами должна была следовать та заключительная строфа:

Вы, ветры, бури, взройте воды,
Разружьте гибельный оплот,
Где ты, гроза, символ свободы?

Промчись поверх невольных вод [29 – «Кто, волны, вас остановил», 1823 г. Ср. «Свободы сеятель пустынный», особенно строфу в академическом собрании сочинений: «Паситесь, мирные народы! Вас не разбудит чести клич. К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь. Наследство их из рода в роды ярмо с гремушками да бич» (II. С. 145).].

Это он о себе говорил, на себя призывал испепеляющую страсть. Отсюда тогдашний

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org
замысел «Египетских ночей». В 1835 году то безумное ожидание снова вспыхнуло в нем, может быть, с удесятенной силой, и он вернулся к «Египетским ночам», которые горят той же тоской, как вопль Тютчева:

О небо, если бы хоть раз
Сей пламень развился по воле,
И не томясь, не мучась доле,
Я просиял бы – и погас! [30 – Последняя строка стихотворения

Ф. И. Тютчева, предположительно датированного 1830 годом: «Как над горячею золой...»]

Но жизнь была уже безвозвратно проиграна. Горькое отречение 1828 года с годами сменилось спокойным равнодушием; пред чем он тогда еще содрогался, то теперь принял как обычное, нормальное. Еще в 1831 году он заставил Онегина сказать:

Я думал: вольность и покой –
Замена счастью. Боже мой!
Как я ошибся, как наказан!

А в 1836 он эти самые две ценности – очень хорошие ценности, но не высокого разбора – оценивал уже положительно: «На свете счастья нет, а есть покой и воля». Куда девалась тоска, «роптанье вечное души»? Когда-то он знал, что есть настоящее счастье: экстаз; теперь он, как умирающий, жаждет покоя: «Покоя сердце просит». Он действительно был полумертв, и живя среди полумертвых, не мог не заразиться их гниением. Когда цветок в горшке ослабел, на него нападает тля; так светская сплетня сгубила Пушкина, чего никогда не случилось бы, если бы в нем не остыл жар сердца. Но его кровавый закат был прекрасен. В последний час его врожденная страстность вспыхнула великолепным бешенством, которое еще теперь потрясает нас в истории его дуэли [31 – К этому времени автором основных трудов о последней дуэли А. С. Пушкина был пушкинист и историк революционного движения в России П. Е. Щеголев. В 1915 г. в VI томе Венгерского издания собрания сочинений А. С. Пушкина появилась его статья «Последняя дуэль Пушкина», а в 1916 г. в периодическом издании «Пушкин и его современники» вышло первое издание его фундаментального труда «Дуэль и смерть Пушкина: исследования и материалы»; 2-е издание, исправленное и дополненное, появилось в начале 1917 г. (Сохранилась обширная переписка Гершензона со Щеголевым, публикация которой войдет в том 5 настоящего издания.)].

15

Как странники, заброшенные в безвестный край, мы бродим в дебрях чувств, ощупью подвигаясь в небольшом кругу, и если кто-нибудь из нас при свете внезапно вспыхнувшего сердца проглянет вдаль, как дивится он необъятности и грозной красоте духа! Это его личный дух и вместе наш общий; пусть он расскажет нам свое новое знание, потому что оно нужно нам, как хлеб. Ведь все, что терпит и создает человек, его радость и горе, его подвиги и победы, все – только деятельность духа; что же может быть важнее для нас, нежели знание о духовной силе? Когда же приходит один из тех, в ком дух горит долго и сильно, сам освещая себя, нам надо столпиться вокруг него и жадно слушать, что он видел в незнакомой стране, где мы живем. Как странно и невероятно! Мы, сидя на месте, думаем, что наш дух необширен и ровен, а он повествует о высотах и райских кущах, о пропастях и пустынях духа. Но будем слушать, потому что он действительно был там, сам падал в бездны и всходил на вершины. За это порукою убежденность и отчетливость его рассказа, даже звук его голоса. Так может повествовать только очевидец. И воздадим ему высшую почесть, потому что он купил это знание дорогой ценой.

Таков и Пушкин, в числе других. Какое же особенное и ценное знание он сообщил нам? Какой новый опыт, раньше неведомый, он вынес из своих трудных духовных странствий? Я говорю: в его поэзии заключено одно из важнейших открытий, какими мы обязаны поэтам; именно, он в пламенном духе своем узнал о духовной стихии, что она – огненной природы. Это одно он увидел и об этом неустанно рассказывал, как человек, опьяненный счастливой находкой, или как больной о болезнях своей. Он действительно был и пьян, и болен, пьян изначальной пламенностью своего духа, и болен сознанием его постепенного угасания. Отсюда необычайная страстность и

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org
искренность его рассказа, но отсюда же и неполнота возвещенной им правды. Разумеется, было бы нелепо требовать от него больше, нежели он мог дать. Его открытие совершенно формально и потому недостаточно. Он поведал нам, что дух есть чистая динамика, огненный вихрь, что его нормальное состояние – раскаленность, а угасание – немощь. Показание безмерно важное, основное! Но ведь одним знанием не проживешь. Пушкин безотчетно упростил задачу, оградив человека со всех сторон фатализмом: жизнь безысходна, но зато и безответственна; пред властью стихии равно беспомощны зверь и человек. Человек в глазах Пушкина – лишь аккумулятор и орган стихии, более или менее емкий и послушный, но личности Пушкин не знает и не видит ее самозаконной воли. Его постигла участь столь многих гениев, ослепленных неполной истиной: подобно Пифагору, признавшему число самой сущностью бытия[32 – Древнегреческий философ Пифагор (ок. 580–500 до н. э.) и его последователи, абсолютизируя абстракцию количества, пришли к выводу, что количественные отношения являются сущностью вещей.], Пушкин переоценил свое гениальное открытие. Оттого Пушкина непременно надо знать, но по Пушкину нельзя жить. Пламенем говорят все поэты, но о разном; он же пламенем говорил о пламени и в самом слове своем выявлял сущность духа.

Пушкина справедливо называют русским национальным поэтом; надо только вкладывать в эти слова определенный смысл. Как из-за Уральских гор вечно несется ветер по великой русской равнине, день и ночь дует в полях и на улицах городов, так неусыпно бушует в русской душе необъятная стихийная сила, и хочет свободы, чтобы ничто не стесняло ее, и в то же время томится по гармонии, жаждет тишины и покоя. Как примирить эти два противоречивых желания? Запад давно решил трудную задачу: надо обуздать стихию разумом, нормами, законами. Русский народ, как мне кажется, ищет другого выхода и предчувствует другую возможность; неохотно, только уступая земной необходимости, он приемлет рассудочные нормы, всю же последнюю надежду свою возлагает на целостное преобразование духовной стихии, какое совершается в огненном страдании, или в озарении высшей правдой, или в самоуглублении духа. Только так, мыслит он, возможно сочетание полной свободы с гармонией. Запад жертвует свободой ради гармонии, согласен умялить мощь стихии, лишь бы скорее добиться порядка. Русский народ этого именно не хочет, но стремится целостно согласовать движение с покоем. И те, в ком наиболее полно воплотился русский национальный дух, все безотчетно или сознательно бились в этой антиномии. И Лермонтов, и Тютчев, и Гоголь, и Толстой, и Достоевский, они все обожают беззаконную, буйную, первородную силу, хотят ее одной свободы, но и как тоскуют по святости и совершенству, по благолепию и тишине, как мучительно, каждый по-иному, ищут выхода! В этом раздвоении русского народного духа Пушкин первый с огромной силой выразил волю своей страны. Он не только формулировал оба требования, раздирающие русскую душу, правда, больше выразив жажду свободы, нежели жажду совершенства (потому что он был восточнее России, в нем текла и арабская кровь); но умилением своим, этим молитвенным преклонением пред святостью и красотой, он и разрешил ту антиномию практически, действительно обрел гармонию в буйстве. В его личности ущербность сочеталась с полнотой; оттого его поэзия – не мятежное, но гармоническое горение; она элементарно жжет всех, кто приближается к ней, – так сказать, жаром своим разжигает скрытую горючесть всякой души. А это – драгоценный дар людям, ибо жар сердца нужен нам всем и всегда. Он один – родник правды и силы[12 – Настоящая статья дважды удостоивалась внимания печати: когда первоначально была прочитана публично, и после появления ее в философском ежегоднике «Мысль и слово». Отвечать на возражения было бы излишне: ответить должна, насколько сумеет, вся эта книга. Но два упрека, сделанные мне, требуют фактического разъяснения. И. Н. Игнатов, изложив мою статью, писал: «Вы видите, какое пенное, какое искрометное шампанское. Страсть, разнузданность, ураган стихийного стремления! Лучше самая пагубная страсть, лучше сумасшествие, лучше исступленность, чем разум. Долой эволюцию, долой прогресс, долой просвещение и науку! – И это все говорил Пушкин? Правда ли это? Неужели правда? Но, если мы вспомним, какая масса митингов происходила около него на Страстной площади, какие агитационные речи слышал он, не мудрено, что он сам ими заразился и стал говорить то, о чем не смел и думать в течение своей земной и послеземной жизни». И. Н. Игнатов так и озаглавил свой фельетон: «Пушкин – максималист» (Русские ведомости, 14 марта 1918 г.) Намек относится, конечно, к тем митингам, которые кипели вокруг памятника Пушкина в период большевистского переворота, то есть в конце 1917 и в начале 1918 г.; но моя статья была написана в царствование Николая II и публично читана в январе 1917[278 – Речь идет о двух чтениях: 16.1.1917 г. в Москве и 26.1.1917 г. в Петрограде.]; следовательно, если я выставил его, по словам И. Н. Игнатова, «агитатором большевизма и анархизма», то сделал я это не под влиянием большевизма, о котором тогда и помина не было. – Другой упрек сделал мне

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org

Ю. И. Айхенвальд в «Речи» [279 – в газете «Речь» за январь – февраль 1917 г. отзыв Ю. И. Айхенвальда о лекции М. О. Гершензона «Мудрость Пушкина» не обнаружен.] – упрек в том, что я умолчал о статье Д. С. Мережковского [280 – Речь идет о статье Д. С. Мережковского «Пушкин», вошедшей в его книгу «Вечные спутники»; в ней Мережковский разбирает книгу А. О. Смирновой (Россет) «Записки» и, отталкиваясь от текста «Записок», делает выводы о значении личности и творчества Пушкина для его современников и потомков. Приводим некоторые отрывки из статьи Мережковского: «Его не сравнивают ни со Львом Толстым, ни с Достоевским: ведь те – пророки, учителя, или хотя бы учителями, а Пушкин только поэт, только художник <...>». «Трудность обнаружить мирозерцание Пушкина заключается в том, что нет ни одного, главного произведения, в котором поэт сосредоточил бы свой гений... Наиболее совершенные создания Пушкина не имеют полной меры его сил: внимательный исследователь отходит от них с убеждением, что поэт выше своих созданий». «Народ и гений так связаны, что из одного и того же свойства народа проистекает и слабость и сила производимого им гения. Низкий уровень русской культуры – причина недовершенности пушкинской поэзии – в то же время благоприятствует той особенности его поэтического темперамента, которая делает русского поэта в известном отношении единственным даже среди величайших мировых поэтов. Эта особенность – простота». «В XIX веке, накануне шопенгауэровского пессимизма, проповеди усталости и буддийского отрешения от жизни, Пушкин в своей простоте – явление единственное, почти невероятное». «Вот мудрость Пушкина. Это – не аскетическое самоистязание, жажда мученичества во что бы то ни стало, как у Достоевского; не покаянный плач перед вечностью, как у Льва Толстого; не художественный нигилизм и нирвана в красоте, как у Тургенева; это – заздравная песня Ваху во славу жизни, вечное солнце, золотая мера вещей красота <...> Цена всякой человеческой мудрости воспитывается на отношении к смерти» (Цитируется по изданию: Мережковский Д. С. Вечные спутники. М., 1996. С. 373, 375, 381, 384, 387).], в значительной степени предвосхищающей мои выводы. В плагиате я не повинен: я действительно раньше не читал статьи Мережковского о Пушкине. Прочитав ее теперь, я в полной мере признаю за нею первенство относительно многих существенных соображений о поэзии Пушкина, изложенных в моей статье, и радуюсь этим совпадениям. На другой, философский упрек Ю. И. Айхенвальда, – что я искажил понятие бездейственности, – правильно ответил за меня Н. Я. Абрамович [281 – Гершензон цитирует по памяти следующий отрывок из главы о Пушкине в «Истории русской поэзии от Пушкина до наших дней» Н. Я. Абрамовича (лит. псевдоним Н. Кадмин): «Новый «реалистический» период жизни и творчества Пушкина ознаменован громадной внутренней работой. На первом месте стоит работа лично-внутренняя, работа дум, сознания, созерцания, постижения себя и мира <...> Чисто эстетический интерес к миру углубился художественным и психологическим интересом к нему» (Кадмин Н. (Н. Я. Абрамович). История русской поэзии от Пушкина до наших дней. Т. II. М., 1914. С. 28).], определив бездейственность, о которой идет речь, как «неподвижное созерцание, в глубине которого заключена величайшая и напряженнейшая внутренняя активность».]

Памятник

1

«Замко?м» называют камень, замыкающий и укрепляющий свод; в критической легенде о Пушкине есть частность, исполняющая роль такого «замка». Если общепринятое истолкование «Памятника» верно, то легенда имеет за себя важный аргумент: зрелое самосознание самого поэта; если оно ошибочно, – «замо?к» выпадает и легенда расшатывается. Поэтому вопрос о «Памятнике» требует специального расследования.

Вот полный текст «Памятника» по сохранившейся рукописи.

Exegi monumentum

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столпа.

Нет, весь я не умру – душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит –
И славен буду я, доколь в подлунном мире
жив будет хоть один пиит.

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикий
Тунгус и друг степей калмык.

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

Веленью Божию, о Муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца;
Хвалу и клевету приемли равнодушно,
И не оспаривай глупца.

1836.

Авг.21

Каменный Остров

В 4-й строфе первоначально было:

Что звуки новые для песен я обрел,
Что вслед Радищеву восславил я свободу
И милосердие воспел.

Стихотворение это написано Пушкиным месяцев за пять до смерти и по содержанию представляет как бы его поэтическую исповедь или завещание. О смысле этой исповеди у нас никогда не возникало споров; напротив, все понимают ее одинаково, и убеждены, что понимают верно. Пушкин с законной гордостью говорит здесь о завоеванном им бессмертии, и тут же перечисляет те заключенные в его поэзии непреходящие ценности, которые дают ему право на это бессмертие. Так он сам понимал свою деятельность и так определял ее значение; и эта завершительная самооценка бросает свет на весь пройденный им путь. «Памятник» с полной ясностью открывает нам, какие сознательные цели Пушкин ставил себе в своем творчестве. – Так искони объясняют «Памятник» биографы и комментаторы Пушкина.

Я сразу выскажу свою мысль, чуждую всяких ученых соображений, внушенную единственно простым чтением Пушкинских строк; я полагаю, что только так, и никак не иначе, должен понять эти строки всякий разумный человек, который прочтет их без предубеждения и внимательно. Мне кажется, что традиционное истолкование «Памятника» всецело искажает смысл этой пьесы. Пушкин в 4-й строфе говорит не от своего лица, – напротив, он излагает чужое мнение – мнение о себе народа. Эта строфа – не самооценка поэта, а изложение той оценки, которую он с уверенностью предвидит себе. Следовательно, первые четыре строфы содержат в себе не два мотива, как обыкновенно думают (один объективный – констатирование своей обеспеченной славы, другой субъективный – самооценку своего подвига), но один, состоящий из двух частей и одинаково объективный в обеих, именно предвидение: предвидение, во-первых, своей посмертной славы, и во-вторых, содержания этой своей посмертной славы. Пушкин говорит: «Знаю, что мое имя переживет меня; мои писания надолго обеспечивают мне славу. Но что будет гласить эта слава? Увы! она будет трубным гласом разглашать в мире клевету о моем творчестве и о поэзии вообще. Потомство будет чтить память обо мне не за то подлинно-ценное, что есть в моих писаниях и что я один знаю в них, а за их мнимую и жалкую полезность для обиходных нужд, для грубых потребностей толпы». Много лет назад Пушкин подвел первый итог своего опыта, и каким горьким разочарованием звучали его слова! «Мне жизни дался бедный клад!» [33 – Строка стихотворения А. С. Пушкина 1823 г. «Мое беспечное незнанье» (II. С. 143).] «Разоблачив пленительный кумир», он увидел «в их наготу» и свет, и жизнь, и дружбу, и любовь: кумир, внушавший такие надежды,

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org
пожравший столько жертв, оказался жалким и страшным остовом.

Ужели он казался прежде мне
Столь величавым и прекрасным?
Что ж видел в нем безумец молодой?
Кого любил, к чему стремился?
Кого ж, кого возвышенной мечтой
Боготворить не постыдился? [34 – Из того же стихотворения. У

Гершензона неточно процитирована последняя строка приведенного им стихотворного отрывка. В академическом издании Пушкина она выглядит так: «Боготворить не устыдился?» (II. С. 143).]

Теперь Пушкин подводил другой итог – не жизни, а достигнутой им славы. Весь «Памятник» – как бы один подавленный вздох. И этот пленительный кумир оказался безобразным скелетом; вот кости лица скалятся дьявольской насмешкой: он издевается над ожиданием! В юности Пушкин без сомнения мечтал о славе; теперь, обретенная, она ужасает его. Он проклинает ее, как в том наброске – жизнь; в черновой того наброска был стих: «Чего искал, то ненавижу» [35 – То же стихотворение (цит. также: «Бывало в сладком ослепленье»): Взглянул на мир я взором ясными изумился в тишине;...Чего мечтатель молодой, Ты в нем искал, к чему стремился.].

Я утверждаю, что лишь при таком понимании первых четырех строф становится понятной пятая, последняя строфа «Памятника», совершенно бессмысленная в традиционном истолковании пьесы, хотя комментаторы наперекор здравому смыслу объявляют ее естественным заключением пьесы. Ее смысл – смирение пред обидой. Поэт как бы подавляет свой невольный вздох. Горька обида, но таков роковой закон – «Божье веление»; покорись Божьей воле: вот что говорит эта строфа. Пушкин написал первоначально: «Призванью своему, о Муза, будь послушна», то есть иди своим путем наперекор обиде, – потом изменил этот стих, сообразно всему замыслу стихотворения, дав ему не положительный смысл призыва, а отрицательный смысл покорности, смирения:

Веленью Божию, о Муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца;
Хвалу и клевету приемли равнодушно,
И не оспаривай глупца.

Хвала толпы и клевета ее – одной цены: обе равно ничтожны. И не силясь опровергать клевету, то есть объяснять толпе ее ошибку. Пушкин в прежние годы не раз пытался «оспаривать глупца» относительно подлинной ценности искусства, – потому что только об этом об одном идет здесь речь; теперь он признает эти попытки тщетными и ненужными: так устроено высшей волею.

В частности, только при таком понимании объясняются и те две замены в рукописи – во-первых, стих:

И долго буду тем любезен я народу,
Что звуки новые для песен я обрел.

Пушкин отверг эту строку, потому что она приписывала народу такое суждение о поэзии, до которого он едва ли способен возвыситься: он видит и ценит в поэзии гораздо более деловые ценности – «Что чувства добрые я лирой пробуждал». Вторая замена – чисто формальная: «Что вслед Радищеву восславил я свободу». Это суждение подходит народу, только Пушкин предпочел потом выразить его в более общей форме. Но как могли комментаторы влагать этот стих в уста самого Пушкина при его достаточно известном отрицательном отношении к Радищеву [36 – В статье «Александр Радищев», датированной 3 апреля 1836 г., Пушкин писал: «Мы никогда не почитали Радищева великим человеком. Поступок его всегда казался нам преступлением, ничем не извиняемым, а «Путешествие в Москву» весьма посредственной книгой; но со всем тем не можем в нем не признать преступника с духом необыкновенным; политического фанатика, заблуждающегося конечно, но действующего с удивительным самоотвержением и с какой-то рыцарскую совестью <...> Сочинения Радищева в стихах и прозе (кроме «Путешествия») изданы были в 1807 году. Самое пространное из его сочинений есть философическое рассуждение «О человеке, о его смертности и бессмертии». Умствования оно пошлы

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org
и не одушевлены слогом. <...> Какую цель имел Радищев? чего именно желал он? На эти вопросы вряд ли бы мог он сам ответить удовлетворительно. Влияние его было ничтожно. Все прочли его книгу и забыли ее несмотря на то, что в ней есть несколько благоразумных мыслей, несколько благонамеренных предположений, которые не имели никакой нужды быть облечены в бранчивые и напыщенные выражения и незаконно тиснуты в станках тайной типографии, с примесью пошлого и преступного пустословия. Они принесли бы истинную пользу, будучи представлены с большей искренностью и благоволением; ибо нет убедительности в поношениях, и нет истины, где нет любви» (VII. с. 242, 244, 246).], – этого нельзя объяснить. Впрочем, я приведу ниже те доводы, которыми они ухитрились обходить это затруднение.

Таков, по-моему, смысл стихотворения «Памятник», который неминуемо и естественно складывается в сознании при простом чтении этой пьесы. А простое чтение и здравый смысл суть в таких случаях совместно – наилучший судья, в отношении к Пушкину я сказал бы даже – единственный разумный эксперт и судья. Наоборот, неумение медленно читать, в соединении с предвзятой мыслью о жизни, о должном, о добре и зле, неминуемо приводит к тому искажению истины, о котором с такой болью говорит Пушкин.

2

Но прочитав и поняв пьесу в пределах ее текста, вполне законно попытаться найти ее место в целостном творчестве поэта и в целом его мировоззрении. Та мысль о поэзии и об отношении к ней толпы, которая выражена в «Памятнике», – согласуется ли она с прочими его суждениями об этом предмете, или напротив, противоречит им? Мы увидим дальше, что этим вопросом определяется все традиционное отношение критики к «Памятнику». – Я и здесь прямо выскажу свою мысль. Пушкин во многом противоречил себе, не раз менял свои суждения; но было бы странно, если бы он хоть раз изменил себе в этом пункте. Поэзия была его жизненным делом; он упорно и глубоко размышлял о поэзии с юных лет и составил себе представление о ней – о смысле и ценности ее – столь органически-личное (хотя и под влиянием романтических теорий), что опыт не мог уклонить его, но мог лишь все более углублять продолженное русло его мышления. Так должно думать *a priori*, и таким оказывается дело при конкретном исследовании.

Деятельность Пушкина в ее завершенном виде отчетливо делится на две неравные и неравноценные части: главным его жизненным делом было поэтическое творчество, подсобным – распространение в обществе правильных идей о поэзии. Этой второй своей работе он сам придавал громадное значение и вел ее совершенно сознательно, упорно, не уставая, на протяжении многих лет. Теория, которую он проповедовал, сложилась у него в зародыше очень рано, уже к 1821 году, и осталась неизменной до конца его жизни, так что на расстоянии 10 или 15 лет он неоднократно излагал ее в тождественных выражениях. Но во-первых, внутренне она с годами раскрывалась ему самому, во-вторых, в провозглашении ее он становился все более нетерпеливым, можно сказать даже – все более жесточайшим, по мере того как убеждался в бесплодности своей проповеди. Он твердил одно – и, кажется, как было не понять это? – Поэт – существо особенное: в нем дышит пламенный дух. Пламенность, или, другими словами, чрезвычайная бодрость, страстность, живость восприятий и соображений, словом – исключительная быстрота духовных движений – в противоположность задержкам, косности, длительному пребыванию духа в его частных образованиях, – вот отличие поэта. Эта стремительность духа, по мысли Пушкина, тем совершеннее, чем более она постоянна и длительна, потому что только в постоянстве она обретает спокойствие – «необходимое условие прекрасного». Итак, поэзия есть гармонический восторг, поэт – пламенный дух. Говоря о поэте, Пушкин неизменно скажет: пламень, гореть и т. п.: «Единый пламень их волнует» (поэтов); «С младенчества дух песен в нас горел – И дивное волнение мы познали»; «... алтарь, где твой огонь горит»; особенность поэта – «пламенные порывы чувства и воображения». Нести людям жар и свет своего пламени – таково призвание поэта, предуказанное свыше; Бог повелевает поэту-пророку:

Исполнишь волею Моей
И, обходя моря и земли,

Глаголом жги сердца людей [37 – Стихотворение «Пророк» написано 8 сентября 1826 года (II. с. 384).].

Но люди, толпа – также по воле Бога – не понимают поэзии, не умеют принять ее бесценный дар, бесценный для них самих, – и в этом – несчастье, ущерб губительный для обеих сторон: поэт страдает, видя бесплодность своих усилий, толпа хиреет вдали от животворящей поэзии. Толпа, в отличие от поэта, – это люди, в которых духовная жизнь совершается медлительно, коснеет в своих проявлениях, стынет в остановках, словом – люди холодного духа. Именно в силу косности своего духа толпа считает косность или медлительность духа – нормою, и потому не видит в поэзии ничего ценного; напротив, поэзия, какова она подлинно есть – пламенность духа – кажется ей уродством и ненужностью. Толпа, разумеется, чувствует силу поэзии, ее действительность, – но чувствует почти физиологически, как некоторую формально-психическую энергию. Поэт «сердца волнует, мучит, как своенравный чародей»; и вот наступает худшее: в косности своей толпа предъявляет поэту соответственные требования: он должен употреблять силу, дарованную ему свыше, не на бесцельный бег духа, а на устроение его остановок, на закрепление и меблировку станций. Непонимание толпы поэт еще может снести, хотя и с двойной болью – за себя и за самую толпу; но вмешательства в свой труд он не вправе, не смеет терпеть, во имя призвавшего его Бога. И Пушкин пятнадцать лет яростно, можно сказать, истекая кровью, боролся за свою поэтическую свободу, за свободу поэта вообще. Я приведу без комментариев ряд выдержек, далеко не исчерпывающий, из его стихотворений, статей и писем, где боль сменяется гордым самосознанием и бешенство тихой жалобой.

Черновой набросок, как думают, 1821 года.

Я говорил пред хладною толпою
Языком истины свободной,

(раньше было: языком пламенной свободы)

Но для толпы ничтожной и глухой
Смешон глас сердца благородный!

Письмо к Гнедичу 1822 г. «... Вы, которого гений и труды слишком высоки для этой детской публики».

«Свободы сеятель пустынный», 1823 г.

Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды;
Рукою чистой и безвинной
В поработанные бразды
Бросал живительное семя –
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды...
Паситесь, мирные народы,
Вас не пробудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь;
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.

«Разговор книгопродавца с поэтом», 1824 г.

Блажен, кто про себя таил
Души высокие созданья
И от людей, как от могил,
Не ждал за чувство воздаянья!
Блажен, кто молча был поэт
И, терном славы не увитый,
Презренной чернию забытый,
Без имени покинул свет!

«Поэт», 1827 г.

Тоскует он в забавах мира,
Людской чуждается молвы;
К ногам народного кумира

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org
Не клонит гордой головы.

«Чернь», 1828 г. – это стихотворение я должен был бы привести здесь полностью, но оно длинно и, вероятно, большинству читателей памятно.

«Ответ Анониму», 1830 г.

Холодная толпа взирает на поэта,
Как на заезжего фигляра...

«Поэту», 1830 г.

Поэт, не дорожи любовью народной!
Восторженных похвал пройдет минутный шум,
Услышишь суд глупца и смех толпы холодной,
Но ты останься тверд, спокоен и угрюм.
Всех строже оценить умеешь ты свой труд.
Ты им доволен ли, взыскательный художник?
Доволен? Так пускай толпа его бранит
И плюет на алтарь, где твой огонь горит,
И в детской резвости колеблет твой треножник.

«Эхо», 1831 г.

...И шлешь ответ;
Тебе ж нет отзыва... Таков
И ты, поэт!

Статья о Баратынском, 1831 г. «Перечтите его Эду (которую критики наши назвали ничтожной, ибо, как дети, от поэмы требуют они происшествий)»... Далее, говоря о непопулярности Баратынского: «Постараемся объяснить тому причины. Первою должно почесть самое сие совершенствование, самую зрелость его произведений. Понятия, чувства 18-летнего поэта еще близки и сродни всякому; молодые читатели понимают его и с восхищением в его произведениях узнают собственные чувства и мысли, выраженные ясно, живо и гармонически. Но лета идут – юный поэт мужает, талант его растет, понятия становятся выше, чувства изменяются – песни его уже не те, а читатели все те же, и разве только сделались холоднее сердцем и равнодушнее к поэзии жизни. Поэт отделяется от них и мало-помалу уединяется совершенно. Он творит для самого себя, и если изредка еще обнародывает свои произведения, то встречает холодность, невнимание и находит отголосок своим звукам только в сердцах некоторых поклонников поэзии, как он уединенных в свете» [38 – Статья А. С. Пушкина «Баратынский» при его жизни не печаталась. Написана, по-видимому, в октябре – ноябре 1830 г. в Болдине, и, вероятно, предназначена для «Литературной газеты». Опубликовано в 1840 г. (VII. С. 489). При цитировании Гершензон нарушил порядок расположения: первые три цитируемые им строки в самом деле завершают статью, а следующая, более развернутая цитата относится к ее началу (См. VII. С. 153–154).].

«Родословная моего героя», 1833 г.

Исполнен мыслями златыми,
Непонимаемый никем,
Перед кумирами земными
Проходишь ты уныл и нем.
С толпой не делишь ты ни гнева,
Ни нужд, ни хохота, ни рева,
Ни удивленья, ни труда.
Глупец кричит: «куда? куда?
Дорога здесь!» Но ты не слышишь,
Идешь, куда тебя влекут
Мечтанья тайные. Твой труд
Тебе награда: им ты дышишь,
А плод его бросаешь ты
Толпе, рабыне суеты.

И, наконец, последний вздох боли и смирения – «Памятник» 1836 года.

Толпа требует, чтобы поэт служил ее нуждам, она требует от поэзии пользы.

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org
Польза, которой она требует от поэзии, – конечно, не материальная, не научная или какая-нибудь иная; речь идет, разумеется, о пользе моральной. «Чернь» говорит:

... Если ты небес избранник,
Свой дар, божественный посланник,
Во благо нам употребляй:
Сердца собратьев исправляй.
Мы малодушны, мы коварны,
Бесстыдны, злы, неблагодарны;
Мы сердцем хладные скопцы,
Клеветники, рабы, глупцы;
Гнездятся клубом в нас пороки;
Ты можешь, ближнего любя,
Давать нам смелые уроки,
А мы слушаем тебя.

Пушкин без устали твердит, «оспаривая глупца»:

Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв –
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.

«Поэзия бывает исключительно страстью немногих, родившихся поэтами: она объемлет и поглощает все наблюдения, все усилия, все впечатления их жизни» («О предисловии Г-на Лемонте», 1825 г.). Он пишет Жуковскому (1825 г.): «Ты спрашиваешь, какая цель у Цыганов? Вот на! Цель поэзии – поэзия, как говорит Дельвиг... «Думы» Рылеева и целят, а все невпопад» [39 – Речь идет о письме Пушкина В. А. Жуковскому от 20-х чисел апреля 1825 г. (Х. С. 112)]. Он требует для поэта полной свободы от каких бы то ни было «целей» и «польз»:

Таков поэт. Как Аквилон,
Что хочет, то уносит он:
Увявший лист, иль прах площадный...
И, не спросясь ни у кого,
Как Дездемона, избирает
Кумир для сердца своего.

У него Моцарт говорит:

Нас мало избранных, счастливых праздных,
Пренебрегающих презренной пользой,
Единого прекрасного жрецов.

У него поэт отвечает «черни»:

Молчи, бессмысленный народ,
Поденщик, раб нужды, забот!
Несносен мне твой ропот дерзкий.
Ты червь земли, не сын небес:
Тебе бы пользы все – на вес
Кумир ты ценишь Бельведерский.
Ты пользы, пользы в нем не зришь.
Но мрамор сей ведь бог!. Так что же?
Печной горшок тебе дороже:
Ты пищу в нем себе варишь.

Он повторял то же и в прозе: «Между тем как эстетика со времени Канта и Лессинга развита с такой ясностью и обширностью, мы все еще остаемся при понятиях тяжелого педанта Готшеда; мы все еще повторяем, что главное достоинство искусства есть польза...», но «какая польза в Тициановой Венере или в Аполлоне Бельведерском?» («О драме», 1830 г.). И почти одновременно с «Памятником» он писал: «Мелочная и ложная теория, утвержденная старинными риториками, будто бы польза есть условие и цель изящной словесности, сама собою уничтожилась. Почувствовали, что цель художества есть идеал, а не нравоучение» («Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности», 1836 г. – статья, в которой Пушкин защищает французскую литературу против упреков в безнравственности).

«Памятник» есть завершительный акт этой борьбы, этой проповеди и самозащиты, Пушкин знал: элементарная сила его поэзии – Божье дыхание в ней – не пройдет бесследно; люди почувствовали ее и будут еще долго чувствовать; это – слава; слава ему обеспечена. Но в попытках осмыслить свое волнение, возбуждаемое его поэзией, люди неизбежно откроют в ней то, чего в ней вовсе нет, и проглядят ее истинное содержание: они откроют в ней полезность, нравоучительность. Отсюда горький сарказм этого Пушкинского слова: буду любезен народу тем,

что чувства добрые я лирой пробуждал,
что в мой жестокий век восславил я свободу
и милость к падшим призывал,

то есть, что «сердца собратьев исправлял». Вся жизнь он слышал от толпы это требование, и всю жизнь отвергал его; но едва он умолкнет, толпа объяснит его творчество по-своему.

В «Памятнике» точно различены – 1) подлинная слава – среди людей, понимающих поэзию, – а таковы преимущественно поэты:

и славен буду я, доколь в подлунном мире
жив будет хоть один пиит;

и 2) слава пошлая, среди толпы, смутная слава – известность:

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой...

Эта пошлая слава будет клеветой. Навеки ли упрочится непонимание? По-видимому, Пушкин думал, что со временем оно уступит верному пониманию его поэзии; оттого он и говорит:

и долго буду тем любезен я народу,
что чувства добрые я лирой пробуждал.

3

Что Пушкин не ошибся в своем предвидении, что потомство нашло в его поэзии и с торжеством вынесло наружу именно то, чего он не хотел и не мог ей дать: нравоучительность, – тому наилучшим доказательством являются как раз бесчисленные отзывы критиков о его «Памятнике». Из необозримого множества их я приведу для образца лишь немногие; они все тождественны по смыслу.

В ранней книге своей, в «Характеристиках литературных мнений», писанных еще тогда, когда 4-я строфа «Памятника» была известна только в искажении Жуковского, Пыпин говорит: «...Но, с другой стороны, поэтическое творчество имеет свои более реальные цели: вдохновение и сладкие звуки не могут быть бессодержательны, должны иметь какое-нибудь отношение к людям, к обществу [как будто иного содержания, кроме «имеющего отношение к людям, к обществу» не может быть!] – и сам Пушкин объясняет, в чем должна быть цель поэзии и чем сам он воздвиг себе нерукотворный памятник. В знаменитом, почти предсмертном стихотворении он указывает, что его поэзия не была одним витанием в чистой области фантазии, что в ней он служил обществу: он убежден, что был полезен «прелестью стихов» (которая действительно совершила формальное образование нашей литературы), что он пробуждал добрые чувства и призывал милость к падшим; наконец, он думал, что восславил свободу «в жестокий век». – Много лет спустя, в «Истории русской литературы» Пыпин повторил то же: «Под конец жизни, в стихотворении «Из Пиндемонте» (1836), он опять защищает свою личную независимость, свободу художественного наслаждения [!], хотя и ценою общественного индифферентизма [!] Но вслед затем он написал еще знаменитое стихотворение с эпиграфом «Ehedi monumentum»: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». Он в последний раз [как будто в августе он мог знать, что в следующем январе будет убит!] говорил о своей поэзии с гордым сознанием исполненного подвига, но и с сознанием своей гражданской заслуги перед обществом и народом.

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org
И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

И эти заслуги были именно тем, о чем просил его «народ» в стихотворении «Чернь». – К цитате из «Памятника» у Пыпина есть еще выноска: «Третий стих первоначально написан был: «Что вслед Радищеву восславил я свободу», – тому Радищеву, которого еще недавно (1834, 1836) он так сурово осуждал». Этой выноской Пыпин хочет сказать: Пушкин–де часто противоречил себе в своих суждениях о цели поэтического творчества, но, конечно, решающее значение имеет его предсмертная исповедь – «Памятник»; в «Памятнике» выражена его окончательная мысль о своей поэзии.

Это же понимание «Памятника» весьма обстоятельно развернул проф. С. А. Венгеров, посвятивший «Памятнику» в своем большом издании Пушкина особенную статью под заглавием: «Последний завет Пушкина» [40 – Речь идет об издании: «Библиотека великих писателей» под ред. С. А. Венгерова. Пушкин. Изд. Брокгауз – Ефрон. СПб., 1911. Т. IV. С. 45–48; на С. 47 факсимильное воспроизведение автографа «Памятника» (далее: Венгеров).]. Напомнив читателям свою ранее высказанную мысль о том, что русская литература «всегда была кафедрой, с которой раздавалось учительное слово», и что все крупные деятели ее были «художниками–проповедниками», автор продолжает: «Не составляет исключения и Пушкин, хотя взгляды его на задачи искусства всего менее отличаются устойчивостью. Сердито говорит он в одном из своих писем: «цель поэзии – поэзия». Но не говорит ли нам последний завет великого поэта – его величественное стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» – о чем-то совсем ином? Какой другой можно сделать из него вывод, как не тот, что основная задача поэзии – возбуждение «чувств добрых?» Общественные и литературные настроения Пушкина, утверждает автор, «шли зигзагами»; поддаваясь то влияниям общества, то порывам своей пылкой природы, Пушкин в разные периоды исповедовал различные, подчас даже противоположные мнения; он мог «в минуту полемического раздражения» провозглашать, что поэты рождаются только для сладких звуков и молитв, но фактически он на каждом шагу, притом совершенно сознательно, нарушал этот принцип, давал обществу «уроки жизни», учил и учил. – «И не только стал Пушкин учителем жизни», продолжает проф. Венгеров, «но в учительном характере литературы усмотрел ее высшее назначение». В 1836 году Пушкина усиленно занимает мысль о смерти, он заказывает себе даже могилу в Святогорском монастыре, где вскоре и пришлось ему опочить вечным сном. Правильно или неправильно – это другой вопрос, он чувствует потребность подвести итоги своей деятельности, определить сущность своего значения в истории русского слова. Он пишет: «Я памятник воздвиг себе нерукотворный», где с тою величавою простотою, которая характеризует истинно великих людей, говорит без всякого жеманства, без всякой ложной скромности о своем бессмертии. Создатель русской поэзии не сомневается в том, что будет «славен, доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит», что слух о нем «пройдет по всей Руси великой» и назовет его «всяк сущий в ней язык».

«Но за что же, однако, ему столь великий почет?

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал.

Сам по себе этот ответ столь знаменателен, что не нуждается ни в каких дальнейших пояснениях. Более яркого подкрепления нашего утверждения не придумаешь. Пушкин, этот идол всякого приверженца теории «чистого» искусства, в одну из торжественнейших минут своей духовной жизни превыше всего ценит в литературе учительность.

«Но интерес Пушкинской формулировки назначения литературы еще безмерно возрастает, когда мы обратимся к воспроизведенному на предыдущей странице черновику знаменитого стихотворения.

«Оказывается, что первоначально Пушкин, совершенно в духе «чистого» искусства, так определил свое значение:

И долго буду тем любезен я народу,
Страница 31

Твердо и без столь обычных у него помарок, то есть без колебания, написал Пушкин подчеркнутый стих, в котором выразил свое теоретическое литературное credo.

«Но вот он перечитывает плод непосредственного вдохновения, снова вдумывается в тему и пред лицом вечности открываются новые горизонты. Нет, мало для поэта истинно великого одних эстетических достоинств, только к памятнику того не зарастет «народная тропа», кто пробуждает «добрые чувства», кто был учителем жизни.

«И зачеркивается формула эстетическая, а взамен ее дается учительно-гражданская».

Что 4-я строфа «Памятника», в том понимании, образцы которого я привожу здесь, резко противоречит всем предшествующим заявлениям Пушкина о задачах искусства, этого, разумеется, нельзя было отрицать или утаить. Пыпин, кажется, первый, не ломая себе головы, нашел легкий выход из затруднения – и его мысль, столь же удобная, как остроумная, прочно укоренилась в литературе. От поэта нельзя требовать последовательности в мыслях, да Пушкин был в особенности увлекающийся человек; мало ли что он мог наговорить в раздражении, под влиянием минуты! но эти его слова не следует принимать всерьез; на практике он сам опровергал себя. Так излагает дело и С. А. Венгеров; совершенно так же рассуждает в своей статье о стихотворных произведениях Пушкина проф. Д. Н. Овсяннико-Куликовский[41 – Речь идет об «Истории русской литературы XIX в.» под ред. Д. Н. Овсяннико-Куликовского. Пушкину была посвящена глава 4 тома I этого издания. Глава поделена на два раздела: о прозе писал Н. О. Лернер, а о поэзии сам Д. Н. Овсяннико-Куликовский. О стихотворении «Памятник» у него ничего не сказано.]; Иванов-Разумник, в своей «Истории русской общественной мысли», пишет о Пушкине, что если он иногда приближался даже к чистому эстетизму, если заявлял, что художник рождается исключительно для сладких звуков и молитв, – «то это было только мимолетным облачком, не оставляющим тени на светлом и широком мировоззрении Пушкина»[42 – «И чем дальше, тем больше замыкался Пушкин в гордом одиночестве эстетического индивидуализма; если он иногда и приближался даже к ультраиндивидуализму, к эстетизму – заявляя, например, что не только цель поэзии – поэзия, но и цель поэта – поэзия, что художник рожден исключительно... для вдохновенья, для звуков сладких и молитв, – то это было мимолетным облачком, не оставляющим тени на светлом и широком мировоззрении Пушкина» (Иванов-Разумник Р. В. История русской общественной мысли. Индивидуализм и мещанство в русской литературе и жизни XIX в. Т. I. Изд. 3-е, доп. СПб., 1911. С. 145).].

Оградившись этим незатейливым аргументом от всяких сомнений, Пыпинское истолкование «Памятника» смело вошло в школу и узаконилось здесь в качестве непререкаемой истины. Я раскрываю 2-ю часть учебника А. И. Незеленова по истории русской словесности в шестнадцатом издании и нахожу следующие строки: «Во втором стихотворении[43 – Речь идет об издании: Незеленов А.И. История русской словесности для средних учебных заведений. Под ред. В. В. Каллаша. Изд. товарищества В. В. Думнова, наследн. бр. Салаевых. Ч. II (Карамзинский и пушкинский периоды). Всего вышло девятнадцать изданий. В РГБ есть 18-е изд. 1912 г. и 19-е изд. М., 1914; общий обзор жизни и деятельности А. С. Пушкина на стр. 79–156, 281.], «Памятник», Пушкин выражает сознание совершенного им великого подвига... Пушкин сознал, что заслужил славу, что слух о нем пройдет «по всей Руси великой». А своими правами на эту славу считает он возвышенные идеи своей поэзии, то, что пробуждал лирой «добрые чувства» и призывал «милость к падшим». Раскрываю Пушкинскую хрестоматию В. Покровского, «Сборник историко-литературных статей» о Пушкине в 800 страниц, по которой учится понимать Пушкина едва ли не все русское юношество, обучающееся в средних учебных заведениях, и нахожу длинный ряд отзывов о «Памятнике», сплошь повторяющих мысль Пыпина[44 – См.: Покровский В. А. С. Пушкин. Его жизнь и творчество. Сборник историко-литературных статей. 3-е доп. издание. М., 1912. VII + 791 С. (далее: Покровский).]. Академик Сухомлинов пишет: «Права свои на любовь и память народа он видел в том, что в стихах своих он «пробуждал добрые чувства и милость к падшим призывал»[45 – Статья Сухомлинова «Источник вдохновения Пушкина» (Покровский. С. 157–158).]. Проф. Кадлубовский пишет: «Незадолго до своей безвременной кончины, оглядываясь на свою литературную деятельность, он уверенно говорил, что он пробуждал добрые чувства своей лирой», и т. д. – и кончает свое рассуждение словами: «Да, поэт имел право сказать те слова, которые были

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org
упомянуты мною вначале:

И долго буду тем любезен я народу»[46 – Кадлубовский <А.П.>
Пушкин – певец красоты (Покровский. С. 172–180).]

(и т. д. – следует вся строфа).

Стоюнин пишет: «Поэзия была исключительной сферой его деятельности; но с нею он связал высшие задачи жизни. В поэзии он нашел одну из общественных сил, которая должна пробуждать лучшие чувства в народе, следовательно и нравственно образовывать и вызывать возвышенные стремления духа»[47 – Статья В.П. Гаевского, <Я.К.> Грота, <В.Я.> Стоюнина «Воспитательное и образовательное значение Царскосельского лицея» (Покровский. С. 39–45).]. Проф. Евлахов пишет: «Нечего говорить, Пушкин не всегда мог выдержать эту точку зрения и порой, казалось изменял своей теории [далее цитируются, как «измены» Пушкина самому себе: «Пророк», «Эхо» и др. – и продолжается:] Наконец, в 1836 году на закате жизни, как бы подводя итоги своей поэтической деятельности, он ставит себе в заслугу, что пробуждал добрые чувства, в жестокий век восславил свободу и призывал милость к падшим. Более того: в этом, а не в чем ином, он видит залог своего бессмертия в памяти народа. Поэт, конечно, справедливо указал свою заслугу. Пророк строго выполнил «веление Божие». Но, вместе с тем, разве это не самоотрицание? Поэт стал на точку зрения «черни»: он гордится пользой своего искусства, а не им самим; он видит в нем средство, а не цель. Такая метаморфоза, как завершение художественной деятельности, если она сознательна, была бы равносильна самоубийству»[48 – Статья Евлахова «Эстетическая теория Пушкина» (Покровский. С. 333–340).]. Но автор успокаивает читателя: «конечно, ничего подобного не случилось с Пушкиным»; те 4–5 стихотворений, и в их числе «Памятник», суть, так сказать, описки Пушкина, плоды «стороннего неорганического и, по-видимому, бессознательного процесса» в нем, и Пушкин в своем развитии «так сказать, прошел мимо самопротиворечий, как бы вовсе не замечая их». – Вот, по крайней мере, среди удручающего единогласия новая мысль: г. Евлахов выворачивает общераспространенное мнение наизнанку. Все думают, что ранние заявления Пушкина о цели поэзии были обмолвками раздраженного ума, а серьезное его суждение выражено в «Памятнике»; г. Евлахов, наоборот, признает обмолвкой «Памятник», а те прежние заявления Пушкина – его подлинным и сознательным манифестом.

Из всех писавших о «Памятнике» один Вл. Соловьев, как сейчас увидит читатель, правильно понял стих: «И долго буду тем любезен я народу» (то есть что здесь излагается суждение народа); но, правильно прочтя самый стих, он также исказил мысль Пушкина. Вся его статья «Значение поэзии в стихотворениях Пушкина»[49 – Гершензон ошибся. В статье В. С. Соловьева «Значение поэзии в стихотворениях Пушкина» речь идет главным образом о стихотворении «Пророк». (См.: Соловьев В.С. Философия искусства и литературная критика // Сост. и комментарии Р. Гальцевой, И. Роднянской и А. А. Носова. – М.: Искусство. 1991. С. 316–370.) – Серия «История эстетики в памятниках и документах». О стихотворении «Памятник» кратко упомянуто в главе 2 статьи Соловьева «Поэзия гр. А. К. Толстого» // Там же. С. 484–485.] имеет целью выразить и защитить софизм о тождестве красоты и нравственного добра. Этот софизм он внес и в объяснение «Памятника», приписав свою ложную мысль самому Пушкину. Основной софизм повлек за собою, ради своего торжества, несколько подсобных, и получился такой комментарий: «За несколько месяцев до смерти он еще раз восходит, – но не на пустынную вершину серафических вдохновений [!], а на то предгорье, откуда взор его видит большой народ [!], – потомство его поэзии, ее будущую публику. Этот большой народ, конечно [!], не та маленькая «чернь», светская и старосветская, что его окружает. Этот новый большой народ не вырывает гневных слов у поэта, эти народные колыбели [!] не противны его душе, как живые гробы. В этом большом народе есть добро, и он даст добрый отклик на то, что найдет добрым в поэзии Пушкина. Поэт не провидит, чтобы этот большой народ весь состоял из ценителей чистой поэзии: и эти люди будут требовать пользы от поэзии, но они будут искренно желать истинной пользы нравственной; – навстречу такому требованию поэт может пойти без унижения: ведь и чистая поэзия приносит истинную пользу, хотя не преднамеренно. Так что ж? Эти люди ценят поэзию не в ней самой, а в ее нравственных действиях. Отчего же не показать им этих действий в Пушкинской поэзии? «То добро, которое вы цените, – оно есть и в моем поэтическом запасе; за него вы будете вечно ценить мою поэзию; оно воздвигнет мне среди вас нерукотворный и несокрушимый памятник». Вот достойный и благородный «компромисс» поэта с будущим народом, составляющий сущность стихотворения «Памятник».

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org

Здесь все – софизмы: и неизвестно откуда появляющийся «большой народ», в отличие от «черни», и приписываемое этому «большому народу» искание какой-то особенной истинной моральной пользы, тогда как в 4-й строфе «Памятника» говорится совершенно о том же, чего в «Черни» требует от поэта «чернь»; и софизмом, наконец, надо признать самый этот компромисс, который Пушкин будто бы заключает с потомством в своем «Памятнике». Приводя 4-ю строфу – о пробуждении добрых чувств, прославлении свободы и пр. – Соловьев пояснял: «Это дорого народу, но ведь это дорого и самому поэту, хотя и не дороже всего». Последней же строфой – «Веленью Божию» и пр. – Пушкин, по мнению Соловьева, «как бы полагает нерушимую печать безупречного благородства на свое соглашение с потомством»: здесь он «опять настаивает на верховности вдохновения и на безусловной самозаконности поэзии». Поистине, странная печать, уничтожающая смысл самого соглашения!

Tantae molis erat... Romanam condere gentem![13 – «Так было трудно... заложить основание римского народа»[282 – Цитата из «Энеиды» Вергилия (1, 33) (Бабичев Н. Т., Боровский Я. М. Словарь латинских крылатых слов. 3-е изд. М.: Русский язык. 1988. С. 787).] (лат.).] – нет, всего только разумно прочитать 20 умных и ясных стихов Пушкина. «Замо?к», скрепляющий критическую легенду о нем, оказался не камнем, а пустотой. Пушкин предсказал:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал;

прошло восемьдесят лет с его смерти, и люди все еще ищут нравоучения в его стихах: так точно оправдывается его предвидение.

Умиление[50 – Впервые опубликовано: «София». 1914. № 3. С. 63–72; под заглавием «Пушкин и Лермонтов» помещено в т. VI «Пушкин» «Библиотеки великих писателей» под ред. С. А. Венгерова. СПб., 1915. С. 514–519.]

1

В четвертой книжке «Галатеи» 1829 г. было напечатано следующее стихотворение Ротчева[51 – Ротчев Александр Гаврилович (1806 или 1807–20.VIII.1873) – воспитанник Московского университета, поэт, переводчик, сотрудник альманахов «Уралия» (1826), «Северная лира» (1827), «Северные цветы» (1829, 1830) и др. Ротчеву принадлежит цикл стихов «Подражание Корану» (1826–1827), написанный, по-видимому, не без влияния Пушкина (См.: Черейский Л. А. Пушкин и его окружение. Словарь-справочник. Под ред. В. Э. Вацура. Изд. 2-е. Л., 1988. С. 379. Далее: Черейский-2.).].

Песнь вакханки

Лицо мое горит на солнечных лучах,
И белая нога от терния страдает!
Ищу тебя давно в соседственных лугах,
Но только эхо гор призыв мой повторяет.
О, милый юноша! Меня стыдишься ты...
Зачем меня бежишь? Вглядишься в мои черты!
Прочти мой томный взгляд, прочти мои мученья!
Приди скорей! Тебя ждет прелесть наслажденья.
Брось игры детские, о, юноша живой;
Узнай – во мне навек остался образ твой.
Ах, на тебе печать беспечности счастливой,
И взор твоих очей, как девы взор стыдливой;

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org

Твоя младая грудь не ведает огня
Любви мучительной, который жжет меня.
Приди из рук моих принять любви уроки!
Я научу тебя восторги разделять,
И будем вместе млеть и сладостно вздыхать!..
Пускай уверюсь я, что поцелуй мой страстный
В тебе произведет румянца блеск прекрасный!
О, если б ты пришел вечернею порой
И задремал, склоняясь на грудь мою главой!
Тогда бы я тебе украдкой улыбалась,
Тогда б я притаить дыхание старалась.

В это время (январь 1829 г.) Лермонтов жил с бабушкой в Москве, учась в Университетском Благородном пансионе. Очевидно, книжка «Галатеи» попала в его руки, и стихотворение Ротчева соблазнило его: к 1830 году издатели относят стихотворение Лермонтова, написанное, как видно с первого взгляда, на сюжет ротчевской «Вакханки»:

Склонись ко мне, красавец молодой!

Как ты стыдлив! И т. д. [52 – Речь идет о стихотворении М. Ю. Лермонтова «Склонись ко мне, красавец молодой!» (1832). По мнению современного исследователя Л. Н. Назаровой, версия, что оно восходит к стихотворению А. Г. Ротчева «Песнь вакханки», которое в свою очередь является сокращенным переводом произведения А. Шенье «Лидия», возможна. Но эта тема, если она и взята у предшественников, значительно усложнена Лермонтовым в психологическом плане («Лермонтовская энциклопедия». М. 1981. С. 507).]

Чем соблазнила его пьеса Ротчева? Он взял из нее только ее ядро: любовь вакханки к невинному и равнодушному юноше; все остальные элементы ротчевской пьесы он изменил: эллинскую вакханку превратил в продажную красу, беспечного и веселого отрока – в замкнутого юношу, и разлученных свел вместе; а главное – в то время как пьеса Ротчева вся выдержана в светлых, радостных тонах, так что и любовные «мученья» вакханки не нарушают этого светлого колорита, а только придают ему большую теплоту, – Лермонтов набросил на картину трагическое покрывало: мрачный трагизм – в судьбе женщины, слегка окрашен трагизмом и юноша, наконец, трагичен и самый характер ее любви. Воображаемой идиллии, которою кончается стихотворение Ротчева, соответствует трагический конец лермонтовской пьесы:

О, наслаждайся! Ты – мой господин!
Хотя тебе случится, может быть,
Меня в своих объятьях задушить –
Блаженством смерть мне будет от тебя...
Мой друг, чего не вынесешь любя!

Итак, контраст греха и чистоты; мало того – страстное влечение грешного к чистому, то есть в грешном самосознание своей неполноты, и отсюда тревожность, жажда, искание, в чистом же – самодовлеющая полнота: вот что – по всей вероятности, интуитивно – подметил Лермонтов в пьесе Ротчева. И когда он попытался на свой лад изобразить этот контраст и это влечение, то наружу ярко выступил их трагический смысл.

То, о чем я говорю, было в Лермонтове не мыслью, не чувством: оно было скорее всего образом. В этом самом стихотворении он говорит о луне, блуждающей меж туч, что она – «как ангел среди отверженных». Это сравнение, по существу странное, конечно не случайно подвернулось под перо Лермонтова: оно какими-то тайными нитями связано с замыслом пьесы. Совершенно так же и весь этот эпизод – переработка ротчевской «Вакханки» – не случаен в творчестве Лермонтова.

Нет никакого сомнения, что этот свой жизненный образ Лермонтов нашел готовым, и именно у Пушкина. Эта находка была для юного Лермонтова откровением и освобождением; предоставленный собственным силам, он, вероятно, еще долго блуждал бы мыслью в сумерках собственного духа, тщетно отыскивая фокус своего самосознания. «Демон» Пушкина был впервые напечатан в 1824 г., «Ангел» – в 1828-м; в 1829 году вышло собрание стихотворений Пушкина, где пятнадцатилетний Лермонтов, вероятно, и прочитал впервые эти два стихотворения. В этом же 1829 году он пишет первый очерк своего «Демона». Стихотворение Пушкина «Демон» дало ему образ демона, стихотворение «Ангел» – идею встречи демона с образом чистоты и совершенства, наконец, фабулу своей поэмы он заимствовал, может быть, из

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org
письма Татьяны во 2-й главе «Онегина»:

Ты в сновиденьях мне являлся;
Незримый, ты мне был уж мил,
Твой чудный взгляд меня томил,
В душе твой голос раздавался...

Но Лермонтов по-своему пересоздал пушкинского демона, как и ротчевскую вакханку. Самобытность его творческой мысли в таком раннем возрасте удивительна.

2

В дверях эдема ангел нежный
Главой поникшею сиял,
А демон мрачный и мятежный
Над адской бездною летал.

Дух отрицанья, дух сомненья
На духа чистого взирал
И жар невольный умиленья
Впервые смутно познавал.

«Прости, – он рек, – тебя я видел,
И ты не даром мне сиял:
Не всё я в небе ненавидел,
Не всё я в мире презирал».

Такова у Пушкина встреча двух мировых начал, греха и совершенства. Ангел стоит недвижно, он не жаждет и не ищет – даже взором; его потупленный взгляд – стыдливость безгрешной чистоты, или скорбь о падшем брате, которая боится выдать себя, чтобы не оскорбить. Напротив, демон жадно смотрит, и это – знак его мучительной неполноты; но он только смотрит: вот что характерно для Пушкина. Встреча обеих стихий ни для одной не проходит бесследно, – там рождается жалость, здесь умиление, – но активного воздействия не возникает между ними, то есть никакой внутренней порыв не нудит демона слиться с противоположным началом. Только мгновенное провидение совершенства, и отсюда рождающееся умиление, – но никакой попытки отдаться ему и овладеть им.

Из этого Пушкинского зерна родилась в Лермонтове концепция его «Демона». С пронизательностью истинно-гениальной он не только понял Пушкинский образ и не только узнал себя в нем, но и сумел на основании собственного душевного опыта исправить его и дополнить; и так цельна была его необыкновенная натура, что в отроческом постижении она сознала себя всецело, так что опыт зрелых лет уже не прибавил ни одной существенной черты к тем, которыми обрисован образ демона в очерке 1829 года.

«Демон» Лермонтова – сложная переработка Пушкинского «Ангела», история той же встречи двух стихий, но рассказанная иначе. И прежде всего – самый образ демона! Лермонтов совершенно отодвинул в тень объективное изображение демона, как мировой силы: на первый план у него выступило (уже в первой редакции, 1829 года, – и так до конца) субъективное состояние демона, его душевная пытка; он «душой измученною болен», он «роняет, посреди мученья, свинцовы слезы», и т. д. Символический смысл Пушкинского образа был этим, разумеется, значительно ослаблен, но зато была дана возможность психологически раскрыть этот образ. А для Лермонтова только это одно и было важно: он в лице демона разрешал мучительную загадку своего собственного существования. Известно, что замысел этой поэмы имеет автобиографическую подкладку (любовь Лермонтова к В. А. Лопухиной); достаточно вспомнить собственные признания Лермонтова:

Как демон мой, я – зла избранник...
Ты для меня была как счастье рая
Для демона, изгнанника небес...

и т. д.

или в посвящении к одной из поздних редакций «Демона»

...И не узнаешь здесь простого выраженья
Тоски, мой бедный ум томившей столько лет...

Если бы у нас и не было этих признаний поэта, все равно было бы очевидно, что в своем демоне он изображал самого себя – так часто он в своих стихах характеризует себя чертами, составляющими в совокупности образ его демона. В нем с ранних лет кипели тяжелые и недобрые чувства, мысли мрачные и холодные; он безмерно мучился пустынностью своей души, ущербностью всех своих впечатлений. Его исповеди ужасны:

Пусть я кого-нибудь люблю, –
Любовь не красит жизнь мою:
Она, как чумное пятно
На сердце, жжет – хотя темно.

(1831 г.)

И вот, Пушкинский рассказ о встрече двух начал оказался для Лермонтова, при переводе с символического языка на язык психологии, неполным и неверным: он по себе знал другое, и потому он должен был писать своего «Демона».

Умиление Пушкинского демона – о, да, да! Это чувство Лермонтов хорошо знал в себе, оттого он мог плакать облегчающими слезами, читая Пушкинского «Ангела». Но вместе с тем он знал, что его демон – не может остановиться на умилении, что сияние совершенства, блеснув пред ним и осветив ужас его собственной тьмы, неизбежно родит в нем страсть во что бы то ни стало слиться с этой светозарной стихией, отдаться ей, избыть тоску своего ущербного, тревожного, безрадостного существования. Так его «Демон» становится рассказом не о мгновенной только встрече, не об эстетическом умилении греха пред образом совершенства, но об активном усилении греховного начала преодолеть свою природу. Эта попытка заранее обречена на неудачу, – она и не удастся, – но в самой природе греха лежит его скорбное самосознание, а следовательно и непобедимая потребность искать себе исцеления, то есть жаждать, домогаться. Только совершенство пассивно (и, однако, несмотря на свою пассивность, могущественно), грех же неизбежно, в силу своего страдания, активен: этот намек Пушкина Лермонтов раскрыл и довел до конца.

3

Пушкинский демон был тоже образ автобиографический; Пушкин сам говорит это в стихотворении «Демон». В Пушкине было все – и злые омуы, и гады. Не менее Лермонтова он изведal и «мрак земных сует», и «алчный грех», и омертвелость духа, когда «сердце пусто, празден ум»; и пред ним вставляли жгучим укором «видения первоначальных, чистых дней». Тютчев хорошо сказал о нем:

Он был богов орган живой,
Но с кровью в жилах... знойной кровью[53 – Стихотворение
Ф. И. Тютчева «29-ое января 1837», первая строка которого звучит так: «Ты был
богов орган живой» (См.: Тютчев Ф. И. Собрание сочинений в двух томах. Т. I. М.:
Художественная литература, 1984. С. 106).].

Темный голос этой крови властвовал над ним неодолимо, томил его, мучил его. И все же он сравнительно легко несет сознание своей греховности. Не то, чтобы оно не угнетало его подчас; надо ли напоминать те строки, те пламенные признания, где он дал волю своему стыду и своему раскаянию, хотя бы, например, «Когда для смертного умолкнет шумный день»? Но он фаталист; он твердо знает, что своей души ему не переделать, и оттого он не ищет святости, даже не понимает, чтобы ее можно было искать. Он констатирует, как факт, без сентиментального сокрушения:

Напрасно я бегу к сионским высотам:
Грех алчный гонится за мною по пятам.

Эти сионские высоты влекут его к себе, но, как его демон в стихотворении

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org
«Ангел», он только с умилением созерцает их; даже в самые страшные минуты самосознания он способен только «лить потоки слез»; ни одного намека на готовность очиститься, сделать хоть малое усилие к перерождению. Его известные стансы к митрополиту Филарету – точная аналогия к «Ангелу»:

Твоим огнем душа палима,
Отвергла мрак земных сует,
И внемлет арфе серафима
В священном ужасе поэт.

Там – эстетическое умиление пред святостью, здесь – стыд и ужас; но оба чувства совершенно пассивны, так сказать, завзято-пассивны.

Душа человеческая первозданна, ничему не подвластна и управляется своими внутренними законами – эта мысль есть ось Пушкинского мировоззрения. Ни моя разумная воля, ни явления внешнего мира ничего не могут изменить в ней; следуя каким-то своим таинственным законам, она то мертвеет, то оживает сама в себе, – и в каждом своем состоянии она сама присваивает себе из действительности те элементы, которые соответствуют ее состоянию, потому что действительность в каждый миг содержит бесчисленные элементы, самые противоположные между собою: выбирает, притом конгениально, сама душа. Мы еще слишком мало знаем это мировоззрение Пушкина: его стихи гладки – скользнешь, и не заметишь, что в них. Но если читать их медленно, в них открываются удивительные мысли. Он пишет:

Остались мне одни страданья,
Плоды сердечной пустоты.

Что же это? Значит страданий объективно нет? Нет, отвечает Пушкин; страдание – только плод сердечной пустоты; внешний факт становится страданием только в силу известного душевного состояния, предшествующего ему и от него независимого. Так и все внешнее, по мысли Пушкина, нейтрально; жизнь духа неисследимо автономна. В стихотворении «Я помню чудное мгновенье» Пушкин рассказывает о реальных вещах – о двух своих встречах с А. П. Керн. Первая их мимолетная встреча была в Петербурге в 1819 г., вторая, которую собственно и вызвана пьеса Пушкина, – в июне 1825 г. в Тригорском; между обеими встречами легли долгие годы ссылки и душевной омертвелости Пушкина. И вот, рассказав об этой омертвелости, когда он жил «без божества, без вдохновенья, без слез, без жизни, без любви», Пушкин продолжает:

Душе настало пробужденье:
И вот опять явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

Совсем не так, как хотели объяснять биографы, – что новая встреча с Керн в 1825 году пробудила Пушкина от апатии. Как раз наоборот (надо обратить внимание на слова «и вот»): душа проснулась самочинно, в ней совершился таинственный кризис, (так Пушкин говорит и в одном из подражаний Корану: «Настал пробужденье для путника час», то есть настал «по воле владыки небес и земли»), – именно в силу того, что душа проснулась, – ей предстало светлое виденье; не проснувшейся душе А. П. Керн предстала бы просто как красивая женщина, как небесное видение. Оттого Пушкин, с бессознательным умыслом, и употребил здесь такие бесплотные слова: виденье, гений красоты; это «виденье» – плод душевной полноты, как страданье есть плод душевной омертвелости. Все в мире – призрак, но все приобретает существование – в духе. Так и в «Онегине»:

Душа лишь только разгоралась,
И сердцу женщина являлась
Каким-то чистым божеством.
Владея чувствами, умом,
Она сияла совершенством [54 – Гершензон приводит строки из
начальных строк 4-й главы «Евгения Онегина», изъятых Пушкиным. См.: Пушкин А. С.
Полн. собр. соч.: в 10 т. Т. V. С. 528.]

Всякому, кто со вниманием прочтет различные редакции «Демона», будет ясно, что Лермонтов строил план своей поэмы вполне сознательно. Особенно любопытна в этом отношении одна из ранних редакций – 1830 года. Первая, нечаянная встреча (подслушанная демоном песня монахини) вызывает в демоне умиление – совершенно по-пушкински. Но Пушкин на этом и кончает – Лермонтов идет дальше: демон уже не властен забыть эти звуки и это виденье; они –

Остались на душе его,
И в памяти сего мгновенья
Уж не загладит ничего.

Проходит некоторое время, демон тщетно силится «незабвенное забыть», запавшая искра тлеет в нем – но вот оказывается:

тот железный сон
Прошел... любить он может... может...

И, наконец, – совершилось: «И в самом деле любит он».

Так же твердо, как и Пушкин, Лермонтов знал, что грех и страдание греха предопределены и неисцелимы; попытка демона обречена на неудачу, – и все же Лермонтов заставляет его сделать эту попытку, а в последних редакциях поэмы вкладывает в его речи такую глубокую боль, такую страстную веру в возможность для него спасения, что о коварном искусительстве не может быть и подозрения. Демон верит, не может не верить при первом проблеске надежды, потому что его муки нестерпимы.

Таков был сам Лермонтов. Пушкин смирялся пред неизбежностью. Лермонтов не мог смиряться, и это, очевидно, потому, что душевные страдания Лермонтова (его самосознание несовершенства) были несравненно мучительнее, нежели у Пушкина. Вся поэзия Лермонтова, насколько он говорит о самом себе, – сплошной стон, сплошное проклятие. Если читать его стихи медленно и с участием, – сердце сжимается жалостью: как ужасны были его настроения! как безрадостна и трудна его жизнь! Перечтите «И скучно, и грустно», или удивительное по глубине и сосредоточенности чувства «Гляжу на будущность с боязнью», – эти слова последней скорби:

Я в мире не оставлю брата;
И тьмой и холодом объята
Душа усталая моя...

Кто еще так страдал? А глаза сухи, слез нет и не будет... Бедный поэт!

Но Лермонтова уже нет, его страдания кончились, и мы можем спокойно изучать его душевную жизнь, чтобы научиться лучше понимать его поэзию – и самих себя. Мы подошли теперь к самому главному – к вопросу о характере его страдания.

Я сказал, что настроения Лермонтова с самого отрочества были сплошной пыткой; по сравнению с его муками душевная жизнь Пушкина была в общем очень счастлива, то есть сравнительно спокойна, ясна, часто празднична. И вот именно эта великая острота боли делала Лермонтова до такой степени нетерпеливым и, можно сказать, корыстным. Он так страдает, что ему не до размышлений о своем несовершенстве; он болен – болен пустынностью и тревожностью своего духа, болен своей ущербностью и одиночеством, – и он жаждет одного: исцелиться, то есть обрести полноту чувств и душевный покой. Пушкин хорошо знал чистое чувство греховности, то настроение, когда человек говорит себе: пусть я не властен не согрешать, но мне больно и стыдно, что я так далек от совершенства. Пушкин знал «змеи сердечной угрызенья»; все помнят эти стихи:

И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклиная,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю[55 – Стихотворение Пушкина

«Воспоминание» («Когда для смертного умолкнет шумный день», 1828) (Ш.С. 57).].

Такого покаянного псалма никогда не мог бы написать Лермонтов. В его поэзии вообще нельзя открыть ни малейших признаков покаяния. Чувство греха ему чуждо, и

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org
совершенство манит его не потому, что оно само по себе прекрасно, а потому, что оно сыто, спокойно и счастливо, тогда как он голоден, тревожен и несчастен. Вот почему демон Пушкина при виде ангела только умилен:

Прости, он рек, тебя я видел,
И ты не даром мне сиял:
Не все я в небе ненавидел,
Не все я в мире презирал.

Чувства более бескорыстного, чем это, нельзя себе и представить. Умиление же Лермонтовского демона длится едва мгновение, чтобы тотчас уступить место своекорыстной мечте об исцелении. Так Пушкин благоговеет перед красотой совершенства, смиренно сознавая ее недостижимость для себя, а Лермонтов завидует счастью совершенства, мятежно силится овладеть им. Два полюса религиозного сознания, два крайних чувства, неизменно присущих в смешении каждой человеческой душе. И так ярко их изображение, точно нашим двум величайшим поэтам было предназначено демонстрировать перед всем светом эти две типичные односторонности в их наиболее чистой форме [14 – См. тот же контраст умиления и корысти: Тургенев и Л. Н. Толстой – в моей книге «Мечта и мысль И. С. Тургенева».]

Многие пути ведут ко спасению, и каждой душе предуказан свой путь. Они оба ясно видели перед собою солнце, которое большая часть людей только смутно чувствует, как железо чувствует магнит: образ совершенства; и оба тосковали о нем, хотя и по-разному. Чистое умиление Пушкина и бурное вождление Лермонтова равно святы, ибо дело идет о горней красе, не о земной. Молится ли подвижник незлобивый сердцем, проливая слезы умиления и благодарности, или преступная душа скорбит несказанной скорбью о черноте своей и с проклятиями молит исцеления своих мук, – не то же ли небесное пламя там светит, здесь жжет? Поэзия Пушкина и поэзия Лермонтова – два разных служения, и нет смысла судить, чье служение выше. Но нам важно смотреть и заметить. Они оба одинаково знали каким-то недоказуемым, но необыкновенно уверенным знанием, что есть некая норма бытия, совершенство; невольное отступление от этой нормы Пушкин ощущал в себе как грех, Лермонтов – как причину своих душевных страданий. Как сложился в них этот умопостигаемый образ? Их непоколебимая вера в его реальность носит все признаки опытного знания. Вернее всего зримого и осязаемого они видели мир такой, какого внешний опыт и рассудок не знают; очевидно, у них был и другой, более тонкий опыт, – иначе их уверенность была бы или притворством, или бредом, чему противоречат страстная искренность и формальная красота их признаний. Они не учителя идеалов, а повествователи о виденном ими, очевидцы и свидетели подлинно-сущего. Именно в этой убежденности их свидетельств, в этом всенародном оглашении результатов высшего душевного опыта заключается ценность их поэзии, как и всякого истинного искусства.

Терновый венец

Человек – царь природы, и царствует он в силу своего разума. Но как дорого он платит за эту власть! Как тягостно бремя разума! Какое счастье было бы скинуть тяжелую шапку Мономаха и стать хоть на одно летучее мгновение простым обывателем вселенной, наравне с ветром и облаком, растением и зверем! За властью не успеваешь жить, а так хочется пожить, побыть вольным и праздным. Бессонный разум нудит и гонит ставить цели, достижение одной цели рождает другую, и человек кругом опутан неисчислимыми целеположениями своего принудительного разума; безмерное напряжение сил, ни дня покоя и свободной радости! И к тому еще побочные тяготы власти – сознание прошлого и сознание будущего, то есть тоска и раскаяние о прошлом, и страх, этот проклятый страх, неразлучный спутник всякого владычества, кара за его беззаконность, – потому что космически всякая власть беззаконна и всякая тайно знает это, что и есть страх царей перед крамолой и страх разума перед судьбой.

Вся русская поэзия есть мечта о самозабвении: сложить царский венец разума и зажить беззаботно, стихийно, а если вовсе – нельзя, то хоть на миг. Не только Тютчев, чье творчество – поистине «Соломоновы притчи» и «Песнь песней» царствующего разума, – нет, таков даже Пушкин, гармонический Пушкин. Он часто говорит о забвении и называет его сладким: «В забвении сладком»; для него

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org
забвение – синоним восторга:

День восторгов, день забвенья
Нам наверное назначь[56 – Последние две строки из стихотворения
Пушкина «О. Массон» (1819) выглядят так: «Ночь восторгов, ночь забвенья Нам
наверное назначь»(I. С. 312).];

он определяет Элизиум так:

Там бессмертье, там забвенья
Там утехам нет конца[57 – Строки из стихотворения Пушкина
«Прозерпина» (1824): «Там бессмертье, там забвенья, Там утехам нет
конца, Прозерпина в упоенье, Без порфиры и венца, Повинуется желаньям, Предает его
лобзаньям Сокровенные красы <...>»(II. С. 162).];

он говорит о любви:

Друзья! не всё ль одно и то же:
Забиться праздною душой
В блестящей зале, в модной ложе,
или в кибитке кочевой?[58 – цитата из стихотворения «Калмычке»
(1829).]

У него есть стихотворение, бросающее свет на эту складку его сознания, – пьеса
«Не дай мне Бог сойти с ума». Он говорит: мне разум нужен – но не для меня: он
нужен обществу во мне; поэтому, утратив разум, я становлюсь неудобен, даже
опасен обществу, и оно запрет меня в клетку. Но если бы не эта внешняя угроза,
как хорошо было бы избавиться от разума! Для меня лично он только помеха; как
счастлив я был бы без него! И тут Пушкин рисует картину блаженного безумия.

Когда б оставили меня
На воле, как бы резво я
Пустился в темный лес!
Я пел бы в пламенном бреду,
Я забывался бы в чаду
Нестройных чудных грез.
И я б заслушивался волн,
И я глядел бы, счастья полн,
В пустые небеса.
И силен, волен был бы я,
Как вихорь, роющий поля,
Ломающий леса...

Этого полного и длительного счастья нам не дано вкушать, откуда же человек знает
о нем? Как узнал Пушкин определенные признаки этого блаженного состояния:
стремление бежать от людей, раскрытие в чувстве своего единства с природной
стихией, освобожденный слух, ясно внемлющий внутренние голоса духа, экстаз
радости, наконец, чувство своей абсолютной свободы и оттого чувство своей
безграничной мощи? Откуда он узнал все это с такой достоверностью?

У него был соответственный опыт – частичный, но открывающий природу целого.
Человеку даны отдельные минуты неполного безумия. Есть места и сроки, когда от
избытка атмосферных осадков, просачивающихся внутрь, набухнут, переполнятся
русла подземных вод, и вдруг эти воды вырываются на поверхность земли и заливают
окрестность. Нечто подобное бывает с человеческой душой, – не со всякой,
конечно, и только мгновениями. Пушкин был таков, и он знал эти экстазы. У него
они вызывались преимущественно вдохновением.

Он изображал свое творческое вдохновение теми самыми чертами, которые мы только
что различили в начертанной им идеальной картине полного безумия: прежде всего,
бегство от людей к природе – и опять то же: в лес и к морю.

Бежит он, дикий и суровый,

(эти два признака, два чувства, обращены к людям, от которых он бежит)

И звуков, и смятенья полн,
На берега пустынных волн,

Это – первый момент, бегство: «Как бы резво я пустился в темный лес!» А вот самое состояние экстаза, тот «пламенный бред», те «чудные грезы» (слова одни и те же в обоих случаях), счастье, слияние с природой, свобода:

... тяжким, пламенным недугом
Была полна моя глава;
В ней грезы чудные рождались...

.....
В гармонии соперник мой
Был шум лесов, иль вихорь буйный,
Иль иволги напев живой,
Иль ночью моря гул глухой,
Иль шопот речки тихоструйной...

Эти-то черты, узанные в опыте мгновенных и неполных безумий – вдохновения, Пушкин обобщил в картине совершенного блаженства. Для него самого минуты вдохновенья были, по-видимому, минутами высшего счастья, какое он знал в жизни. Слабее, но все еще очень сильны, были для него другие две категории самозабвения: упоение чужим творчеством и любовь. В этом самом порядке он располагает три очарования, которыми еще манит его жизнь:

Порой опять гармонией уплюсь (– собственное вдохновение),
Над вымыслом слезами обольюсь (– наслаждение искусством),
И, может быть, на мой закат печальный
Блеснет любовь улыбкою прощальной (– любовь).

Сальери в точности повторяет первые две категории:
Как жажда смерти мучила меня,
Что умирать? я мнил: быть может, жизнь
Мне принесет незапные дары:
1) Быть может, посетит меня восторг
И творческая ночь, и вдохновенье;
2) Быть может, новый Гайден сотворит
Великое, и наслажуся им...

Что из этих трех категорий сильнеею было для Пушкина вдохновение, это видно хотя бы из его слов о Чарском, в «Египетских ночах»: «Он признавался искренним своим друзьям, что только тогда» – именно, когда находило на него вдохновение, – «и знал истинное счастье». Чарский более всех персонажей Пушкинского творчества – его автопортрет.

Как бы то ни было, во всех трех Пушкин ценил одно: временную атрофию разума, ибо только в этом одном блаженство любви («вся жизнь – одна ли, две ли ночи?») сходно с теми двумя.

Показание Пушкина, основанное на личном опыте, драгоценно для нас и в высшей степени поучительно. Оно имеет всю ценность научной гипотезы, выведенной из добросовестных наблюдений и экспериментов. Но как всякий итог одностороннего, то есть единоличного опыта, оно может притязать только на принципиальное значение. Конкретное содержание такого свидетельства нельзя принимать на веру; это было бы тяжелой ошибкой. Нам важно запомнить общее утверждение Пушкина, что высшую свободу и высшее счастье, как он узнал в своем личном опыте, человек обретает только с утратой своего нынешнего разума. Но опыт его в этом деле был односторонний: он знал преимущественно то состояние безумия, которое дается вдохновением поэтическим, и в общий закон он возвел черты только этого знакомого ему состояния. Поэтому удивительная картина, которую он дал в пьесе «Не дай мне Бог сойти с ума», не может быть признана общеобязательной в своих деталях. Его путь – только один из путей; есть много других путей, есть другие категории безумия, – есть, может быть, даже иерархия этих категорий, и только на высшей ступени открывается человеку все царство блаженного безумия. Пушкин несомненно бывал в этом царстве, и не раз, но видел только малую часть его.

Я думаю, Платон был прав, когда в «Федре» отводил поэтическому вдохновению высокое, но не высшее место. Исступление, по Платону, есть то состояние человеческой души, когда в ней внезапно вспыхивает воспоминание о мире

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org
истинно-сущего, который она некогда созерцала воочию: тогда, опьяненная этим божественным видением, она впадает в восторг, в экстаз. Но это воспоминание может быть, во-первых, более и менее отчетливым, членораздельным, во-вторых, более и менее устойчивым и длительным. По этим двум признакам Платон различает четыре вида священного безумия: 1) исступление пророческое (религиозное), 2) очистительное (нравственное), 3) поэтическое, и 4) эротическое или собственно-философское. О вдохновении поэтов он говорит: «Третий вид одержимости и исступления бывает от муз: овладевая нежною и девственною душою, возбуждая и восторгая ее к одам и другим стихотворениям, и украшая в них бесчисленные события старины, это исступление дает уроки потомству»[59 – Гершензон пользовался следующим изданием: Платон. Творения. Т. 1–2. М.: Изд. К. Т. Солдатенкова, 1899–1903. В современном издании этот отрывок в переводе А. Егунова звучит так: «Третий вид одержимости и исступления – от Муз, оно охватывает нежную и непорочную душу, пробуждает ее, заставляет излить вакхический восторг в песнопениях и в иных родах поэзии и, украшая несчетное множество деяний предков, воспитывает потомков» (Платон. Избранные диалоги. М.: «Художественная литература», 1965. С. 208).]. Это – безумие Пушкина.

Пушкин и мы

1. Недра

Повесть Андрея Белого «Котик Летаев» – необычайное явление не литературы только, но всего нашего самосознания[60 – Начало работы Андрея Белого над романом «Котик Летаев» относится к октябрю 1915 г., когда он находился в Швейцарии. В первом полугодии 1916 г. написаны 2–5 главы «Котика Летаева», в октябре того же года написаны 6–я глава и эпилог. В августе 1917 г. в 1–м сборнике альманаха «Скифы» опубликованы первые главы романа, а в январе 1918 г. окончание «Котика Летаева» напечатано во 2–м сборнике «Скифов» (См.: «Андрей Белый. Проблемы творчества. Статьи, воспоминания, публикации». М.: Советский писатель, 1988. С. 789–791).]. Быть может, впервые нашелся человек, задавшийся дерзкою мыслью подсмотреть и воспроизвести самую стихию человеческого духа. Потому что стихия эта в своем ядре есть некий вихрь, который чрез бесчисленные уплотнения и воплощения создает все телесные и духовные формы человеческой жизни; и если искусство никогда не довольствовалось изображением внешней проявленности духа, если оно во все века стремилось вскрывать глубины, – то в сердцевину, в огненный центр бытия, никто не пытался проникнуть, по крайней мере сознательно. Андрей Белый – первый художник, который поставил себе эту цель. Он изображает жизнь ребенка от первых дней. По его мысли, новорожденный младенец есть клочок космоса, и сам полный микрокосм; и он рассказывает, как этот атом стихии пучится, расширяется и делится внутри себя, как он, оставаясь единым, внутренне ширится и разжижается, и организуется – начально бесформенный – в ощущениях и чувствах, как уплотняются эти воздушные течения, излившиеся из стихийного ядра, и формируют личность, сознание, идеи. То, что мы называем иррациональным в духе, показано нам здесь непосредственно *ad oculos*[15 – Перед глазами, зримо, наглядно (лат.)], само по себе, а не через периферические свои проявления. Скульптор должен знать анатомию, но он показывает нам игру мускулов под кожей; Андрей Белый удалил кожу, мышцы, он вскрыл страшные и безобразные недра, – они лежат открытые пред нами и живые, в своей ужасной змеиной подвижности. Есть что-то жуткое в этом зрелище, точно на глазах у нас извиваются, клубятся, растут тупые и могучие змеи, пухнут и опадают и кусают друг друга беззвучно. Эти змеи – в нас, они же преобразуются в ангелов нашей мечты и поют нам райские песни поэзии, из них рождаются образы нашего строительного разума; но сами, сами они – как ужасы!

Нужно ли показывать недра? Мы до сих пор не умели и не хотели их видеть; если нашелся человек, который умеет, значит, это нужно, значит, пришел срок нам их видеть. И святотатственный замысел этот созрел ведь давно. Тридцать лет европейская мысль роет ходы вглубь; лозунг был брошен Ницше, и роют поэты, как Метерлинк, роет вся современная философия, не один Бергсон[61 – Бергсон Анри (1859–1941) – французский философ-интуитивист, создатель учения о творческой

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org эволюции. Автор работ «Непосредственные данные сознания» (1889), «Материя и память» (1896), «Творческая эволюция» (1907).]. В ядре все расплавлено и текуче, а изливы его в сознании твердеют: видно, стеклянная кора рационального давит уже нестерпимо и дух ищет освободиться от собственных своих порождений, ставших его тиранами, – от оформленных чувств и идей. И с другой стороны, само сознание поневоле обернулось к своему истоку, во-первых потому, что, изучая себя, узнало себя как производное и розысками незаметно было приведено в недра духа, во-вторых, потому, что после века неудач понял свое практическое бессилие и убедилось, что рычаг человеческой воли – в иррациональном. Так два нарастающих движения шли навстречу друг другу, одно из глубины, другое – из разума, и наступил день, когда очередная задача созрела. Повесть Андрея Белого – один из несомненных признаков его наступления.

Это дело теперь не только нужно, но им одним может быть спасена культура, ибо поистине пришел ее последний час. Кто не видел опасности, тому должна была открыться глаза эта война. Рациональный расчет, такой всесторонний, осмотрительный, точный, жестоко обманул человечество – оно видит себя банкротом. Теория прогресса, основанная на убедительных научных выкладках, вдруг сорвалась в бездну, и оказалось, что главнейшие – то силы не были учтены, больше того – были просто забыты, оставлены вне изучения и надзора. Пока наверху, в свете сознания, возводился величественный храм культуры, – там, в недрах духа, в забытом пороховом погребе, на котором все стоит, развивались какие-то ядовитые и опасные газы, и, восходя, они отравляли строивших; и вдруг там произошла чудовищная детонация – и на наших глазах валятся стройные громады здания, и под ними гибнут миллионы вольных и невольных его строителей. Нам надо спуститься вниз, узнать эти темные силы и дать им выход. Пред лицом этой страшной войны нет важнейшей задачи, как раскрыть недра – впервые в истории человечества.

Но как ужасна эта работа, как противна чувству! Это хирургия, спасительная и страшная. О, если бы скорее нож кончил свое дело и рана зажила, чтобы нам снова не видеть недр! Потому что они должны быть закрыты, утаены от света и сознания: таков закон жизни. Когда они здоровы, человек не помнит о них, хотя ими живет; и благо ему. Наше время – и еще надолго вперед – обречено не жить, а лечить роковую болезнь духа, и тут будут больше всего нужны небрезгливость и бесстрашие хирурга. Они нужны всем, не только Андрею Белому, взявшему в руки нож, но и нам, потому что этот нож вскрывает всенародно наши недра, и мы, доселе не знавшие их, раз увидав, уже никогда не забудем, что мы носим в себе, чем живем. Я верю – человек исцелится и снова на время станет беспечен по сравнению с нами; но прежнего, полного забвения уже не будет. Не надо жалеть о нем; но почему не сказать, что оно было законно и прекрасно?

Эсхил и Шекспир не раскрывали недр, но только давали осязать их глубокие и могучие движения сквозь кожу цветущих, прекрасно-обнаженных тел, и душа зрителя содрогалась, в то время как взор его упивался прелестью божественных форм. Вспомним ближайшее к нам, совсем недавнее, – нашего Пушкина. Между повестью Андрея Белого и поэмой Пушкина – то же различие, как между видом глубоко раскрытой раны и видом зардевшего лица прелестной девушки. И Пушкин, не хуже нас, умел видеть огненное ядро духа и знал, что наружная жизнь творится в этом горниле. Но тогда художнику еще можно было быть ваятелем, а не хирургом; Пушкину еще не было надобности удалять естественные покровы – напротив, он воспроизводил их с любовью, только давал тем внутренним напряжениям просвечивать сквозь них. Именно так живет человек, и дело Пушкина есть подлинное искусство: обнаружение сущностей в явлениях.

От Пушкина до Андрея Белого – вот наш путь за сто лет.

2. Умные звуки

Нынешний лозунг гласит, что сознание должно войти в иррациональную жизнь духа и исследовать ее, чтобы овладеть ею. Одно из очарований поэзии Пушкина составляют как раз бессознательные проявления иррациональных движений его души. Здесь искателя ждет обильная добыча.

Наши современные поэты, кажется, признают за правило, что каждый поэтический

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org
сюжет сам избирает себе соответственный стихотворный размер, что, следовательно, два различных настроения должны быть выражены и в различных размерах. Отчасти это, может быть, и верно: во всяком случае, в литературе встречаются поразительные совпадения такого рода. У немецкого поэта Платена [62 – Платен Август, граф (1796–1835) – немецкий поэт. Культивировал строгую классическую форму, выступал против немецкого романтизма, следуя в литературе античным образцам.] есть стихотворение «Tristan», мало кому известное теперь. Вот первые две строфы его по-русски, размером подлинника:

Тот, кто зрел прекрасное очами,
Обречен уже могиле хладной;
Он бредет как мертвый между нами,
Но страшится смерти безотрадной, –
Тот, кто зрел прекрасное очами.
Не смирить ему любви томленья,
Ибо пыл своей священной жажды
Чем потушит он в юдоли тленья?
Красоту кто созерцал однажды –
Не смирить ему любви томленья.

На ту же тему есть стихотворение у Вяч. Иванова. Последний, как мне достоверно известно, никогда до того не читал пьесу Платена: не чудо ли, что для изображения той же мысли (или душевного состояния) он прибег к тому же самому ритму? Стихотворение Вяч. Иванова находится в первом томе его «Cor ardens» [16 – «Пылающее сердце» (лат.)] под заглавием «Taedium phaenomeni» [17 – «Отвращение к явлениям» («Пресыщенность явлением») (лат.)]:

Кто познал тоску земных явлений,
Тот познал явлений красоту.
В буйном вихре вожделий,
Жизнь хватая на лету,
Слепы мы на красоту явлений.
Кто познал явлений красоту,
Тот познал мечту Гиперборея:
Тишину и полноту
В сердце сладостно лелея,
Он зовет лазурь и пустоту,

и т. д.

И если, при тождестве ритма, стихотворный размер у обоих поэтов различен, то более внимательное изучение идей, выраженных в той и в другой пьесе, обнаружило бы закономерность и этого различия (у Платена – совершенная безысходность тоски, у Вяч. Иванова – светлое разрешение ее, предначеченное с самого начала).

Но как ни доказательны такие примеры, закон этот все-таки не универсален. Поэзия Пушкина – живое опровержение его.

Для Пушкина размер стиха, по-видимому, безразличен; тем же размером он описывает и расставание с любимой женщиной («Для берегов отчизны дальней»), и охоту кота за мышью (в «Графе Нулине»), встречу ангела с демоном – и пленного чижики, который

Зерно клюет и брыжжет воду
И песнью тешится живой.

Тождественны по размеру «Воротился ночью мельник» и «Жил на свете рыцарь бедный». Он вообще несравненно беднее размерами, нежели любой из современных нам поэтов. Дело в том, что внешнее разнообразие он заменял внутренним, то есть специфическим каждый раз движением стиха. Огромную роль здесь играла, конечно, ритмика, то есть характер чередования ударяемых и неударяемых слогов; но этот принцип, чисто количественный, сам по себе не способен обеспечить стиху душевную выразительность; напротив, он формален и мертвен. Он становится могучим орудием поэзии только в сочетании с окраской звуков, то есть с характером чередующихся гласных, и если ритмика, формальное начало, в значительной мере подчинена сознанию, может быть изучена и сознательно усвоена, то чередование гласных всецело определяется ритмом чувства, то есть какими-то иррациональными движениями, которые совершенно не подчиняются анализу и выучке. Здесь

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org

господствует строжайшая закономерность, совершенно непостижимая, хотя и вполне ощутительная в своем проявлении; здесь обман невозможен: тонкое ухо безошибочно услышит полноту и своеобразие чувства в закономерности чередования звуков, которой не может подделывать даже гениальный поэт. Я не могу объяснить, почему стих «Для берегов отчизны дальной» кажется мне абсолютно закономерным, непреложной закономерностью самой природы, но я чувствую, что этот ряд гласных, именно в этом порядке, непогрешимо меток, что малейшее изменение в нем, замена хоть одной гласной другою, было бы резким диссонансом.

В этом отношении Пушкин недосыгаемо высок. Его лучшие стихи обнаруживают в чередовании гласных такую непреложную внутреннюю принудительность, которая делает их похожими на явления природы. И признак этот, быть может, – важнейший в поэзии Пушкина, так как он, во-первых, гарантирует совершенную подлинность чувства, выражаемого в стихе, и во-вторых, обеспечивает совершенную послушность звуков чувству, так, что чувство это полностью и незасоренным переливается из души поэта через звук и слух (или зрение) в душу читателя. При слабом настроении разнообразные силы души действуют вяло и небрежно; но могучее напряжение чувства мобилизует их и всецело покоряет себе: тогда всякий орган духа, – а в поэте особенно орган, заведующий звуками, – как бы утрачивает свою самочинную волю, и, подобно подмастерью, который сам загорелся творческим замыслом хозяина, подает создающему чувству не случайные орудия, а в каждую минуту именно тот инструмент, какой нужен. Так, мне кажется, с непреложной закономерностью служит звуковой орган вдохновению поэта, причем эта работа совершается вполне безотчетно.

В большинстве случаев мы только чувствуем это соответствие звуков чувству. Чем оно органичнее, тем оно тоньше и неуловимей. Лишь изредка оно явно выступает на поверхность резкими чертами, и тогда мы можем осмыслить его, хотя всегда лишь субъективно. Так, я слышу внутреннюю закономерность звуков, которые Пушкин, конечно, бессознательно, влагает в уста Вальсингама (в «Пире во время чумы»), в этом многократно повторенном, сердце разрывающем а:

я здесь удержан
Отчаяньем, воспоминаньем страшным,
Сознаньем беззаконья моего...

Я слышу непреклонную решимость насилия в бездушно-плоском е стиха:

Но человека человек,

и беспощадное толкание вперед, все вперед, в самое жерло гибели, в следующем затем многократном а:

Послал к Анчару властным взглядом...

Можно было бы привести много примеров такого субъективного понимания, но я ограничусь еще только одним, с той целью, чтобы показать в поэзии Пушкина наличность также и психологически-выразительных согласных. Я говорю о памятном, конечно, многим стихотворении «Наперсник». Оно относится, по-видимому, к графине Закревской [63 – Закревская Аграфена Федоровна (урожд. графиня Толстая) (1799–1879) – предмет увлечения Е. А. Баратынского, П. А. Вяземского, А. С. Пушкина. Пушкин посвятил Закревской стихотворения «Портрет», «Наперсник», «Счастлив тот, кто избран своенравно» (Черейский – 2. С. 162–163).]; эта зрелая, тогда обольстительная и развратная женщина, играя Пушкиным, очевидно дразнила его чувственность откровенными рассказами о своих былых любовных похождениях. Восьмистишие Пушкина, посвященное ей, выдает его эротическую раздраженность многочисленными з и ж:

Твоих признаний, жалоб нежных
Ловлю я жадно каждый крик:
Страстей безумных и мятежных
Как упоителен язык!
Но прекрати свои рассказы,
Таи, таи свои мечты:
Боюсь их пламенной заразы,
Боюсь узнать, что знала ты!

Эти слова, полные з и ж, особенно в первой строфе, напоминают то сладкое и

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org
мучительное чувство, которое человек испытывает, расчесывая зудящее место; они напоминают слова: жалить, жало, жжение, жужжание, зазубрина, заноза, – какое-то мелко-острое накожное раздражение. И это также, разумеется, не единственный случай явной закономерности согласных у Пушкина; такие наблюдения легко может сделать всякий при внимательном чтении его стихов.

3. «Бедный рыцарь»

Что Пушкин умел также ясно различать иррациональные движения своего духа и сознательно воспроизводить их в своей поэзии, это разумеется само собою: иначе он не был бы поэтом. Мюссе однажды сказал о лирическом поэте, что он ловит на лету биения сердца, длящиеся миг; и так создается ведь всякое художественное произведение[64 – В письме к брату Полю-Эдмону, датированном 4 августа 1831 г., Альфред де Мюссе писал: «Когда, слагая стих, я чувствую некоторое знакомое мне биение сердца, я уверен, что этот стих наилучшее из того, что я могу произвести» (Musse A. de. Oeuvres Posthumes. Paris, 1887. P. 212) (пер. с французского Е. П. Гречаной, которую комментатор благодарит за помощь в разыскании этой цитаты)]. Но Пушкин умел не только ловить на лету свои душевные состояния: он умел также подмечать их зарождение и развитие. Приведу и здесь только один пример для пояснения.

Замысел «Бахчисарайского фонтана» несомненно автобиографичен. Грешный человек встречается на своем пути девушку – «гения чистой красоты», и образ ее навсегда запечатлевается в его душе: таков сюжет поэмы. Все ее содержание сжато в четыре стиха:

Так сердце, жертва заблуждений,
Среди порочных упоений
Хранит один святой залог,
Одно божественное чувство.

Так врезался в сердце Гирею образ Марии. После ее смерти он снова предпринимает, как раньше, кровавые набег, но он уже не тот, чем был, –

Он часто в сечах роковых
Подъемлет саблю, и с размаха
Недвижим остается вдруг,
Глядит с безумием вокруг,
Бледнеет, будто полный страха,
И что-то шепчет, и порой
Горючи слезы льет рекой.

Эта тема, как видно, сильно занимала Пушкина. Чрез несколько лет он вернулся к ней, и изобразил ту же встречу с тем же последствием ее, но уже не в конкретной, а в типической форме, как встречу демона с ангелом. Тот самый демон, который ничего не хотел благословить во всей природе (ибо Пушкин сознательно связал свое стихотворение «Ангел» со своим же ранним стихотворением «Демон»), увидав ангела, преклоняется перед ним. И он после этой встречи иной, чем раньше, и в нем вспыхнуло «божественное чувство».

И снова, спустя годы, Пушкин возвращается к этой теме в первой редакции «Бедного рыцаря». Если первая обработка ее, в «Бахчисарайском фонтане», была совершенно реалистична, а вторая, в «Ангеле», символична, то «Бедный рыцарь» отличен от обеих: здесь уже нет дуализма, здесь небесное начало непосредственно нисходит в земную жизнь и преобразует ее. Для своей цели Пушкин воспользовался средневековыми преданиями о рыцарях, экстатически влюбляющихся в Мадонну. Бедный рыцарь увидел Деву Марию в галлюцинации, на пути в Женеву, и образ ее глубоко врезался ему в сердце. Он влюблен в нее, его чувство наполовину земное: он целые ночи проводит перед ее иконой, не сводя глаз и тихо лия слезы, он в сражениях выкликает ее имя, как имя своей дамы; и так, «все влюбленный», он умирает. Эта первая редакция «Бедного рыцаря» была написана, вероятно, в 1830 году. Пять лет спустя, Пушкин переделал «Бедного рыцаря», придав ему ту форму, в которой он теперь всем известен. Здесь образ рыцаря очищен от всего земного, высоко поднят над дольным миром. В его видении нет уже ни одной конкретной черты, – только

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org «виденье, непостижное уму», и нет никаких конкретных черт также в его поклонении, нет иконы, нет «влюбленности», – только одна тонкая нить еще связывает его с реальной средой, с рыцарством: Палестина, сражение с мусульманами и клич: «Lumen coelum, Sancta rosa». Так Пушкин сам постепенно с годами уразумел в себе природу того божественного чувства. То самое душевное состояние, которое он в Гирее показал нам, как страсть (так он в ту пору, конечно, сознавал его в себе), он под конец понял, как экстаз чистой духовности, рождающийся в душе помимо всего земного.

Но и в ранней, и в поздней стадии он изображал этот процесс сквозь покровы, не обнажая недр. Еще не нужно было; еще дух был сравнительно здоров, и самый этот процесс зарождения «божественного чувства» был явлением здоровья. В греческой статуе движения недр выявлены, но и наглухо скрыты прекрасною плотью; оттого эта статуя уже почти пугает нас своим непреклонным совершенством. Пушкин несравненно роднее нам, – он весь просвечивает и играет игрою внутренних сил, волнением крови, явно не видной. Мы познаем его так же, как познаем нашего ближнего, только несравненно глубже, – но не так, как знаем (или можем знать) самих себя. Оттого Пушкина легко полюбить. Теперь художник хочет показывать нам душу в непосредственном видении; искусство более, чем когда-нибудь, становится диагнозом, и это новое искусство, необходимое и благотворное, будет на первых порах пугать людей своей бесстрашной правдой. Тем с большим умилением будут люди возвращаться к Пушкину, не затем, чтобы в его поэзии забывать настоящее, но чтобы черпать у него крепкую веру в человека.

Пиковая дама [65 – Впервые: Пушкин. Соч. т. IV // Библиотека великих писателей. Под ред. С. А. Венгерова. СПб.: 1910. С. 328–334.]

1

Зачем понадобилось Пушкину рассказать такой странный, мало-правдоподобный анекдот? Или в самом деле это не более, как «шалость гениального пера», подобно «Графу Нулину», хотя и в другом, фантастическом роде? Белинский писал о «Пиковой даме»: «Собственно, это не повесть, а анекдот: для повести содержание «Пиковой дамы» слишком исключительно и случайно»; но анекдот, прибавляет он, мастерски рассказанный. Как бы хорошо ни был рассказан анекдот, как бы тонко ни были очерчены действующие в нем лица, от этого сущность анекдота не меняется: его содержание всецело исчерпывается фабулой; он лишен художественной идеи. Итак, Белинский хотел сказать, что в «Пиковой даме» нет художественной идеи [66 – В статье одиннадцатой «Сочинения Александра Пушкина» Белинский писал: ««Пиковая дама» – собственно не повесть, а мастерской рассказ. В ней удивительно очерчена старая графиня, ее воспитанница, их отношения и сильный, но демонически-эгоистический характер Германа. Собственно, это не повесть, а анекдот: для повести содержание «Пиковой дамы» слишком исключительно и случайно. Но рассказ – повторяем – верх мастерства» (Белинский. Т. 6. С. 490).], а есть только мастерски изложенная фабула.

Если бы это было так, «Пиковую даму» надо было бы признать исключением среди творчества зрелой поры Пушкина. Сюжет этой повести, рассматриваемый как фабула, как рассказ о фактах, есть прямая нелепость. Эта старуха, знающая три верные карты, появление ее посмертной тени перед Германом – что это: объективно рассказанные происшествия, или намеренная фантастика? В обоих случаях факты слишком невероятны, чтобы Пушкин, с его трезвым умом, с его любовью к простому и реальному, мог соблазниться таким Гофмановским сюжетом. Как «анекдот», «Пиковая дама» представляла бы плохую и не идущую к Пушкину выдумку. Но «Пиковая дама» – совсем не анекдот: на этот раз Белинский ошибся.

2

За ужином, после карт в офицерской компании, Томский рассказал анекдот о своей бабушке, как она в молодости, прожигая жизнь с мужем в Париже, проиграла однажды герцогу Орлеанскому большую сумму, как муж отказался платить и она в отчаянии решилась на скользкий шаг – обратиться к графу Сен-Жермену, который слыл за чудодея, но, впрочем, «был в обществе человек очень любезный»; и будто бы граф выручил ее, открыв ей тайну трех верных карт, что и помогло ей отыграться; и будто тайны этой она потом никому не открывала, даже своим четырем сыновьям, которые все были отчаянные игроки, – открыла только раз молодому Чаплицкому, когда он сильно проигрался, и тем действительно спасла его.

Разумеется, пустая сказка, шитая белыми нитками. Какой-нибудь положительный, пошловатый человек, выслушав ее, вероятно, подумал бы: «Знаем мы эти чудеса. Разумеется, Сен-Жермен просто дал ей деньги за нежную плату, а Чаплицкому она сама в трудную минуту помогла за снисхождение к ее увядшим прелестям. Миф о трех картах пущен в ход, конечно, ею самой, и в этом смысле он действительно не лишен остроумия».

Так, вероятно, и подумали слушатели, и, может быть, они были правы. Пушкин намеренно оставляет факты под дымящуюся вуалью. О чем говорила наедине молодая красавица с Сен-Жерменом, этого, разумеется, никто не мог знать, – разве что она сама потом рассказала; а случай с Чаплицким Томский передает со слов своего дяди, графа Ивана Ильича, который «уверял его в том честию».

Итак, вся история о трех таинственных картах представляла собою, вероятно, не более, как комочек житейской пошлости. Остальные присутствовавшие взглянули, увидели комочек пошлости или, на иной взгляд, обыденного быта, и без особенного внимания прошли мимо. Но одному из слушателей анекдот глубоко запал в память – и здесь, в душе, насыщенной взрывчатыми газами, комочек грязи получил силу динамита. Он разорвет вдребезги эту душу и всего человека.

Таков художественный замысел «Пиковой дамы»: соприкосновение души, определенно настроенной, с соответствующим этому настроению элементом действительности. Вся грядущая драма Германна – его безумие и гибель – уже до начала действия заложена в его душе потенциально, но для того, чтобы она разразилась, нужен толчок извне, хотя бы самый незначительный. В высшей степени любопытно видеть, с каким старанием Пушкин позаботился ослабить этот внешний толчок. Добро бы Германну предстал живой кусок действительности: здесь было бы, по крайней мере, непосредственное впечатление, способное увлечь наперекор рассудку. Но нет, душа Германна вспыхивает от пустой, явно выдуманной сказки, рассказанной легкомысленным офицером пред разъездом.

Облик Томского, обстановка, в которой он рассказывает свой анекдот, и самый характер его рассказа – все это как бы снимает с реальности одну оболочку за другой, чтобы оставить только тень реальности. И этой тени оказалось довольно, чтобы сыграть для Германна роль искры, брошенной в пороховой погреб. Пушкин как бы хочет сказать: мы все ходим ежеминутно готовые для драмы; наша насыщенная страстью душа жадно ищет в мире пищи для своей страсти – так жадно, что даже тень вещи способна соблазнить ее, и тогда она мгновенно вспыхивает вся и сгорает в мучительном счастье, одна медленнее, другая сразу, как этот Германн. Таков закон человеческого духа. Таков, между прочим, – это все знают – закон любви; так Таня уже до встречи с Онегиным была готова для любви: «душа ждала... кого-нибудь».

Та исключительность и случайность, которую Белинский ставит в вину «Пиковой даме» – очевидно, только кажущаяся – здесь есть преувеличение в количестве, но оно служит только для более резкого обнаружения вечной нормы – того непреложного закона, которому подчинена жизнь человеческой души. В этом свойстве ее – от соприкосновения с подходящим элементом действительности загораться пожаром, испепеляющим и ее самое, и все смежное с ней в мире, – залог ее могущества и корень ее безумия. Человек толпы живет мелкими вспышками, медленно тлея; чем сильнее личность, тем больше горючего материала в ней и тем неизбежнее она горит вся от ничтожнейшего толчка извне. Не так ли и душа самого Пушкина под конец была насыщена и готова для драмы, так что пошлейшей интриги оказалось довольно, чтобы взорвать его и испепелить?

С той минуты, как душа Германна соприкоснулась с нужным ей отрывком действительности (в данном случае – даже только с «тенью вещи»), он уже не владеет собою: он одержим, он обезумел, и быстро переходит к действию, к безумному действию, совмещающему в себе два убийства – обман Лизаветы Ивановны и смерть графини.

Смертью старухи завершается первый акт драмы. Она еще не кончена, ее роковая развязка впереди. Сознание, что тайна утеряна навеки, не только не гасит пожара в душе Германна, но, наоборот, разжигает его. Эта внешняя неудача делает только то, что его энергия, направившаяся было на действие, теперь вся сосредоточивается внутри его, еще бесконечно более напряженная. Так Пушкин говорит и о любви Маши Троекуровой к Дубровскому: «Она не была еще влюблена, но при первом случайном препятствии или внезапном гонении судьбы пламя страсти должно было вспыхнуть в ее сердце». Так и Таня, убедившись в равнодушии Онегина, не только не остывает –

Нет, пуще страстью безотрадной
Татьяна бедная горит.

Всюду те же две стадии хотения или страсти: она сначала неопытно рвется наружу, а потом, встретив преграду, уходит внутрь, и именно там, в этой второй стадии, достигает зенита.

Какая глубокая правда в этом! И как верно изображен в «Пиковой даме» весь этот переход от важнейшего обнаружения страсти – через поступок (типичная для всякой страсти первая попытка осуществления) к внутреннему ее разгару, где самый поступок своими многообразными последствиями весь идет на ее усиление. Смерть старухи, боязнь ее загробной мести, присутствие на ее похоронах, ее шурящийся глаз, расстройство нервов от этого видения, излишне выпитое вино – все эти мелкие события с неотразимой последовательностью вытекают из поступка и, как шпоры коня, гонят обреченную душу в пропасть. Этот поднятый поступком вихрь тревожных, полубезумных чувств окончательно отдаст Германна во власть его навязчивой идеи; и тут как нельзя естественнее возникает в нем галлюцинация, в которой наконец разрешается безмерное напряжение его воли. В этой галлюцинации нет и тени фантастики: она реальна или психологична до малейшей черты. Лучшее в ней то, что старуха говорит: «Я пришла к тебе против своей воли: мне велено исполнить твою просьбу». Так – как высшее веление – должен был чувствовать Германн свою страсть; так, более или менее отчетливо, чувствует каждый человек свое непреодолимое хотение. Все остальное, что говорит старуха, внушено Германну его памятью и бессознательным чувством. Она велит ему ставить те три карты одну за другою и после того уже никогда не играть: это те самые условия, которые она, по рассказу Томского, поставила Чаплицкому; и еще она велит ему жениться на Лизавете Ивановне: так расстроенный мозг Германна отразил в себе его страх перед убитой им и, может быть, его смутное чувство вины перед оскорбленной им девушкой. Что в галлюцинации ему померещились эти, а не другие три карты, это, конечно, случайность: не все ли равно, какие?

Но вот что странно: эти случайные карты действительно дают ему выигрыш. Что это: случайность? – Я думаю, нет. Мысль, руководившая Пушкиным, представляется мне в таком виде.

Страсть Германна, подстрекаемая внешними обстоятельствами, вошла внутрь и здесь достигла своего апогея; на высшей своей точке она рождает галлюцинацию, которая и разрешает мучительную полноту чувства тем, что дает Германну иллюзию объективности. Таков вечный закон человеческого духа: всякое хотение порождает иллюзию объективности – объективной истины или объективного блага; притом, чем напряженнее хотение, тем увереннее сама объективация. Уверенность Германна в объективной истине померещившихся ему карт беспредельна, в соответствии с необычайной напряженностью его мечты. Он абсолютно уверен в своих трех картах – так уверен, что сразу ставит на первую карту, очевидно, весь свой капитал – 47 тысяч, – он, живший до сих пор одним жалованьем, не трогавший даже процентов с наследства, никогда не рисковавший играть в карты. И мне кажется, что по мысли Пушкина, сам космос склоняется перед такой непреклонной верой, слепой случай,

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org

как пес, лижет властную руку: вот почему Германн выигрывает. Германн мог выиграть и на третьей карте, мог и не выиграть по собственной оплошности, как действительно случилось; на этой безумной высоте у человека не может не кружиться голова, ему слишком легко оступить; но горе ему, если он оступись: малейший неверный шаг – движение Наполеона на Москву или, как здесь, ошибочно вынутая карта – и он летит в бездну, увлекаемый порождениями собственного возмущенного духа. Что Германну открылась пиковая дама, это была, конечно, чистая случайность, да и вид этой карты, вероятно, не имел никакого сходства с мертвой старухой в гробу; все равно – раз сорвавшись с высоты, человек должен погибнуть, и тогда для гибели ему достаточно любого внутреннего образа, самого ничтожного или обманчивого. Их много, больных и призрачных, в мозгу маньяка.

Слово маньяк здесь, может быть, неуместно. Всякий человек – более или менее маньяк в каждом своем хотении. Пушкин, повторяю, избрал форму настоящей мании только затем, чтобы нагляднее представить универсальный закон, по которому растет и действует человеческое хотение.

Анекдот Томского, равнодушно выслушанный другими, но взорвавший душу Германна, приводит на память другой сюжет Пушкина. Он сам рассказал, что написал «Графа Нулина» с целью пародировать историю Тарквиния и Лукреции. Замысел этой поэмы нетрудно разгадать. Вот происшествие: насилие Тарквиния над Лукрецией; это происшествие явилось причиной громадных исторических событий. Что же: должны ли мы думать, что в самой сущности его были заложены и неизбежность, и самый характер этих всемирных последствий, как в малом зерне – весь будущий колос? Но ведь точно такие же зерна, как это, попадают на всюду; стоит только нагнуться, чтобы подобрать такое зерно. Нет ничего легче, как взять одно из них и исследовать его, так сказать, химически; тогда будет ясно, присуща ли ему в самом деле творческая сила этого определенного порядка. Зерно-событие – попытка постороннего мужчины овладеть замужней женщиной; и вот Пушкин берет такое же зерно и на глазах читателя разлагает его на составные части. Весь анализ он производит сравнительно: вот историческое зерно – Тарквиний – Лукреция, и вот экспериментальное зерно – граф Нулин – Наталья Павловна. До половины анализ обоих совпадает вполне: там и здесь – отлучка мужа, приезд сластолюбца, его беседа с женою, ее рукопожатие, его ночное возбуждение, наконец его преступная попытка. Но тут, в кульминационном пункте, тождество вдруг прерывается: Лукреция поддалась насилию, Наталья Павловна отражает насилие. Вследствие этого крошечного отклонения дальнейший ход происшествия дает в обоих случаях две далеко расходящиеся линии – там трагедию, сперва только личную, в последствиях своих – и мировую, здесь – анекдот, разрешающийся смехом. Итак, не самое происшествие по существу, а только одна микроскопическая часть его послужила причиной исторических событий; и эта частность в нем – вовсе не органическая: она случайна; она была, но могла и не быть; ведь чистая случайность, что Лукреции «не пришло в голову» то, что «пришло в голову» пустенькой Наталии Павловне, – дать пощечину насильнику. Из этой-то микроскопической случайности развился колоссальный ряд потрясений – изгнание царей из Рима, установление республики, и т. д.; она, такая ничтожная, своими последствиями перевернула мир.

Итак, Пушкин экспериментальным путем выделил подлинное творческое ядро события – и оно оказалось еле заметной пылинкой, какими полна человеческая жизнь. Обыкновенная пылинка оказалась заряженной динамитом; попав в ту среду: Рим, цари, Брут, – в среду, очевидно благоприятную для взрыва, она вызвала местный и потом всеобщий взрыв. Не таков ли всеобщий закон человеческой жизни, личный и исторический? Вся она состоит из пылинок – из происшествий, индивидуальных поступков и случайностей, и каждая пылинка по составу своему – динамит: все дело в том, попадет ли она в горячий материал или не попадет. Вот эта колоссальная взрывчатая сущность каждого материального атома и поразила Пушкина в драме Лукреции; отсюда – замысел его поэмы.

4

Первые наброски «Пиковой дамы» находятся в тетради Пушкина, занятой произведениями 1832–33 годов («Гасуб», «Родословная моего героя», «Воевода»). Надо думать, что повесть была и начата, и кончена осенью 1833 года. Появилась она во II книге «Библиотеки для чтения» 1834 года (цензурная помета: 31 января

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org 1834). Вот эти первоначальные наброски [18 – Воспроизвожу по рукописи Румянцевского музея, № 2373. [Эти черновые наброски Пушкина ныне опубликованы (с незначительными разночтениями). – Соч. в десяти томах. Т. VI. 1957. С. 726–727. – Ред.]].

Первый набросок

(Года два) (Лет 5) Года 4 тому назад (жил я (находясь) в П.Б. и вел я жизнь (очень) довольно беспорядочную). (В П.Б.) собралось нас в П.Б. несколько молодых людей (независимых по состоянию) (связанных) (недавно сближенных) между собою обстоятельствами. Мы вели жизнь довольно беспорядочную. Обедали у Андриэ без аппетита, пили без (завлечения) веселости, ездили к С. А. (без нужды) (чтобы позвать и) побесить (ее) бедную старуху свою притворной безразборчивостью; день убивали кое-как, а вечером по очереди собирались друг у друга (и до зари) (и всю ночь проводили за картами).

Второй набросок

Теперь позвольте мне покороче (ближе) познакомить вас с героиней моей повести.

В одной из etc.

(Шарлота Миллер была четвертая дочь (обанкротившегося) обрусевшего немца). Отец ее был некогда купцом второй гильдии (потом учителем в кад. корп.), потом аптекарем, потом директором пансиона, наконец (журналистом) корректором в типографии и умер, оставив (жене) кой-какие долги (и несколько рукописей, касающихся ботаники) и довольно полное собрание бабочек и насекомых. Он был человек добрый (и честный) и имел много основательных сведений, которые ни к чему хорошему (его) не привели. Вдова его, продав рукописи лавочнику, расплатилась с табачной лавочкой и стала (жить) кормиться с Шарлотою (трудами своих рук). Германн жил (с ними) на одном дворе с его вдовой, познакомился с Шарлотой, и скоро они полюбили друг друга, как только немцы могут еще любить в наше время.

Но в сей день, или справедливее etc. И когда милая немочка отдернула белую занавеску (окна своего), Германн не явился у своего васисдаса и не приветствовал ее обычной улыбкою.

Отец его, обрусевший немец, оставил ему после себя (60 тысяч капитала) маленький капитал; Германн оставил их в ломбарде, не касаясь и процентов, а жил одним жалованьем.

Германн был твердо etc.

Оба эти отрывка любопытны. Первый из них показывает, что первоначально Пушкин думал придать своей повести характер личного рассказа. Потом он оставил эту мысль, по понятной причине: было бы слишком трудно от лица рассказчика обрисовать сложную психологию героя, изобразить его безумные переживания и его поступки, например, галлюцинацию, свидание с Лизаветой Ивановной в ее комнате и пр. Любопытно далее, что в этой первой редакции, где рассказчик должен был являться если не действующим лицом, то по крайней мере свидетелем происшествий, Пушкин совершенно точно, и с конкретными подробностями, воспроизвел картину своего собственного недавнего опыта: именно так, в кругу военных, проигрывая ночи напролет и навещая веселый приют Софьи Астафьевны, жил он в Петербурге перед женитьбой. В январе 1832 г. Пушкин писал Судиенку: «Надобно тебе сказать, что я женат около года, и что вследствие сего образ жизни моей совершенно переменился, к неопisanному огорчению Софьи Астафьевны и кавалергардских шаромыжников. От карт и костей отстал я более двух лет; на беду мою я забастовал будучи в проигрыше» [67 – Судиенко Михаил Осипович (1802–1871) – с января 1827 г. поручик лейб-гвардии кирасирского полка, с сентября 1827 г. адъютант А. Х. Бенкендорфа. Сохранилось три письма Пушкина Судиенку, а 27 августа 1833 г. Пушкин посетил Судиенку в Москве (Черейский-2. С. 424–425).]. Решив придать рассказу объективную форму, Пушкин выбросил это вступление, рисуя образ жизни участников: в окончательном виде повесть начинается прямо с действия;

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org
и соответственно с этим исчезли те конкретные, автобиографические черты. Из них уцелела только одна – в первой строке: «Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова».

Еще больше света на процесс Пушкинского творчества бросает второй из приведенных выше набросков. Эта немочка и любовь к ней Германна в повести совсем исчезли: их заменила интрига с воспитанницей графини. Соображения, которыми руководился Пушкин при этой замене, не трудно восстановить.

Как я уже сказал, Пушкин для вящей наглядности эксперимента выбрал характер исключительный, то есть такой, в котором хотение или страсть достигают предельного напряжения, поглощают всю волю без остатка. Поэтому Германн был с самого начала задуман, как контрастная натура. В нем сочетаются твердость воли и самообладание, с одной стороны, – сильные страсти и «огненное» воображение с другой, то есть в обыденной жизни рассудочная трезвость, но в потенции – оргиазм, и именно оргиазм одной какой-нибудь страсти, потому что такая собранная воля неделима: либо она вся владеет собою, и тогда Германн – филистер из самых педантических, либо она вся же срывается в пропасть, устремившись за каким-нибудь призраком. Первую черту – трезвость и самообладание, как общий фон характера Германна – Пушкин мотивирует и рисует чрезвычайно внимательно. Именно для этого он делает Германна немцем – и дважды обращает на это внимание читателя. В первой же сцене Германн говорит о себе: «Игра занимает меня сильно, но я не в состоянии жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее», – и Томский замечает: «Германн немец: он расчетлив – вот и все». Дальше Пушкин еще подробнее выписывает этот фон: «Германн был сын обрусевшего немца, оставившего ему маленький капитал. Будучи твердо убежден в необходимости упрочить свою независимость, Германн не касался и процентов, жил одним жалованьем, не позволял себе малейшей прихоти»; и конечно, это самое убеждение «в необходимости упрочить свою независимость» заставило его стать не просто офицером, а инженером.

Второй набросок показывает, что Пушкин первоначально имел в виду провести эту черту еще дальше. Филистерство Германна должно было вступить на путь осуществления. Он влюбляется в милую немочку, свою соседку, разумеется, находит взаимность, ждет по утрам, когда Шарлотта отдернет белую занавеску у своего окна, и приветствует ее улыбкою. Словом, банальный, чисто немецкий роман, который вскоре увенчается свадьбой. И вот, из самой глубины этого филистерства Германна вырывает вспыхнувшая в нем страсть. Таков, по-видимому, был начальный замысел.

Этот план имел серьезные художественные основания. Пушкину надо было на деле, а не только путем авторской характеристики, показать обыденную трезвость Германна, а роман с немочкой превосходно удовлетворял этой цели. Но это была частичная художественная задача, и в конце концов Пушкин решил пожертвовать ею ради стройности целого. В окончательной редакции филистерство Германна характеризуется тем, что он не играет в карты, живет одним жалованьем и пр.

Решив оставить эти первые наброски и начать заново, Пушкин вынул из-под спуда давнишнюю свою тетрадь, где 15 лет назад им была начата и на первой же странице брошена такая же повесть из быта кутящих и играющих петербургских офицеров («Наденька»).

Этим началом Пушкин теперь воспользовался. Оно было хорошо тем, что без прелюдий, без описаний, сразу вводило *in medias res* [19 – В существо дела (лат.)]. Пушкин только придал ему более строгий вид, выкинув все лишние детали; вспомним, что он писал около этого времени о «манерности в описаниях», о «близорукой мелочности нынешних французских романистов» [20 – В статье «О трех повестях г. Павлова»]. Использовать в зрелых своих произведениях обрывки старого, свои давние наброски и записи, было, как известно, в привычках Пушкина. Так, и в «Пиковой даме» он, кроме наброска 1819 года, употребил в дело старые шуточные стихи: «А в ненастные дни», сообщенные им Вяземскому еще в 1828 году, и еще другую шутку – французский эпиграф к 3-й главе, – записанную им среди строк неоконченной повести «На углу маленькой площади» (1832) [21 – См. Якушкин В.Е. Рукописи А. С. Пушкина в Румянцовск. Музее // Русская Старина. 1884, июль. С. 52. Любопытно отметить, что фамилию «Нарумов» Пушкин в первый раз употребил в черновом наброске начала «Дубровского», написанном, по-видимому, в одно время с черновым началом «Пиковой дамы»: в этом наброске позднейший Троекуров назван Нарумовым (см. Русская Старина, там же, авг. С. 329). Потом, решив переделать начало «Пиковой дамы», Пушкин использовал здесь эту фамилию; самодуру же из

Скажу, не обинуясь, что, на мой взгляд, «Пиковая дама» – одна из замечательнейших русских повестей, достойная быть поставленной рядом, если не выше, с такими перлами, как «Тамань» Лермонтова и «Казачьи» Л. Толстого. Нельзя достаточно надивиться на эту сжатость, стремительность, сосредоточенность рассказа, на эту ясность линий и целомудрие слога, словом на недостижимую экономию средств, употребленных здесь поэтом для воплощения глубокой художественной идеи. Ни одной лишней черты, но всякая черта, как радиус, стремится к центру повествования; ни одного психологического описания, но все действие насыщено психологией; беспредельное напряжение сил, почти математическая художественная расчетливость – и ни малейшей нарочитости, но все течет естественно, как в самой жизни. Я не знаю ничего совершеннее, как завязка повести, нежели начало «Пиковой дамы». Как естественно завязывается здесь, за ужином, разговор о шансах в карточной игре, как незаметно сразу дается характеристика будущего героя и как непринужденно выступает затем узел драмы, рассказ Томского о его бабушке! Я уже говорил о том, с каким искусством Пушкин тут же показывает ничтожный удельный вес этого анекдота, вкладывая его в уста ветреного Томского, и пр. Этот анекдот, содержащий такую малую долю реальности, есть как бы микроскопическая доза чрезвычайно ослабленной вакцины, прививаемая душе Германна. И смотрите, как медленно и неотвратно начинает действовать в нем яд. В первую минуту, выслушав рассказ, он решительно заявляет: «Сказка!» Но анекдот не выходит у него из головы. Он мечтает – и сам себя останавливает: можно ли верить такой басне! Потом, случайно набредши на дом графини, он опять охвачен желанием, он ходит около дома, потом долго не может заснуть, ему снятся карты и груды червонцев, и наутро он опять у того дома, точно «неведомая сила привлекала его к нему». Яд уже вошел в кровь, Германну не спастись.

Не буду говорить о мастерстве в обрисовке остальных действующих лиц – графини, Лизаветы Ивановны, Томского, Чекалинского: оно бросается в глаза. Портрет графини на все века останется классическим изображением старости наряду с гениальнейшими типами мировой литературы – Скупым рыцарем и Плюшкиным, Отелло и пр. Вообще «Пиковая дама» представляется мне во многих отношениях венцом прозаического творчества Пушкина. Ее художественное совершенство так велико, что три четверти века, протекшие со времени ее написания, почти не состарили ее; в ней нет ни одного унца рыхлой плоти, которая от лет могла бы стать дряблой, ничего «литературного», что выдохлось бы с годами. Напротив, поскольку она устарела, ее старомодность обусловлена как раз ее излишней сухостью. Я разумею то отсутствие воздуха и глубины, тот недостаток сочности, который присущ всем повестям Пушкина, не исключая даже – хотя в меньшей степени – «Капитанской дочке». Повесть Пушкина, в отличие от нашей современной повести, – не картина, а рисунок пером; в ней нет мазков, передающих полутоны, – все сухие четкие линии, рисующие как бы остов события, обстановки или характера. Отчасти эта особенность Пушкинской прозы объясняется, без сомнения, тем, что прежде, чем заняться прозой, Пушкин долго работал стихом и привык к тому способу описания, какого требует – и какой единственно допускает – стихотворная повесть: описания именно линиями, а не широкими мазками. Но была и другая, более общая причина: такова была вообще беллетристическая техника 20-х годов. Искусство воспроизводить полноту жизни, передавать воздух и глубину картины было достигнуто позднее. Нужен был гений Гоголя и вся черная работа «физиологической» беллетристики 40-х и 50-х годов, чтобы дать эту сочность.

Пушкин, по-видимому, сам сознавал этот недостаток и местами старался восполнить его, впрочем, не всегда удачно. В «Пиковой даме» есть два таких места. Рассказ Томского о его бабушке по деталям превосходен, но именно как рассказ Томского он не может быть оправдан. Ветренный Томский, конечно, не стал бы, да и не сумел бы выписывать эти очаровательные, искусно подобранные черты быта версальской эпохи: он должен был рассказать свой анекдот проще, грубее. Дело в том, что Пушкин хотел передать картину быта, и сделал это некстати. Такую же художественной ошибкой надо признать описание графининой спальни, в которую вошел Германн. Современный художник, например Чехов, нарисовал бы здесь только те черты обстановки, которые мог и должен был в эту минуту величайшего напряжения

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org
заметить Германн. Так поступил и сам Пушкин, рисуя приготовления дуэли Онегина с
Ленским:

Вот пистолеты уж блеснули,
Гремит о шомпол молоток,
В граненый ствол уходят пули
И щелкнул в первый раз курок.
Вот порох струйкой сероватой
На полку сыплется. Зубчатый,
Надежно ввинченный кремень
Взведен еще...

Это – не объективная картина, которую мог бы от себя, для читателя, нарисовать художник: здесь воспроизведены лишь те звуки и движения, за которыми напряженно следят Онегин и Ленский, ожидая призыва к дуэли. Современный художник сделал бы больше: он воспроизвел бы эти черты не фотографически, как Пушкин, а с той целью, чтобы подбором замеченных черт уяснить нам душевное состояние героя. В этом отношении образцом могут служить те строки «Войны и мира», где рассказан приезд молодого Ростова с театра войны в отпуск домой. Он бежит «по сеням и знакомым, покривившимся ступеням. Все та же дверная ручка замка, за нечистоту которой сердилась графиня, так же слабо отворялась. В передней горела одна сальная свеча. Старик Михайло спал на ларе. Прокофий, выездной лакей, тот, который был так силен, что за задок поднимал карету, сидел и вязал из покровок лапти» [68 – Гершензон цитирует начало второго тома «Войны и мира» (Толстой Л.Н. Война и мир. Т. 2. М.: Художественная литература, 1968. С. 8)]. Самые элементарные зрительные впечатления, схваченные на лету (Ростов бежит) – и вихрем возникающие обрывки воспоминаний: все та же слабая ручка, грязная – за это мама не раз сердилась... Прокофий – а, это тот, силач!..

С этой точки зрения подробное объективное описание графининой спальни, как ни хорошо оно само по себе, – серьезный художественный промах; всего, что здесь перечислено, Германн, конечно, не мог тогда видеть и сопоставлять в своем уме.

Моцарт и Сальери [69 – Впервые в издании: Пушкин А. С. Моцарт и Сальери. Рисунки М. Врубеля. Изд. Общины Св. Евгении. Пг., 1917. С. 3–9.]

У Пушкина немало произведений объективных, как «Борис Годунов» или «Капитанская дочка»; но лучшие его вещи глубоко автобиографичны, то есть зачаты им в страстных думах о его собственной судьбе, когда его личное недоумение, созрев, открывалось ему как загадка универсальная, когда он постигал вселенский смысл своего личного и частного дела. Таковы «Цыганы», «Медный всадник» и многое другое; и такова же эта маленькая гениальная драма о Моцарте и Сальери.

Пушкин сам был Моцартом, – в искусстве, – и он знал это; но во всем другом он был Сальери, – и это он тоже знал, это он мучительно чувствовал каждый день, потому что его жизнь была очень трудна. Конечно, дар песен – неоценимое богатство; он сам сказал о себе:

Иная, высшая награда
Была мне небом суждена:
Самолюбивых дум отрада,
Мечтанья неземного сна [70 – Вариант пятой строфы незавершенного стихотворения Пушкина «В. Ф. Раевскому», 1822. В академическом издании Пушкина этот отрывок выглядит следующим образом: Иная, высшая награда была мне роком суждена – Самолюбивых дум отрада! Мечтанья суетного сна! (II. 106).].

– Но почему же не были ему «суждены небом» и прочие дары? Другим – удача во всем и легкая жизнь, богатство, красота, успех у женщин: тоже сладкие дары и тоже данные даром. Что за произвол в раздаче и какая возмутительная, какая оскорбительная несправедливость! Но ведь он сам, Пушкин, – носитель такого же дарового дара? Да, – и тем хуже. Может быть, Пушкин вспоминал Катенина (в Сальери решительно есть черты Катенина) [71 – Павел Александрович Катенин (1792–1853) – поэт, критик, офицер. Пушкин познакомился с Катениным летом 1817 г., встречался с ним в 1818–1820 гг. Он ценил Катенина как эрудированного

критика и своеобразного поэта, автора смелых экспериментов, введившего в поэзию «язык и предметы простонародные». Вместе с тем Пушкин понимал ограниченность и догматичность литературных взглядов Катенина и потому для их отношений был характерен определенный внутренний антагонизм. Об этом (уже после смерти Катенина), свидетельствует в частности, П. В. Анненков. В письме к А. И. Тургеневу 1853 г. он рассказывает о реакции Катенина на «маленькую трагедию» Пушкина «Моцарт и Сальери»: «Катенин прислал мне записку о Пушкине – и потребовал мнения. В этой записке между прочим, «Борис Годунов» осуждался потому, что не годился для сцены, а «Моцарт и Сальери» – потому, что на Сальери возведено даром преступление, в котором он невиновен. На послание я отвечал, что никто не думает о настоящем Сальери, а что это – только тип даровитой зависти. Катенин возразил: стыдитесь; ведь вы, полагаю, честный человек и клевету одобрять не можете. Я на это: искусство имеет другую мораль, чем общество. А он мне: мораль одна и писатель должен еще беречь чужое имя, чем гостиняя, деревня или город. Да вот десятое письмо по этому эпическо-эстетическому вопросу и обмениваем» (Цит. по статье А. Г. Горнфельда «Моцарт и Сальери» в венгерском издании Пушкина. – Т. III. С. 121).]; Пушкин и свой дар рассматривал как частный случай общей несправедливости.

Так, мне кажется, родилась в нем идея «Моцарта и Сальери». Случайному или произвольному определению «неба» человеческое сознание противопоставляет свой закон, – закон справедливости, или, что то же, разумной причинности. «Моцарт и Сальери» есть трагедия причинно мыслящего разума, осужденного жить в мире, где главные события совершаются беспричинно; и Пушкин, сам обязанный своим лучшим достоянием беспричинному выбору, выступает здесь истолкователем и адвокатом протестующего сознания. В мире царит Судьба; разум, восстав против нее, конечно, будет раздавлен, потому что Судьба всемогуща, но разум не может не восставать, в силу самой своей природы. Кто застигнут несправедливостью Судьбы, тот либо разобьет себе голову о стену, либо, как обыкновенно и делают люди, обманет себя размышлением, что здесь – однократная случайность, что в общем жизнь все-таки совершается причинно, и что поэтому, как только случайность исчезнет, все опять пойдет закономерно. Именно так рассуждает у Пушкина Сальери. Он слишком уверен в нормальности разумного порядка; всякий другой порядок бытия кажется ему настолько нелепым и невероятным, что он просто не хочет допустить такой возможности; оттого он убивает не себя, а Моцарта, чтобы с устранением этой чудовищной аномалии восстановился правильный ход вещей.

Это, действительно, мировая трагедия. Трудно, невыносимо человеку примириться с роком. В нашей жизни явно действует не один, а два закона: наши целесообразные усилия основаны на законе причинности, но наперекор им и ей в мире царит судьба, в миг разрушающая и созидаящая, произвольно дарящая и отнимающая. Какому же закону довериться? Сложить руки и ждать всего от судьбы, или, наоборот, утвердиться в причинности разума и строить безоглядно, стараясь забыть о страшных возможностях?

Толпа живет под обоими законами, не сознавая этой двойственности, поминутно отдаваясь то одной, то другой волне; но в коллективном сознании человечества вопрос издревле ставился с полной отчетливостью и всегда был решающим. Например, в религии он гласил так: спасается ли человек своими заслугами, или благодатью помимо заслуг?

Пушкин, разумеется, не притязал на решение вопроса; здесь, как и в других подобных случаях, он только показывает, только вскрывает противоречие в его всеобщности и глубине. В пьесе одно действующее лицо – Сальери, потому что Моцарт не действует – он только есть. Сальери действует в пьесе (убивает Моцарта), потому что действие, целесообразная активность, есть вообще его стихия, тогда как Моцарт – как бы пассивное орудие небесных сил. Это одна из заветных мыслей Пушкина, обычный у него контраст: действовать – земное, от ущерба или греха; небесное же (красота, совершенство, избыток) – пассивно, неподвижно, не стремится и потому не действует. Сальери всю жизнь действовал, он и в драме действует; у Моцарта нет биографии, и мы ее не узнаем в драме, а биографию Сальери узнаем, чтобы видеть последовательность его усилий. Сальери сам не сознает, что явление Моцарта для него – не только вопрос об искусстве или о славе: здесь для него поставлен на карту самый смысл существования, ибо если признать явление Моцарта законным, то все прошлое деятеля – Сальери оказывается глупостью, а будущего у него вовсе нет. Сальери с ранних лет поставил свою жизнь на почву человеческого, последовательного созидания; для него история – прогресс, и в частности музыка развивается прогрессивно, в силу целесообразной

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org
человеческой деятельности. Такому же честному труженику, как он, Сальери не позавидует; напротив, наличие таких же радует его, потому что самым фактом своего делового усердия они укрепляют в нем его жизненную основу, его уверенность в творческой силе сознательных действий.

Я счастлив был: я наслаждался мирно
Своим трудом, успехом, славой; также
Трудами и успехами друзей,
Товарищей моих в искусстве дивном.

Это – нормальный прогресс искусства и заслуженный, понятный успех его деятелей. И вдруг является Моцарт, как молния с неба. Не то страшит Сальери, что Моцарт превзойдет его славою, но Моцарт – явно гений, больше, чем он, и гений, не заработавший своей гениальности. Что же это? Значит в мире есть еще и второй закон, кроме закона понятного и освящаемого разумом, и Моцарт – гений по второму закону? Сальери не может допустить мысли, что такой закон существует; существует только один закон – приобретения по заслугам, иначе мир – хаос и ужас, и жить нельзя. Важно заметить, что, по Пушкину, Сальери непоколебимо уверен в своей гениальности. Он – гений, и этим он обязан самому себе. В этой мысли Сальери – великая гордыня, крайнее самоутверждение человека. Сальери убивает Моцарта, чтобы устранить двойственность из мира и восстановить единовластие того разумного закона, которому он доверился сызмала и которому обязан всем; он убивает в сущности не Моцарта, а Бога («небо») и спасает не себя, а человечество в его целесообразном труде.

я избран, чтоб его
Остановить – не то, мы все погибли,
Мы все, жрецы, служители музыки,
Не я один с моей глухою славой...

Эти слова в устах Сальери – не софизм, это – его настоящая мысль. Непонятно, чудовищно на минуту нарушен закон: ему, Сальери, выпал тяжкий жребий устранить нарушение, чтобы опять водворился правильный строй, где высшие блага даются справедливо, по заслугам. Он ставит вопрос широко: прочен только прогресс, достигаемый планомерностью человеческих усилий, небесные же озарения минутны, как молния.

Что пользы, если Моцарт будет жив
И новой высоты еще достигнет?
Подымет ли он тем искусство? Нет;
Оно падет опять, как он исчезнет:
Наследника нам не оставит он.
Что пользы в нем? Как некий херувим,
Он несколько занес нам песен райских,
Чтоб, возмутив бескрылое желанье
В нас, чадах праха, после улететь!

Мысль не новая, никогда не умирающая! Нам невозможно доверяться капризам неба; человек должен взять свое дело в свои собственные руки и строить хотя медленно, но верно.

Он должен совершить убийство, и убить ему сравнительно легко, потому что он Моцарта не чувствует, как личность. На такого, как он сам, «жреца, служителя музыки», у него, верно, не поднялась бы рука, потому что человек для него – только геометрическая точка целесообразных усилий; где он видит накопление таких усилий, там для него – человек, где таких усилий нет, – там марево, тень человека. Таков в его глазах Моцарт: призрак, залетный херувим, но только не живая личность. Пушкин тонко отметил это – умолчанием, полным отсутствием в Сальери личной жалости к Моцарту. В длинном монологе Сальери, когда он решает отравить Моцарта, нет ни одного слова сожаления о друге и человеке, о цветущей жизни, которую он готовится разрушить. В конце пьесы, слушая Реквием, Сальери плачет не о Моцарте, а о последней «райской песне», которая сейчас должна смолкнуть; и по уходе уже отравленного Моцарта – ни слова сожаления о нем, но жестко-равнодушное в догонку:

Ты заснешь
Надолго, Моцарт!

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org

Этим убийством Сальери думает только поправить случайную ошибку Бога, потому что в целом, по его мысли, Бог стоит, конечно, за правильный порядок, то есть за последовательное нарастание причин и следствий, усилий и достижений. Иначе Сальери не способен мыслить: для него Бог – санкция человеческого разума, и Провидение тождественно с закономерностью. Другими словами, он самого себя, свой разум признает Богом, то есть Бога собственно отрицает; поэтому я и говорю, что убивая Моцарта, он тем самым убивает в себе Бога.

Эта драма есть драма об одном Сальери, Моцарт же – только искра, от которой загорается пламя, освещающее для нас душу Сальери. Таков излюбленный прием Пушкина: взять душу готовую, вполне насыщенную, поднести к ней извне соответствующую частицу бытия, – и сразу накопленный в ней жар вспыхивает пожаром, и мы с изумлением видим (о чем раньше никто бы и не догадался), какая страсть назрела в этой душе и как эта страсть была сильна. Таков и Германн в «Пиковой даме». В «Моцарте и Сальери» Моцарт играет только служебную роль, и таким Пушкин изобразил его. Моцарт должен быть полярно противоположен Сальери в том, что составляет сущность Сальери. Если Сальери олицетворяет собою человеческое самоутверждение, то Моцарт должен быть весь олицетворением небесных сил. Таким он и представлен в драме. Пушкин по себе знал, как много серьезного в душе гения, как много скорбного в его жизни, как много труда в его творчестве. Но все это в Моцарте скрыто от нас; он повернут к Сальери и к нам своей небесной стороной: беспечный в жизни, бессознательно или шутя создающий гениальное в искусстве. Он творит не потому, что трудится творить, как Сальери, а единственно потому, что он «с волей небесною дружен». Его небесную природу Пушкин разоблачает еще иначе: Моцарт бессознательно знает и близкую свою смерть, и в Сальери – своего убийцу, о чем он сознательно, конечно, не смеет и мыслить. Его душа открыта и ведению неба, как звукам небесным. Он, можно сказать, максимально небесен из всех людей, каких мог бы встретить Сальери, и потому его явление – наиболее резкий вызов существу Сальери, какой только возможен. Только при встрече с таким явлением душа Сальери должна дать полную реакцию, в которой она и раскрывается до дна.

Пушкин внес много тонких черт в противопоставление Моцарта и Сальери. Их коренное различие в том, что Сальери чувствует себя «служителем искусства», а Моцарт чувствует себя «сыном гармонии». Для Сальери искусство – суровый и властный господин, награждающий за труд и по заслугам; искусство – вне его; он в поте лица трудится для искусства, как вернейший раб, и ждет, что за усердие господин наградит его:

Быть может, посетит меня восторг
И творческая ночь и вдохновенье.

Другого отношения к искусству он не понимает; оттого он каждого из своих товарищей оценивает в меру его усердия и полезности для общего дела, оттого и о Моцарте он ставит кардинальный вопрос: «Что пользы в нем?», то есть для искусства. Моцарт не извне служит музыке, но она органически в нем, или он – в ней; он вовсе не служит ей и не ждет от нее даров, она как бы изнутри и помимо воли внушается ему:

Намедни ночью
Бессонница моя меня томила,
И в голову пришли мне две, три мысли.
Сегодня я их набросал.

Сальери живет для искусства, а для Моцарта творчество – одно из естественных проявлений его жизни, притом – из приятнейших; Сальери говорит о нем: «Гуляка праздный», а он сам называет себя: «Счастливец праздный», да и не себя одного, а всякого музыканта, потому что иначе он не может представить себе жизнь в музыке, как только радостным цветением души в созвучиях.

Кто из них прав? Правы оба, хотя по-разному. Человек, как обитаемая им земля, не только вращается вокруг своей собственной оси (Сальери), но и несется в пространстве по далекой орбите. Наша планета гармонично сочетала в себе оба движения – почему же в человеческой душе не координировались разум и судьба? И вот, есть два судилища: пред судом разума прав Сальери, но явление Моцарта – живая красота – вовсе не подлежит этому суду. В легенде о Фрине[72 – Фрина – греческая гетера, послужившая моделью Праксителю для его Афродиты Книдской, а Апеллесу – для Афродиты Анадиомены. Легенда о красоте, ставшая оправдательным

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org
аргументом в судебном разбирательстве, берет начало в истории о том, как Фрина предстала перед своими судьями в облике жрицы храма Афродиты, воплощением самой богини. История эта известна по составленному Афением (III–II вв. до Р.Х.) сборнику фрагментов из греческих писателей «Пирующие софисты» (Athen. Dipsosoph. 590 d. Указано И.В. Шталь), переведенному на европейские языки, известному в русской культурной среде и, в частности, послужившему Пушкину источником ряда стихотворений в античном духе (См. комментарий В. С. Непомнящего в издании «Моцарт и Сальери», трагедия Пушкина. Движение во времени. Антология трактовок и концепций от Белинского до наших дней. М.: Наследие, 1997. С. 919).], обнажившейся пред судьями, есть вечная правда.

Целый ряд положительных заявлений Пушкина свидетельствует о том, что в драме он видел не очную ставку характеров, а их действительное раскрытие. Все свои драматические опыты Пушкин строил по одному – по Шекспировскому плану: господствующая страсть характера доводится на глазах зрителей до предельного напряжения, и тогда вспыхивает пожаром, испепеляя и своего носителя, и часто все, что в ту минуту близко к нему. Нарастание страсти и, как результат его, разрушительное действие вовне – таково по Пушкину содержание драмы. И этот же план проведен в «Моцарте и Сальери».

Но как раз «Моцарт и Сальери» наглядно показывает, что фокусом драмы являлась для Пушкина не сама страсть героя, как индивидуальное и конкретное нечто: мысль Пушкина была устремлена в глубину этой страсти, в ее универсальный, символический смысл.

Его Сальери – действительно герой, потому что действует не за себя только, но отстаивает дело всего человечества. В этой тяжбе человека с Богом открываются неисследованные глубины. На что собственно притязает Сальери? Ведь и все, что в нем есть, – «небесного» происхождения; самая жизнь его – дар неба, и музыка – дар неба; говоря: «Родился я с любовью к искусству», он говорит о небесном даре, и воля его к планомерной деятельности в искусстве питается из тех же тайных родников. Он живет в небесной стихии, ею дышит, ею и в ней созидает; у него нет ничего своего. Небесен и разум, которым он организует стихию. Но здесь он и ставит предел: «Разум – не только твой, но и мой. Пусть все элементы, из которых я строю, – твои, план и деятельность принадлежат мне, и ты не должен вмешиваться в мою творческую работу». Ему предносится ослепительное видение – как человек из бедного материала, дарованного ему небом, сам, своим собственным «усильным, напряженным постоянством», создаст свое могущество и красоту. Мы – чада праха, наши желания пока бескрылы, но мы вырастим себе крылья, только бы небо не мешало нам своими капризами. Так в Сальери воплощается человеческий идеализм, идеализм культуры. Богу отводится роль поставщика материалов и орудий, – строителем хочет быть сам человек.

Это гордое самоутверждение человека, этот бунт против неба Пушкин довел в Сальери до крайней черты, когда мятежное настроение, созрев, раздражается действием, активным противодействием верховной силе – убиением ее посла. И Сальери, совершив поступок, содрогается; мы чувствуем, что он убил и самого себя. Иррациональное в нем самом, небесный состав его целостного духа возмущен узурпацией рассудка, и личность погибнет, не вынеся этого разлада[73 – Вывод Гершензона во многом перекликается с заключительными строками из статьи А. Г. Горнфельда: «Все свершилось: Сальери знает, что внезапных даров уже не принесет ему жестокая жизнь и не придет к нему безумная радость творческой ночи. Явился «новый Гайден» и сотворил великое – и слился воедино с тем злейшим врагом. «Заветный дар любви» перешел в чашу дружбы. И у Сальери есть все для того, чтобы закончить свою жизнь, кроме дара Изоры. Он найдет другой путь в вечность» (Библиотека великих писателей. Пушкин. Т. III. С. 126).].

В общем культура, разумеется, не так активна, не столь ясно сознает свой принцип. Богоборчество культуры против стихии скрыто, оно редко выступает наружу. Так и Сальери прожил долгие годы в упорном самоутверждении, но невинно с виду, до появления Моцарта, – и, не явись Моцарт, Сальери дожил бы свою жизнь, ни разу явно не восстав против неба, хотя и ослушный ему во всем.

Нелепо говорить о его неправоте: он только близорук и непрактичен, он сам обрек себя на гибель. Но как же быть? Не создавать культуры самочинно и последовательно, а ждать посланцев свыше, ждать небесных даров? – Если бы мы даже решились так, нам невозможно прозябать в бездействии; не в нашей власти заглушить наш разум – он нудит нас творить. Культура неизбежна, культура

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org
законна; Пушкин никогда не отвергал ее по существу. Но он знал, что верховная власть принадлежит иррациональному началу, о чем на казнь себе и людям забыл Сальери.

Станционный смотритель

Иное произведение Пушкина похоже на те загадочные картинки для детей, когда нарисован лес, а под ним напечатано: «Где тигр?» Очертания ветвей образуют фигуру тигра; однажды разглядев ее, потом видишь ее уже сразу и дивишься, как другие не видят. Дети любят такие картинки; признаюсь, и мне было весело увидеть зверя в простодушном рассказе Белкина. Но картинка разгаданная теряет всякий интерес, а «Станционный смотритель» разгадкой впервые оживает и раскрывается. Он очарователен тонкостью лукавства: он весь – сарказм, но насмешка разлита в нем так, что и не заметишь. Нынешние символисты могли бы поучиться здесь легкости и естественности работы. Идея нисколько не спрятана, – напротив, она вся налицо, так что всякий может ее видеть; и однако все видят только лес.

«Кто не проклинал станционных смотрителей, кто с ними не бранился?» Так начинается рассказ, и дальше на протяжении целой печатной страницы идет рассуждение о станционных смотрителях вообще. Ничего не может быть забавнее этой страницы. С каким добросовестным вниманием добрый Белкин приступает к своему предмету, как задушевно он говорит о станционных смотрителях, с каким благородным жаром ратует против несправедливого мнения о них! Эта страница с первой же минуты усыпляет читателя и, усыпленного, естественнейшим образом вводит его в рассказ. Теперь можно без опасений рисовать обманные деревья, располагая какие угодно фигуры между ветвей: читатель будет видеть только стволы и ветви. Белкин и переходит простодушно к повествованию.

Едва только он начал, только успел рассказать, как приехал на станцию, потребовал чаю и увидел 14-летнюю хорошенькую дочь смотрителя, – он мельком сообщает незначительную подробность, и ничего не может быть естественнее способа, каким он сообщает ее. «Тут он принялся прописывать мою подорожную, а я занялся рассмотрением картинок, украшавших его смиренную, но опрятную обитель. Они изображали историю блудного сына: в первой – почтенный старик в колпаке и шлафроке отпускает беспокойного юношу, который поспешно принимает его благословение и мешок с деньгами. В другой яркими чертами изображено развратное поведение молодого человека; он сидит за столом, окруженный ложными друзьями и бесстыдными женщинами. Далее, промотавшийся юноша, в рубище и треугольной шляпе, пасет свиней и разделяет с ними трапезу; в его лице изображены глубокая печаль и раскаяние. Наконец, представлено возвращение его к отцу: добрый старик в том же колпаке и шлафроке выбегает к нему навстречу; блудный сын стоит на коленях; в перспективе повар убивает упитанного тельца, и старший брат вопрошает слуг о причине таковой радости. Под каждой картинкой прочел я приличные немецкие стихи. Все это доньше сохранилось в моей памяти, так же как и горшки с бальзамино» и т. д. [22 – Стенные картины о блудном сыне были в 20–40-х годах, по-видимому, частой принадлежностью станционной обстановки; может быть, какой-нибудь немецкий коммивояжер развозил по русским почтовым станциям это произведение немецкой художественной промышленности. Гр. В. А. Сологуб в «Тарантасе» описывает комнату на почтовой станции: «Между окон красуются изображения Малек-Аделя на разъяренном коне, возвращение блудного сына, портрет графа Платова» и т. д.]

Какие картинки висели на стене – это, конечно, мелкая художественная подробность, назначение которой – дополнить обрисовку дома и его хозяина; на ней не стоит останавливаться; в дальнейшем повествовании она, разумеется, не играет никакой роли. – Но я советовал бы всем изучающим Пушкина принять к руководству двойное правило: слепо, даже суеверно верить всем его сообщениям – и никогда не верить его указаниям о цели его сообщений. В рассказе о фактах Пушкин, можно сказать, принудительно правдив до щепетильности; выдумывать он не мог, даже если бы хотел, потому что тогда его перо писало бы плохо – плохие стихи или плохую прозу. Но ровно так же он был неспособен раскрывать до конца или ясно высказывать свои замыслы, свои постижения и предчувствия – «мечтанья неземного сна», потому что они и не могут быть выражены ясно; и если бы он пытался делать это, его стихи и проза были бы плоски. Он сплошь и рядом утаивает или даже умышленно прячет концы в воду. Описание тех картинок – вовсе не мелочь:

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org
нарисованная в них история блудного сына и есть искомый тигр «Станционного
смотрителя».

Что эти картинки были для него важны по ходу его мысли, тому есть доказательство. Среди его бумаг сохранилось черновое начало какой-то повести, оставленное им на четвертой странице. Повесть эта, судя по хронологическому указанию, имеющемуся в ней («4 мая 1825 г. произведен я в офицеры»), едва ли могла быть приписана Белкину. Из этого-то наброска Пушкин дословно перенес в «Станционного смотрителя» описание картинок о блудном сыне. И там их разглядывает в станционном доме проезжий офицер; но там он – только рядовая и вовсе не самая характерная подробность среди многих столь же обстоятельно описываемых подробностей станционной обстановки и скуки, тогда как в нашем рассказе нет речи о долгом ожидании и из всей обстановки показана только одна эта деталь. Тем отчетливее она обрамлена и поставлена на виду; но сделано это так искусно, как бы ничего и не было; на стене висели картинки, только всего.

Содержанием этих картин Пушкин формулирует – в нарочито сочном, немецки-филистерском виде – одно из положений ходячей мысли; и этому благочестивому обману он в своем рассказе противопоставляет живую правду.

Начинается правда точь в точь как легенда. Там почтенный старик в колпаке и шлафроке, и беспокойный юноша, его сын: здесь – смиренная, но опрятная обитель, занавески на кровати, горшки с бальзаминои; станционный смотритель, человек лет пятидесяти, свежий и бодрый, в длинном зеленом сюртуке с тремя медалями на полинялых лентах, – и его дочь, хорошенькая Дуня, кокетка, легко дарящая в сенях поцелуй проезжему офицеру. Дальнейшие картины правды, – а Пушкин показывает их столько же, сколько было на стене: счетом четыре, – нисколько не похожи на легенду. В притче герой – блудный сын, у Пушкина – отец, смотритель; и картины повествуют о нем. Картина вторая: в доме смотрителя на окнах уже нет цветов и все кругом показывает ветхость и небрежение, сам он за три года превратился из бодрого мужчины в хилого старика: седой, сгорбленный, глубокие морщины на давно небритом лице, угрюм и неприветлив, пристрастился к вину, а блудная дочь, по его собственному рассказу, цветет любовью, счастьем, богатством. Картина третья: смотритель окончательно спился, идет из кабака, а мальчишки за ним: «Дедушка, дедушка, орешков!» Наконец, последняя сцена правды, полный контраст с последней картиной притчи: прекрасная барыня – карета в шесть лошадей – трое маленьких барчат, кормилица, даже черная моська; барыня, выйдя из кареты, идет на жалкое кладбище, ничем не огражденное, без единого деревца, где среди других убогих могил – могила ее отца, груда песку, в которую врыт черный крест с медным образом; барыня долго лежит на могиле и плачет, потом идет в село, зовет священника и дает ему денег на панихиду.

А погиб смотритель не от существенной напасти; важно то, что погиб он из-за тех немецких картинок. Так, как в этих картинках рассказана история блудного сына, – так верит смотритель, и потому, что он верит именно так, ему уже все вещи видятся в неверном свете. Дуня, бежав с Минским, вышла на путь своего счастья; Минский действительно любит ее, и она – его, они венчаются, она счастлива, богата, все пошло как нельзя лучше; если бы ложная идея не застилала глаза смотрителю, он постарался бы с самого начала узнать о намерениях Минского, и тотчас успокоился бы, и все было бы по-хорошему; он был бы счастлив счастьем Дуни. Но он не хочет, не может видеть вещи такими, каковы они есть. Кажется, как было не поверить, когда Минский, разысканный им в Петербурге, искренно сказал ему: «Не думай, чтоб я Дуню мог покинуть: она будет счастлива, даю тебе честное слово»? как было не поверить, когда ворвавшись в квартиру Минского, он увидал: «В комнате, прекрасно убранной, Минский сидел в задумчивости. Дуня, одетая со всею роскошью моды, сидела на ручке его кресел, как наездница на своем английском седле. Она с нежностью смотрела на Минского, наматывая черные его кудри на свои сверкающие пальцы»? Но смотритель непоколебимо убежден, что в немецких картинках изображена универсальная истина, что офицер, сманивший Дуню, несомненно, поиграет ею и бросит, – и потому он не видит вещей, впадает в отчаяние и спивается. Почему ходячая мораль пустила в нем такие глубокие корни? Но такова его душевная почва, что она более всего восприимчива к банальным истинам; возможно, что вступительным рассуждением о станционных смотрителях Пушкин хотел кстати показать неизбежность такого умонастроения. «Что такое станционный смотритель? Суший мученик четырнадцатого класса, огражденный своим чином токмо от побоев, и то не всегда... смотрители вообще суть люди мирные, от природы услужливые, склонные к общечитию», и т. д. Станционного смотрителя сгубила ходячая мораль, сама призрак, ничто, она совершенно реально высасывает

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org
кровь из людей; ее тирания – вот мысль, выраженная Пушкиным в «Станционном смотрителе». Этот рассказ – не формальная пародия, как «Граф Нулин»: здесь самый оригинал (опошленная людьми евангельская притча) является в психике действующего лица той силой, которая искажает действительность.

Метель

31 августа 1830 года Пушкин выехал из Москвы в Болдино. На душе у него было тяжело, смутно, тревожно, как, может быть, еще никогда. Пред самым отъездом из Москвы будущая теща сделала ему сцену, наговорила ему грубых оскорблений – и он счел долгом вернуть Наталье Николаевне ее слово. Да и все три недели, проведенные им в Москве, были, несмотря на его влюбленность, настоящей пыткой для него. Будущая теща мало привлекательная дама^[74] – Наталия Ивановна Гончарова (1785–1848) – мать Н. Н. Пушкиной. Пушкин познакомился с будущей тещей в начале 1829 г., когда через Ф. И. Толстого был введен в московский дом Гончаровых. Дальнейшее общение Пушкина с Н. И. Гончаровой связано со сватовством, помолвкой и женитьбой на ее дочери и с первым месяцем жизни молодоженов в Москве. Отношения Пушкина с Н. И. Гончаровой были натянутыми, из-за вмешательства тещи в семейную жизнь Пушкина молодые были вынуждены в середине мая 1831 г. уехать из Москвы и Пушкин разорвал с ней отношения (Черейский–2. С. 114).]; ее снисхождение к нему – и плохо скрываемое чувство, что к нему снисходят; ее настояния и укоры относительно его денежных обстоятельств, и беспрестанные разговоры о деньгах, о приданом; чванный, разорившийся дедушка – Гончаров^[75] – Афанасий Николаевич Гончаров (1760–1832) – дед Н. Н. Пушкиной, внук основателя полотняных заводов в Медынском уезде Калужской губернии. К 1830-м годам растратил свое огромное состояние и оставил наследникам около 1,5 млн. руб. долгу. Знакомство с Пушкиным относится к маю 1830 г., когда он посетил имение Гончаровых. Их общение и переписка касались исключительно хозяйственных дел. 7 июня 1832 г., будучи в Петербурге, Гончаров крестил первую дочь Пушкиных – Марию (Черейский–2. С. 112).], к которому пришлось ездить на поклон в Калужскую губернию, и которому приходилось писать письма вроде следующего: «Судьба моя зависит от Вас; осмеливаюсь вновь умолять Вас о разрешении ее. Вся жизнь моя будет посвящена благодарности»^[76] – письмо Пушкина А. Н. Гончарову от 14 августа 1830 г. (Х. С. 238).] – все в надежде на приданое для Натальи Николаевны, по настоянию будущей тещи; густой сонм гончаровских тетушек и бабушек, судачащих о его любви «на своем холопском языке», радостно подхватывающих московские сплетни о нем; письма к Бенкендорфу, по требованию «дедушки», о казенной ссуде ему без всякого основания, о какой-то медной статуе, продажа которой будто бы должна дать сорок тысяч на приданое; и действительное безденежье, и страх пред будущим, еще более тяжким безденежьем с молодой избалованной женой, – страх вообще пред семейной жизнью.. «Милый мой, – писал Пушкин Плетневу в самый день отъезда из Москвы, – расскажу тебе всё, что у меня на душе: грустно, тоска, тоска. Жизнь жениха тридцатилетнего хуже 30-ти лет жизни игрока. Дела будущей тещи моей расстроены. Свадьба моя отлагается день ото дня далее. Между тем я хладею, думаю о заботах женатого человека, о прелести холостой жизни. К тому же московские сплетни доходят до ушей невесты и ее матери – отседе размолвки, колкие обиняки, ненадежные примирения – словом если я и не несчастлив, по крайней мере не счастлив. Осень подходит. Это любимое мое время – здоровье мое обыкновенно крепнет – пора моих литературных трудов настает – а я должен хлопотать о приданом да о свадьбе, которую сыграем бог весть когда. Всё это не очень утешно. Еду в деревню, Бог весть, буду ли там иметь время заниматься и душевное спокойствие, без которого ничего не произведешь, кроме эпиграмм на Каченовского. – Так-то, душа моя. От добра добра не ищут. Чёрт меня догадал бредить о счастии, как будто я для него создан. Должно было мне довольствоваться независимостью, которой обязан я был Богу и тебе. – Грустно, душа моя, обнимаю тебя и целую наших»^[77] – Пушкин уезжал из Москвы 31 августа 1830 г. (Там же).]. В другом письме к тому же Плетневу, месяц спустя, Пушкин яснее излагал причины уныния, владевшего им в день отъезда: «Вот в чем было дело: теща моя отлагала свадьбу за приданым, а уж, конечно, не я. Я бесился. Теща начинала меня дурно принимать и заводить со мною глупые ссоры; и это бесило меня. Хандра схватила [меня] и черные мысли мной овладели»^[78] – Письмо от 29 сентября 1830 г. (Х. С. 240, 241).].

Он ехал с тяжелым сердцем – вступить во владение Болдином, которое ввиду

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org
предстоящей женитьбы выделил ему отец, и писать, так как наступала осень и верно просто для того, чтобы еще раз вырваться на свободу, пожить с самим собою.

Первые его впечатления в Болдине были двойственны. Во-первых, он узнал, что 200 душ, которые отдавал ему отец, составляют вовсе не отдельное имение, а часть деревни из 500 душ, и что, следовательно, ему придется затеять долгую и скучную волокиту раздела. Кроме того, обнаружилось, что в Псковской губернии холера и открывают карантин, что должно было очень затруднить ему возвращение в Москву. Зато деревенское уединение, и тишина, и свобода подействовали на него благотворно; он писал об этом Плетневу и радовался просыпающемуся вдохновению.

Сколько нам известно, он впервые взялся за перо 7 сентября: отыскал или нашел невзначай старый листок, еще 1824 года, из Михайловского, – на котором был перебелен «Аквилон» – и выправил его, а внизу подписал: «Болд. 7 сент.» Это стихотворение, возникшее когда-то из других чувств и мыслей, теперь опять отвечало его настроению.

Зачем ты, грозный аквилон,
Тростник болотный долу клонишь?
Зачем на дальний небосклон
Ты облако столь гневно гонишь?

Аквилон – судьба, он сам – тростник; и воззвание, дышащее надеждой:

Пускай же солнца ясный лик
Отныне радостно блистает,
И облаком зефир играет,
И тихо зыблется тростник.

На другой стороне того же листка оказался перебеленный текст «Делибаша», – он и его исправил уже заодно, и подписал «7 сент.» уже без обозначения места. Затем в этот же день он написал «Бесов», подписав под ними полностью: «1830 7 сентября Болдино».

Итак, «Бесы» написаны в начале сентября, когда нет никаких метелей, ни снега, когда вообще в помине не было той реальной обстановки, которая изображена в этом стихотворении. Пушкин никогда не выдумывал фактов, когда излагал их автобиографически; напротив, в этом отношении он был правдив и даже точен до йоты. Он был бы неспособен в солнечный и теплый день ранней осени, лежа на канаве, выводить пером такие строки:

Мчатся тучи, вьются тучи,
Невидимкою луна
Освещает снег летучий,
Мутно небо, ночь мутна...

Уже одно это соображение об элементарной честности поэта должно было насторожить критиков и читателей. Притом, сам Пушкин надписал над заглавием «Бесы» другое заглавие: «Шалость», которое и до сих пор печатается, как подзаголовок пьесы, во всех изданиях его сочинений, даже в самых дешевых. Ясно, что в «Бесах» Пушкин вовсе не хотел изобразить зимнюю поездку, и вьюгу, и настроение путников, как простодушно думают критика и публика, а ставил себе другую цель. Какую?

Его настроение 7 сентября, на третий или четвертый день по приезде в Болдино, было конечно не таково, чтобы ему захотелось баловаться пером, формально-холодно и виртуозно описывать метель и ее действие на человеческую душу. Сердечная дрожь не покидала его во все время пребывания в Болдине; еще и месяц спустя, в разгаре пламенного творчества, он писал: «Попробуй, сладим ли с проклятою хандрой»; тем более в первые 2–3 дня ему было не до «шалости». Слишком густо сдвинулась, обступила его со всех сторон липкая, темная существенность, загоразивала ему жизненный путь, по которому он когда-то шел так легко и беззаботно. Он чувствовал себя точно в плену у этой косной стихии; вся эта семья Гончаровых, дедушка, теща, «тетушки, бабушки, сестрицы», московские сплетни о нем, приданое, мучительная мысль о деньгах, раздел Болдина, холера – хватали его цепкими когтями, дразнили красными языками, манили как блуждающие огни и поминутно снова оставляли во тьме. Судьба и людская толпа, как он уже давно о них мыслил, сплелись вокруг него в бесовской пляске: так представилось ему теперь его положение; этот образ жизни он и нарисовал в «Бесах».

Он издавна привык изображать человеческую жизнь как путь, обыкновенно – по пустынной местности, и свое существование – как скучную поездку; так же привычно ему было изображать житейские осложнения и напасти в виде скопившихся над путником туч или бури (см. его «Телега жизни», «Зимняя дорога», «Дорожные жалобы», «Предчувствие», «Туча» и др.): эти два уподобления и образовали сюжет «Бесов». Он неподражаемо выразил щемящее чувство, владевшее им в те дни, то чувство, которое охватывает каждого человека на трудном распутье, когда жутко ему смотреть вперед, на «черный отдаленный путь», когда «тоска, предчувствие, заботы теснят его всечасно грудь»:

Мчатся тучи, выются тучи;
Невидимкою луна
Освещает снег летучий;
Мутно небо, ночь мутна.
Еду, еду в чистом поле;
Колокольчик дин-дин-дин...
Страшно, страшно поневоле
Средь неведомых равнин!

Вьюга слипает очи путнику, дорогу занесло; лошади сбились с пути: что делать?
«Сил нам нет кружиться доле». И вот –

Вижу: духи собралися
Средь белеющих равнин.

Бесконечны, безобразны,
В мутной месяца игре
Закружились бесы разны,
Будто листья в ноябре...
Сколько их! куда их гонят?
Что так жалобно поют?
Домового ли хоронят,
Ведьму ль замуж выдают?

Это те самые «бесы», тот же бесовский шабаш, что видела Татьяна в вещем сне; только теперь в своей острой боли Пушкин с удивительной ясностью ощутил то, чего ранее не сознавал так отчетливо: призрачность холодного и пустого коловращения людской толпы, не только уродство, но и нереальность ее – и гениально изобразил ее быт, как круженье безобразных призраков в мутном свете месяца. Характерна еще одна черта: чрез все стихотворение проходит рядом с чувством жути и преодолая его – чувство щемящей жалости к судьбе этих призрачных существ. Они «жалобно поют», и в конце:

Мчатся бесы рой за роем
В беспредельной вышине,
Визгом жалобным и воем
Надрывая сердце мне...

Свою глубокую мысль, свое чувство Пушкин до такой степени строго облек в конкретные формы, что для незорких глаз «Бесы» – только картина снежной метели, сочная и отчетливая в своих частях, очаровательная наглядностью и полнотою настроения. Символика скрыта совсем, так что четыре поколения не заметили ее; осталась чудесная описательная пьеса, которую лет 70 перепечатывают в хрестоматиях и заставляют школьников учить наизусть. Потенбня хорошо сказал: «Держать понимающего на весу между одною и другою иносказательностью; говорить то, что хорошо и для понимающего ребенка, но что будет хорошо и при разнообразных более глубоких проникновениях в смысл, могут только природы глубокие» [79 – Данная «цитата» Гершензона, по всей видимости, компиляция из двух работ А. А. Потенбни «Мысль и язык» и «Из лекций по теории словесности». Приведем здесь два отрывка из первой работы А. А. Потенбни и один из второй. «<...> Что касается до самого субъективного содержания мысли говорящего и мысли понимающего, то эти содержания до такой степени различны, что хотя это различие обыкновенно замечается только при явных недоразумениях <...>, но легко может быть сознано и при так называемом полном понимании. Мысли говорящего и понимающего сходятся между собой только в слове. <...> Итак, слово есть настолько средство понимать другого, насколько оно средство понимать самого себя. Оно потому служит посредником между людьми и устанавливает между ними разумную связь, что в

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org
отдельном лице назначено посредствовать между новым восприятием (и вообще тем, что в данное мгновение есть в сознании) и находящимся вне сознания прежним запасом мысли. Сила человеческой мысли не в том, что слово вызывает в сознании прежние восприятия (это возможно и без слов), а в том, что именно оно заставляет человека пользоваться сокровищами своего прошедшего» (Потебня А. А. Эстетика и поэтика. М.: Искусство, 1976. С. 139–140, 143). «<...> Есть два рода иносказательности: в одном – образ принадлежит к другому порядку явлений, чем его значение <...> В другом – образ и значение принадлежат к одному и тому порядку явлений. Это обыкновенная художественная типичность <...> Ряд последовательных ответов на один и тот же вопрос переходит от иносказательности первого рода к иносказательности второго» (Там же. С. 553–554).]

«Бесы» были написаны 7 сентября, а в следующий день, 8-го, Пушкин написал «Безумных лет угасшее веселье», где говорит о том, что печали минувших дней», где о будущем есть такие печальные строки в духе «Бесов»:

Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море.

Образ, вставший в воображении Пушкина и обрисованный им в «Бесах», пустил корень и расцвел. Жизнь-метель, снежная буря, заметающая пред путником дороги, сбивающая его с пути: такова жизнь всякого человека. Он – безвольное игрище метели-стихии: думает действовать по личным целям, а в действительности движется ее прихотью: так углубился в сознании Пушкина тот образ, и эту углубленную символику жизни он выразил недель шесть спустя после «Бесов» в рассказе «Метель», написанном в Болдине же в середине октября. Кто не догадывается об этом символическом замысле рассказа, должен признать сюжет «Метели» пустым и неправдоподобным анекдотом, какой было бы странно встретить в творчестве Пушкина об эту пору. Повторяю: формально-холодное сочинительство было противно и чуждо Пушкину. Мы не поймем ни одной из написанных им строк и искажем смысл всех, ежели не будем помнить за чтением его поминутно, что он был весь горячий и расплавленный.

Но в «Метели» мысль Пушкина не только обобщена сравнительно с чисто автобиографическими «Бесами»: в ней есть и новый элемент. Именно: здесь Пушкин изобразил жизнь – метель не только как властную над человеком стихию, но как стихию умную, мудрейшую самого человека. Люди, как дети, заблуждаются в своих замыслах и хотениях, – метель подхватит, закружит, оглушит их, и в мутной мгле твердой рукой выведет на правильный путь, куда им, помимо их ведома, и надо было попасть. Она знает их подлинную, их скрытую волю – лучше их самих.

Пушкин ясно дает нам понять, что Марья Гавриловна в сущности не любила Владимира, а просто увлеклась своим романтическим воображением. «Марья Гавриловна была воспитана на французских романах и, следовательно, была влюблена. Предмет, избранный ею, был бедный армейский прапорщик», и т. д. И дальше история их любви излагается в том же ироническом тоне: «само по себе разумеется», что прапорщик пылал равною страстью, само собою разумеется, что родители запретили дочери и думать о нем, что свидания продолжались в уединенных и поэтических местах, с взаимными клятвами в вечной любви и сетованиями на судьбу, что между молодыми людьми шла секретная переписка, что в конце концов Владимир предложил бежать и обвенчаться тайно, – и, «разумеется», эта счастливая мысль «весьма понравилась романтическому воображению Марьи Гавриловны». Рассказ о героине продолжается и дальше в том же духе: налицо весь репертуар неистинной, надуманной влюбленности и подражания романтическим образцам; здесь и длинное прощальное письмо к чувствительной подруге, и письмо к родителям, где она прощалась с ними «в самых трогательных выражениях, извиняла свой проступок неодолимою силою страсти и оканчивала тем, что блаженнейшею минутою жизни почтет она ту, когда позволено будет ей броситься к ногам дражайших ее родителей». Пушкин не забыл даже сообщить о тульской печатке, которою героиня запечатала оба письма, что на ней были изображены два пылающих сердца с соответственной надписью. Все признаки сознанием навязанного чувства – и, напротив, ни одного намека на искреннюю, смелую и простую страсть; и так до конца приключения.

Но Власть имущий следил за милой, простодушной Марьей Гавриловной. Она, шая, готова была сбиться с пути, – он пошлет своего слугу спасти ее. Его слуга – жизнь, метель.

Еще с вечера поднялась метель, и когда Марья Гавриловна вышла из дому, чтобы

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org

сесть в сани Владимира, «ветер дул навстречу, как будто слясь остановить молодую преступницу»; и с той минуты, как она садится в сани, – она в руках судьбы, как и намекает Пушкин полшутя, прерывая рассказ об ее поездке: «Поручив барышню попечению судьбы и искусству Терешки кучера, обратимся к молодому нашему любовнику». Потому что рассказать о том, как пеклась о ней судьба, значило рассказать не о ее путешествии, вполне исправно проведенном Терешкою, а о поездке Владимира, которого вела судьба, – вела не навстречу ей, а в сторону. Судьба обернулась метелью. Эту метель-жизнь, метель-судьбу Пушкин изображает здесь теми же чертами, как в «Бесах»; она и так же издевается над Владимиром, как над путником «Бесов». «Сделалась такая метель, что он ничего не взвидел. В одну минуту дорогу занесло; окрестность исчезла во мгле мутной и желтоватой, сквозь которую летели белые хлопья снегу; небо слилось с землею»:

– Эй, пошел, ямщик!..» – «Нет мочи:
Коням, барин, тяжело;
Вьюга мне слипает очи;
Все дороги занесло;
Хоть убей, следа не видно;
Сбились мы. Что делать нам!

.....
Невидимкою луна
Освещает снег летучий;
Мутно небо, ночь мутна.

Так же как в «Бесах», бес метели водит Владимира по полю и кружит по сторонам, толкает в овраг измученного коня, встает небывалой и обманчивой рощей, долго водит по лесу и с хохотом выпускает на неведомую равнину, «устланную белым волнистым ковром»; и Владимиру тоже, как тому путнику,

Страшно, страшно поневоле
Средь неведомых равнин!

и он тоже с лошадей выбиваются из сил...

Но эта разрушительная цель достигнута – Владимир не доедет во-время, а в то же время метель исполняет и вторую, творческую половину работы. В этот самый вечер офицер Бурмин из соседней усадьбы спешил в Вильно, в свой полк; судьба-метель, точно одной рукой отстраняя Владимира, другою ведет некоего Бурмина навстречу Марьи Гавриловны. В этом месте рассказ Пушкина достигает полной силы; скупость строго обдуманной подробности напоминает здесь «Пиковую даму». «Приехав... на станцию поздно вечером, – рассказывает впоследствии Бурмин, – я велел было поскорее закладывать лошадей, как вдруг поднялась ужасная метель, и смотритель, и ямщики советовали мне переждать. Я их послушался, но непонятное беспокойство овладело мною; казалось, кто-то меня так и толкал. Между тем метель не унималась; я не вытерпел, приказал опять закладывать и поехал в самую бурю. Ямщику вздумалось ехать рекою, что должно было сократить нам путь тремя верстами. Берега были занесены; ямщик проехал мимо того места, где выезжали на дорогу, и таким образом очутились мы в незнакомой стороне. Буря не утихла; я увидел огонек и велел ехать туда». С удивительным мастерством описана дальнейшая сцена – естественность появления Бурмина среди ожидавших в церкви, гипнозом легшая на него самого, и легкая, роковая его одержимость, когда он точно во сне или понуждаемый тайной силою стал рядом с Марьей Гавриловной пред аналоем (он вспоминает: «непонятная, непростительная ветреность»...). – Его появление и было естественно, – больше того, их венчание, столь случайное с виду, как редко бывает, было в высшем смысле закономерно, необходимо, естественно, потому что они были «суженые», судьбой предназначенные друг для друга, как и обнаружилось три года спустя, когда, встретившись, они искренно полюбили друг друга.

Может быть, писав этот рассказ, Пушкин думал: жизнь-метель редко бывает так добра, но бывает.

Домик в Коломне

До сих пор никто не мог сказать, что разгадал смысл этой странной поэмы. Первая треть ее занята длиннейшим рассуждением о стихотворных размерах, с полемическими выпадами против тогдашней журнальной критики; остальные две трети – прекрасное повествование, сюжет которого, однако, чрезвычайно странен. Непонятна связь между тем вступлением и самой повестью, но еще более непонятно, для чего Пушкин вздумал тщательно излагать в великолепных стихах пустой анекдот – историю о том, как вновь нанятая кухарка в мещанской семье оказалась переодетым мужчиной. Из всех предложенных объяснений наиболее уверенный вид имеет объяснение В. Я. Брюсова. Он видит в «Домике в Коломне» одно из проявлений общей политики Пушкина. Пушкин, по его словам, «старался перенять все формы, выработанные на Западе, словно спешил проложить для новой русской литературы просеки по всем направлениям»; в ряду этих опытов «своим «Домиком в Коломне» Пушкин хотел усвоить русской поэзии тот род шутовой романтической поэмы, который, в те годы, имел особенный успех в Англии и во Франции». В. Я. Брюсов очень хорошо описывает этот род тогдашней литературы и утверждает, что Пушкин намеревался дать русским читателям такую поэму по всем законам этого стиля, как он их мог проследить в своих образцах – в «Беппо» Байрона и «Намуне» Мюссе. «Все три поэмы, Байрона, Мюссе и Пушкина, написаны строфами. Общий тон во всех трех один и тот же: легкой шутки; ко всему, чего касается рассказ, авторы относятся с насмешкой, но тем большую силу получают отдельные замечания, сказанные серьезно и грустно. На каждом шагу авторы прерывают свой рассказ то вводными замечаниями, то длинными неожиданными отступлениями», и т. д. Пушкин, по мнению В. Я. Брюсова, в точности придерживался этих правил, у него налицо все, что полагалось дать в подобной шутовой поэме, – далекие отступления, интимные признания, лирика, легкая болтовня, и пр. К этому же обязательному составу, так сказать, относится и рассуждение Пушкина о стихе – то странное вступление к рассказу. По хрии полагалось наполнить первую половину поэмы отступлениями, и вот каждый поэт «отступал» сообразно своему национальному характеру: Байрон рассуждает о свободе печати, о парламентских прениях, о Habeas Corpus, у Мюссе все отступления вращаются около вопросов любви, – внимание Пушкина почти исключительно занято вопросами литературы: «горестное свидетельство, как больно ощущал он ту травлю, которую предприняли против него в те годы критики и которую он старался презирать» [80 – Гершензон цитирует статью В. Я. Брюсова «Домик в Коломне» в томе III венгерского собрания сочинений Пушкина (С. 88–91). Цитируются страницы 88–89. Последняя цитата не совсем точна. Она выглядит так: «Эти строфы (XV–XXII), которые, впрочем, сам Пушкин и не напечатал, остаются горестным свидетельством, как больно ощущал он ту травлю, которую предприняли против него в те годы критики и которую он старался презирать» (С. 89).].

Итак, по мнению В. Я. Брюсова, Пушкин «Домиком в Коломне» преследовал формальную литературную цель – написать легкую и своенравную поэму в стиле «Беппо» и «Намуны». Я полагаю, что приписывать Пушкину подобные намерения – в корне ошибочно; думаю даже, что такая «литературность» должна была внушать ему отвращение и что поэт, затеявший произведение с таким холодным расчетом, был бы им сурово осужден. За это порукою и его теория искусства, и его собственное поэтическое творчество. К тому же, общий тон «Домика в Коломне» кажется мне бесконечно далеким от тона «легкой шутки», и вовсе я не вижу, чтобы он относился с насмешкой ко всему, чего касается его рассказ; как раз напротив. Близость его повести к «Беппо» и «Намуне», доказываемая В. Я. Брюсовым, и даже совпадение в некоторых подробностях несомненны, но это формальное сходство не решает вопроса, так как форму, отчасти заимствованную, Пушкин наполнил беспримерным содержанием. В духе объективного художественного творчества «Домик в Коломне» никогда не удастся понять осмысленно: с этой точки зрения он неизбежно представляется нелепым произведением, несмотря на отдельные его красоты. Понять его можно только психологически, в кипящей душевности Пушкина, – и тогда, какие ослепительные лучи выступают в нем, и какие черные тени! как ровная плоскость рассказа оживает страстным, почти судорожным движением! и какую выразительность приобретают строфы и стихи, казавшиеся раньше банальными или мелочными! Пушкин созревший был огнен в каждом своем стихе; только наше невнимание виною, если мы находим у него скучные или непонятные строки. Как раз в те дни, когда создавался «Домик в Коломне», написал он стихотворение «шалость» [23 – Это стихотворение печатается без названия, по первой строке [Ред.].], первые строки которого кажутся почти бессмысленными.

Румяный критик мой, насмешник толстопузый,
Готовый век трунить над нашей томной музой,
Поди-ка ты сюда, присядь-ка ты со мной,

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org
Попробуй, сладим ли с проклятою хандрой.

.....
Что ж ты нахмурился? – Нельзя ли блажь оставить!
И песенкою нас веселой позабавить? –

Смотри, какой здесь вид: избышек ряд убогий,
За ними чернозем, равнины скат отлогий
Над ними серых туч густая полоса.
Где нивы светлые? где темные леса?

и т. д.

Кто это говорит? кто кого спрашивает? Ведь здесь ничего понять нельзя. А так эти стихи и печатаются искони. Но стоит прочитать их внимательно, и они загораются ясным и острым смыслом. Это – диалог, его можно напечатать так:

Поэт:
«Румяный критик мой, насмешник толстопузый,
Готовый век трунить над нашей томной музой,
Поди-ка ты сюда, присядь-ка ты со мной,
Попробуй, сладим ли с проклятою хандрой».

Критик:
«Что ж ты нахмурился? Нельзя ли блажь оставить!
И песенкою нас веселой позабавить?»

Поэт:
«Смотри, какой здесь вид»

и т. д.

Поэт отвечает желчно, с силой, – оттого резко ломается и ритм, так что вместо правильного чередования мужских и женских попарно рифм рядом оказываются две пары женских: оставить – позабавить, убогий – отлогий. – Вот пример Пушкинских нелепостей, живущих нашим непониманием. Станный и анекдотический «Домик в Коломне» – другой пример такого же рода.

Понять «Домик в Коломне» можно, только погрузившись сочувственно в настроение, которое переживал Пушкин в дни создания этой поэмы. Она написана в октябре 1830 года в Болдине; под 12-й строфой ее в черновой рукописи значится дата: 5 октября, под последней – 10 октября. При быстроте, с какою он писал в ту осень, когда например «Метель» была окончена 20 октября, «Скупой рыцарь» 23 октября, «Моцарт и Сальери» 26 октября, «Каменный Гость» 4 ноября, он должен был начать «Домик в Коломне» числа 3-го или даже 4-го. Следовательно «Домик в Коломне» писался приблизительно с 4 по 10 октября.

За десять дней, с 1 по 10 октября, Пушкин написал, – по крайней мере, насколько мы достоверно знаем, – кроме «Домика в Коломне», еще 4 стихотворения. Они датированы так: 1 октября, в день возвращения от кн. Голицыной, – цитированное выше стихотворение «Шалость»; 5-го – «Расставание», 7-го – «Паж или 15-летний король», 9-го – «Я здесь, Инезилья», наконец, 5-го – 10-го «Домик в Коломне». Значит, последние три стихотворения писаны в промежутки «Домика в Коломне». Из них одно – жгучее воспоминание о какой-то женщине, прежде страстно любимой и любимой еще до сих пор, – «Расставание»:

В последний раз твой образ милый
Дерзаю мысленно ласкать,
Будить мечту сердечной силой
И с негой робкой и унылой
Твою любовь вспоминать.

Остальные два (как и написанные, вероятно, тоже в Болдине «Пред испанкой благородной» и «Пью за здравие Мери») несомненно были внушены Пушкину его новым, необычно чистым чувством к невесте и добродушной насмешкой над самим собой, тридцатилетним влюбленным, – то есть над своей юношеской влюбленностью и рыцарской верностью[24 – С этим в связи – шутивное письмо Пушкина из Болдина к Дельвигу, от 4 ноября, где он называет себя «вассалом» Дельвига и свои стихи –

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org
«песнями трубадура». – «Я здесь, Инезилья» – конечно самостоятельное стихотворение, а не предназначалось для помещения в «Каменном Госте», как думают комментаторы: Пушкин не мог вложить мужскую песню в уста Лауры.]. Это совмещение чувств, казалось бы, противоположных, было неслучайно.

В эти Болдинские уединенные месяцы Пушкин переживал весьма сложное настроение. Он был влюблен – но эта влюбленность резко отличалась от его прежних многочисленных увлечений. Наталья Николаевна была для него не только предметом умиленного обожания и предметом страсти: оба эти чувства он и раньше питал к другим женщинам; ново было то, что с любовью к Наталье Николаевне в его уме неразрывно связалась новая для него мечта о счастье. Так он сам многократно определял свое чувство в эту осень. До сих пор он легко, а иногда и трудно, обходился без счастья, теперь ему страстно хотелось его. Почему? – об этом он не спрашивал себя. В нем уже некоторое время властно звучал этот зов, и он подчинялся ему, как бы неоспоримому приказу; подчинялся, так сказать, против своей воли, потому что знал (и писал об этом своим друзьям), что счастье – не для него, что счастье трудно строить, и притом оно в самом себе вмещает рабство. Его страшил предстоящая семейная жизнь, ему до боли жаль было своей золотой независимости, – и все-таки он, как обреченный, шел вперед, куда не хотел: хлопотал о свадьбе, хотя минутами, ослабевая, готов был стремглав убежать назад, воспользоваться каким-нибудь предлогом, чтобы расстроить свадьбу, как справедливо подозревали его друзья. Такой фатализм в отношении собственного духа был ему всегда присущ, но никогда еще внутренний голос не понукал его так настойчиво и никогда разлад между этим как будто сверхличным повелением и личной волею не был в нем так силен, как теперь. Таков был один водоворот его тогдашнего настроения.

А отсюда, с рубежа новой жизни, где он стоял, готовясь перешагнуть, – его «сердечная мысль» невольно влеклась назад, в его прошлое. Там была свобода (стихотворение «Цыганы», будто бы «с английского», август 1830 года), и там сиял незакатно образ той единственно-любимой женщины, чье имя нам неизвестно («Расставание» 5 октября, «Заклинание» 17 октября, «Для берегов отчизны дальней» 27 ноября 1830 г., все три в Болдине); и столько было мучительного и вместе сладкого в этих воспоминаниях, что именно они исторгали из лиры Пушкина в эту осень самые острые, самые жгучие звуки ужаса, боли, нежности, умиления, точно вопли кающегося преступника.

Между тем как эти противоречивые чувства глубоко волновали его дух, – жизнь на поверхности бурлила и строилась самозаконно, и бесчисленными мелкими остриями проникала в душу и больно ранила ее, как будто глуть, клокотавшая темной бурей, волшебным скоплением реальной грозы над головою, и оба волнения скрещивались, взаимно разъяряясь, и совместно творили ад в душе Пушкина.

Уезжая из Москвы, он рассчитывал пробыть в отлучке 25 дней. Теперь этот срок кончился; оставаться дольше в Болдине было для Пушкина во всех отношениях мучительно; главное же – отсрочка лишала его надежды на дальнейшее получение писем от невесты. Она и то писала редко и скупно, а с концом назначенного им трехнедельного срока уже по праву должна была не писать. Надо было во что бы то ни стало возвращаться в Москву, – а вокруг Болдина свирепствовала холера и по пути в Москву уже быстро, один за другим, устраивались карантин, да погода испортилась и дороги стали непроездными. Он решил все-таки выехать 1 октября, хотя знал, что придется пробыть в пути не меньше месяца. Накануне, 30 сентября, он писал невесте: «Вот я и совсем готов почти сесть в экипаж, хотя мои дела не кончены и я совершенно пал духом. Вы очень добры и обещаете мне задержку в Богородицке не более 6-ти дней. Мне объявили, что устроено 5 карантин отсюда до Москвы, и в каждом мне придется провести 14 дней; сосчитайте хорошенько и потом представьте себе, в каком я должен быть сквернейшем настроении! К довершению благополучия, начался дождь, с тем, конечно, чтобы не переставать до самого санного пути. Если что может меня утешить, то это – мудрость, с которою устроены дороги отсюда до Москвы: представьте себе, окоп с каждой стороны, без канав, без стока для воды; таким образом, дорога является ящиком, наполненным грязью; зато пешеходы идут весьма удобно по совершенно сухим тропам вдоль окопов и смеются над увязшими экипажами. Будь проклят тот час, когда я решился оставить вас и пуститься в эту прелестную страну грязи, чумы и пожаров – мы только и видим это». И дальше: «Не смейтесь надо мною, так как я бешусь. Наша свадьба, по-видимому, все убегает от меня, и эта чума с ее карантинами, – разве это не самая дрянная штука, какую судьба могла придумать. Мой ангел, только одна ваша любовь препятствует мне повеситься на воротах моего печального замка»...

В этот самый день, 30 сентября, Пушкин – очевидно, под проливным дождем – поехал за 30 верст к княгине Голицыной, чтобы от нее разузнать о кратчайшем пути, о числе карантинных и пр. На следующий день он вернулся в Болдино – и тут узнал, что холера достигла Москвы и что «жители все оставили город». Последнее сведение несколько успокоило его, но он все-таки хотел ехать. По справкам он узнал – может быть, именно от кн. Голицыной, – что выдаются свидетельства на свободный проезд или, по крайней мере, на сокращенный срок карантина, и послал соответственное прошение в Нижний. Приходилось ждать ответа, без всяких известий из Москвы и без надежды на них. 2 октября, в заметке «Некоторые писатели ввели обыкновение» он писал: «... Нынче, в несносные часы карантинного заключения, не имея с собою ни книг, ни товарищей, вздумал я, для препровождения времени, писать возражения», и т. д. «Смею уверить моего читателя... что глупее сего занятия от роду ничего не мог я выдумать».

А тут еще, как снег на голову, свалилось на него извещение, что он назначен окружным инспектором для надзора над карантинами Болдинского округа. Это было новое осложнение: инспектор был прикреплен к месту, – его не выпустили бы из округа (как потом действительно и случилось). Ответ из Нижнего пришел, – он гласил, что свидетельство будет выдано в Лукоянове; но одновременно пришло и новое известие – что въезд и выезд из Москвы запрещены. Эта новость, при неизвестности о месте пребывания Гончаровых, ошеломила Пушкина. Он был уверен, он надеялся, что Гончаровы благоразумно уехали из зараженной Москвы, – зачем же он поедет туда? их там верно нет, а его уже оттуда не выпустят. И вот, он решает ждать в Болдине. Все эти тревоги он пережил как раз в промежуток между 1-м и 10-м октября. 11-го, очевидно, только что приняв это решение, он пишет невесте письмо, тон которого близок к отчаянию. «Въезд в Москву запрещен, и вот я заперт в Болдине. Именем неба молю, дорогая Наталья Николаевна, пишите мне, несмотря на то, что вам не хочется писать. Скажите мне, где вы? Оставили ли вы Москву? нет ли окольного пути, который мог бы меня привести к вашим ногам? Я совсем потерял мужество, и не знаю в самом деле, что делать. Ясное дело, что в этом году (будь он проклят) нашей свадьбе не бывать», и т. д.

В эти дни писан «Домик в Коломне». Я расскажу так отчетливо, как сумею, что я слышу в строфах этой странной повести. Мое восприятие субъективно, я и не думаю доказывать его верность. Более причудливого Пушкин ничего не писал; естественно, что и толкование покажется произвольным.

Мне слышится в длинном вступлении к рассказу отзвук душевного надрыва, потребность на время бежать от самого себя, от кипения своих тяжелых мыслей. Этой лихорадочной болтовней о стихотворных размерах и журнальной брани Пушкин словно заговаривает свою сердечную боль и тревогу. Мне кажется: он начал без всякой охоты, «для препровождения времени», как ту «Критическую заметку» от 2 октября, и первый же стих звучит необычным для него раздражением:

Четырехстопный ямб мне надоел...

На протяжении десяти строф он болтает о размерах, и заглушаемая боль нет-нет да вырвется желчным стихом: «Из мелкой сволочи вербую рать», «И ты, Вольтер, философ и ругатель», «И ты, Делиль, парнасский муравей»... И по мере того как текли строфы, их мерный ритм до некоторой степени умерял внутреннюю тревогу. Как в один из первых дней Болдинской жизни, 9 сентября, Пушкин писал Плетневу: «Ты не можешь вообразить, как весело удрать от невесты, да и засесть стихи писать», так теперь он пишет в 11-й строфе:

Как весело стихи свои вести
Под цифрами, в порядке, строй за строем,

и т. д.

Но самообладания все-таки нет; чем дальше, болтовня становится все судорожнее, идет скачками, о пустяках, поминутно обрывается; после каждой строфы поэт делает усилие над собою, чтобы собрать свою мысль и продолжать. Строфы 12-я, 13-я, 14-я похожи на бред; дальше как будто найдена хоть какая-нибудь тема – о журнальных ссорах и журнальной критике, – эта тема близка Пушкину, он на минуту одушевляется и ведет свой разговор осмысленно, но скоро и этот предмет исчерпан, дальше опять следуют несколько бредовых стихов (конец 21-й и 22-я строфа); наконец решимость найдена и поэт начинает рассказ. Словом, чрез все вступление

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org
проходит, как мне кажется, сердечная судорога боли, тоски, ожесточения. Рассказ начинается как будто эпически-спокойно, хотя и сухо:

Жила-была вдова,
Тому лет восемь, бедная старушка,
С одною дочерью. У Покрова
Стояла их смиренная лачужка
За самой будкой.

Но самообладания и хватило только на эти пять строк; за ними следуют полтора стиха личных –

Вижу как теперь
Светелку, три окна, крыльцо и дверь –

и мгновенно скрытая боль разражается бурным взрывом ожесточения и гнева. В чем дело? Поэт помнит эту лачужку – так что же? почему он сердится и готов проклинать весь мир?

Дни три тому туда ходил я вместе
С одним знакомым перед вечерком.
Лачужки этой нет уж там.
На месте Ее построен трехэтажный дом.
Я вспомнил о старушке, о невесте,
Бывало, тут сидевших под окном,
О той поре, когда я был моложе,
Я думал: живы ли они? – И что же?

Мне стало грустно: на высокий дом
Глядел я косо. Если в эту пору
Пожар его бы охватил кругом,
То моему б озлобленному взору
Приятно было пламя. Станным сном
Бывает сердце полно; много вздору
Приходит нам на ум, когда бредем
Одни или с товарищем вдвоем.

Тогда блажен, кто крепко словом правит
И держит мысль на привязи свою,
Кто в сердце усыпляет или давит
Мгновенно прошипевшую змию;
Но кто болтлив, того молва прославит
Вмиг извергом... Я воды Леты пью,
Мне доктором запрещена унылость:
Оставим это, – сделайте мне милость!

На первый взгляд эта вспышка представляется совершенно непонятной. В этих стихах такая острая душевная боль – и почему? потому что на месте знакомой лачужки стал трехэтажный дом! Что за змея шипит в сердце Пушкина, которую он силится задушить? и зачем он силится усыпить себя забвением («Я воды Леты пью»)? Совершенно так же несколько лет спустя он писал жене из Михайловского (25 сентября 1835 г.): «В Михайловском нашел я всё по старому, кроме того, что нет уж в нем няни моей и что около знакомых старых сосен поднялась, во время моего отсутствия, молодая сосновая семья, на которую досадно мне смотреть».

Но несколько ниже мы находим и другое совершенно сходное отступление. Рассказав о том, что по воскресеньям вдова с дочерью ходили в церковь Покрова, Пушкин снова вдруг оборачивается на себя и сообщает, совсем некстати, что раньше сам жил в той стороне и теперь любит мысленно присутствовать на богослужении у Покрова; дальше следует длинное воспоминание, в четыре строфы, ничем не связанное с фабулой рассказа, о какой-то гордой молодой графине, которую он видал в той церкви, – о ее красоте и пышности, и о затаенной печали, которую он читал в ее лице. Почему ему вспомнилась теперь эта графиня?

Для меня ясно, что оба эти отступления психологически-тождественны; в обоих Пушкин выражал одну и ту же мысль, вернее – одно и то же чувство: как там ненавистному трехэтажному дому противопоставлена милая лачужка, так здесь надменной и несчастной графине – простая и счастливая Параша. Мне кажется –

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org
именно в этом противопоставлении заключен весь смысл повести. Теперь я могу перейти к объяснению ее.

Вот как я представляю себе ее зарождение. В эти тяжкие дни на пороге новой жизни, когда Пушкин так много обращался мыслью в прошлое, ему невольно навязывалось сравнение между нынешним его положением, столь сложным и трудным, – и легкой, простой его молодостью. Теперь он могуч и знаменит, богат средствами к деятельности, замыслами и интересами, связан отношениями со множеством людей; но не был ли он бесконечно счастливее в юности, когда стоял один, как деревцо в поле, безоружный и свободный, – когда, кончив Лицей, беззаботно жил в Петербурге? Вспоминались ему тут Коломна, ее низенькие дома, церковь у Покрова: он действительно жил там после Лицея. Вспомнилась и графиня, которую он встречал там; биографы Пушкина дознались ее фамилии, – то была графиня Стройновская [81 – Стройновская Екатерина Александровна, урожд. Буткевич, графиня (1800–1867) – жена графа В. В. Стройновского (1747–1834), писателя и сенатора. Пушкин жил по соседству с ней (наб. р. Фонтанки) и видел ее в церкви Покрова в Коломне (1818–1820). По утверждению П. В. Нащокина и П. А. Плетнева, Пушкин описал эти встречи в «Домике в Коломне». В позднейших воспоминаниях племянник Стройновской Н. С. Маевский писал: «Пушкин не был с нею знаком, но ходил, говорят, в церковь Покрова любоваться ею» (Черейский-2. С. 422).]; вспомнились тогдашние проказы и шалости, тешившие так весело, часто, может быть, укрытые от глаз, и так удачно сходявшие с рук. Теперь в его жизни все грозно и открыто: как просто и легко было тогда! И сам он, сложный, смятенный и темный, был тогда так блаженно-наивен!

Так, мне кажется, родился в нем замысел «Домика в Коломне». Графиня – это он теперешний, Параша – он же в пору после Лицея. И не о них, а о себе он говорит в строфе, которая и есть ключ к пониманию поэмы (оттого и подчеркнутое воззвание к читателю):

Она страдала, хоть была прекрасна
И молода, хоть жизнь ее текла
В роскошной неге; хоть была подвластна
Фортуна ей; хоть мода ей несла
Свой фимиам, – она была несчастна.
Блаженнее стократ ее была,
Читатель, новая знакомка ваша,
Простая, добрая моя Параша.

Отсюда та судорога боли, которая, по моему впечатлению, проходит чрез всю поэму, тот нежный свет, которым озарены Параша и ее амурная проделка. Потому что замкнутому и неисцелимому страданию графини противопоставлена легкая и ловкая хитрость Параша, отлично улаживающая ее сердечные дела. Непонятно, как критики и читатели не заметили, что мнимая кухарка – очевидно, любовник Параша, ею же умышленно введенный в дом. Сказав о том, что молодые гвардейцы любили ездить мимо окна Параша и заглядывались на нее, Пушкин продолжает, с ясным намеком на дальнейшую историю:

Меж ими кто ее был сердцу ближе,
Или равно для всех она была
Душою холодна? увидим ниже.

А ниже об этом и нет ни слова, напротив, событие изложено совершенно *discret*, только кое-где шалунья-истина лукаво проглядывает сквозь объективный рассказ. Так описан самый привод кухарки Парашею. Посланная матерью к соседке только с запросом, не знает ли та какой-нибудь кухарки, Параша долго не возвращается. Приходит она поздно, когда мать уже одолевала сон; и где она так скоро нашла кухарку?

Было поздно,
Когда Параша тихо к ней вошла,
Сказав: – «Вот, я кухарку привела».

Эта кошачья тихость не случайно отмечена. Другой легкий намек – когда уже обман был разоблачен:

Параша покраснелась или нет,
Сказать вам не умею; но Маврушки

Сочинив такую странную, заведомо для него непонятную читателям поэму, Пушкин, разумеется, ясно предвидел ожидающий ее прием – и заранее расчелся с ним насмешливой «моралью» в последней строфе. Он не ошибся; по свидетельству Анненкова, повесть, при появлении ее в «Новоселье» на 1833 год, «почти всеми принята была за признак конечного падения нашего поэта. Даже в обществе старались не упоминать о ней в присутствии автора, щадя его самолюбие» [82 – Неточная цитата из книги П. В. Анненкова «А. С. Пушкин. Материалы для его биографии и оценки произведений». СПб., 1873. С. 285. Цитата выглядит следующим образом: «Когда в сокращенном виде напечатана она была в «Новоселье» 1833, то почти всеми была принята за признак конечного падения нашего поэта. Даже в обществах старались не упоминать о ней в присутствии автора, щадя его самолюбие и покрывая снисхождением печальный факт преждевременной потери таланта».]. Не многим выше была, впрочем, и позднейшая оценка. Белинский писал: «Домик в Коломне» – игрушка, сделанная рукою великого мастера. Несмотря на видимую незначительность ее со стороны содержания, эта шуточная повесть тем не менее отличается большими достоинствами со стороны формы...» – он находил, что от чтения этой повести на душе остается «впечатление легкое, невыразимо-сладостное» [83 – Белинский В. Г. Сочинения Александра Пушкина. Статья одиннадцатая.]. Анненков, печатая выброшенные Пушкиным строфы вступления, указывал: «В них Пушкин представляется нам с новой стороны. Не заботясь о достижении художественной цели (!), он отдается вполне течению мыслей и перу своему (!), но какая тонина и беззлобность» [84 – П. В. Анненков. Одно слово в цитате дано неточно. У Анненкова: «беззлобность»].] шутки, какой превосходный нравственный профиль прикрыты этой сетью октав, едва набросанных, и как она светится в этом стихе нараспашку! Тот же характер отражается и в самой повести». Позже удивлялись чудесному реализму бытовой картины и красоте стихов «Домика в Коломне». Щемящей боли, этого «огня под мерой», никто не заметил.

Приложение

Скрижаль Пушкина [85 – Этюд М. О. Гершензона «Скрижаль Пушкина», в части тиража вышедший в свет против воли автора, несмотря на его ошибку, представляет большой интерес – и психологический, и литературоведческий (и ошибки талантливое ученого поучительны и помогают следовать за ним в его поисках); важен этот текст и для понимания интересов Пушкина (он не случайно переписал для себя объемистое, более одной печатной страницы примечание Жуковского; очевидно, оно очень его заинтересовало). Дорожил этой страницей и Жуковский, он полностью повторяет ее в письме 1848 г. к Гоголю: Жуковский В. А. Стихотворения. Поэмы. Проза. М., 1983. С. 376–377. Поэтому издатели решаются опубликовать этот этюд, изъяв его из основного корпуса книги «Мудрость Пушкина». По поводу ошибки М. О. Гершензона были опубликованы статьи П. Е. Щеголева («книга и революция». 1920. кн. 2. С. 57–60), Н. Лернера (там же. кн. 1 (13). С. 81) и др. (см. Библиографию Бермана под 1919 годом – Т. 4 настоящего издания). Берман сообщает: «Эта статья (с. 5–6) М. О. Гершензоном была по отпечатании книги вырезана, так как оказалась отрывком из «Наль и Дамаянти» Жуковского. В продажу поступило некоторое количество экземпляров с оставшейся страницей, благодаря недобросовестности типографии» (Берман Я.З. М. О. Гершензон. Библиография. Вып. LII. Одесса, 1928. С. 42 (далее: Берман). Берман ошибся: прозаический текст, переписанный Пушкиным, не мог быть отрывком из поэмы «Наль и Дамаянти», – это примечание В. А. Жуковского к своему стихотворению «Лал-ла Рук», строфа из которого цитируется. См. также Проскурина В. Течение Гольфстрема: Михаил Гершензон, его жизнь и миф. СПб., 1998. Гл. 6. \Ред.].]

Самую поразительную из страниц, написанных Пушкиным, постигла и судьба поразительная. Ее никто не знает; ее нет, сколько мне известно, ни в одном собрании его сочинений; ее только раз, в деловом порядке, неточно напечатал В. Е. Якушкин в составленном им описании рукописей Пушкина [86 – Речь идет о работе «Описание рукописей Пушкина» В. Е. Якушкина // Русская старина, 1884,

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org
июль, ноябрь.]. На отдельном листке плотной шершавой бумаги, с обеих сторон, от
верха лицевой до самого конца оборотной страницы, написано его рукою следующее.

Руссо сказал: *il n'y a de beau que ce qui n'est pas*[25 – Прекрасно только то,
чего нет (франц.)]. Это не значит: только то, что не существует. Прекрасное
существует, но его нет, ибо оно является нам единственно для того, чтобы
исчезнуть, чтобы нам сказаться, чтобы нам оживить, обновить душу; но его ни
удержать, ни разглядеть, ни постигнуть мы не можем. Оно не имеет ни имени, ни
образа; оно посещает нас в лучшие минуты жития. Величественное зрелище природы,
еще более величественное зрелище души человеческой, поэзия, счастье, несчастье
дают нам сии высокие ощущения прекрасного – и весьма понятно, почему почти
всегда соединяется с ними грусть... но грусть, не приводящая в уныние, а
животворная, сладкая; какое-то смутное стремление... Это происходит от его
скоротечности, от его невыразимости, от его непостижимости... прекрасно только то,
чего нет. В эти минуты живого чувства стремишься не к тому, чем оно произведено
и что перед тобою, – но к чему-то лучшему, тайному, далекому, что с ним
соединяется и что для тебя где-то существует. И это стремление есть одно из
невыразимых доказательств бессмертия души: иначе отчего бы в минуту наслаждения
не иметь полноты и ясности наслаждения? Нет, эта грусть убедительно говорит нам,
что прекрасное здесь не дома, что оно только мимо пролетающий благовеститель
лучшего... оно есть восхитительная тоска по отчизне, оно действует на нашу душу не
настоящим, а темным, в одно мгновенье соединенным воспоминанием всего
прекрасного в прошедшем и тайным ожиданием чего-то в будущем.

А когда нас покидает,
В дар любви у нас в виду
В нашем небе зажигает
Он прощальную звезду. –

Важность этого признания не умаляется тем, что семя его запало в душу Пушкина
извне. Знающие, конечно, тотчас вспомнили стихотворение Жуковского «Лалла Рук». Действительно, Пушкин воспринял туманную мысль Жуковского, но углубил ее
безмерно и выразил с такой несравненной четкостью, наглядностью, почти
осязательностью, какая дает только глубокий личный опыт.

Приведенная страница – ключ к пониманию Пушкина. Так вот каким светом светит его
поэзия! Он в опыте твердо узнал небытие воплощенного мира и открытым взором
созерцал проблески совершенной красоты сквозь земную явь; он не только видел
иной мир, – он и осознавал, что видит его. И не случайно эта страница открылась
впервые мне, от юных лет познавшему на земле одну эту правду: правду о лучшем
мире.

Статьи о Пушкине[87 – Сборник «Статьи о Пушкине» издан посмертно в 1926 г.
с предисловием Леонида Гроссмана [публикуется в конце тома]. Комментарии
составлены Е. Ю. Литвин.]

Чтение Пушкина[88 – Впервые: «Вопросы теории и психологии творчества». Т. 8.
Харьков, 1923. С. 65–68.]

В старину мальчика учили читать сперва по складам, что заставляло его осмысленно
воспринимать отдельные буквы и их соединения в слоги, и лишь этим способом
доводили до умения читать по верхам, то есть бегло. Результат такой выучки был
весьма благотворен; человек на всю жизнь сохранял и в беглом чтении привычку
членораздельного внимания; он видел каждое слово и следил за расположением слов
в предложении. В наше время ребенка сразу обучают беглому или интуитивному
чтению; едва ознакомив с начертанием букв, его учат с одного взгляда угадывать
целое слово, и затем тотчас следующее и следующее, и так быстро скользить по
мгновенно узнаваемым словам до конца предложения, не вглядываясь ни в одно из
них, можно сказать – даже вовсе не видя их. Современный читатель не видит слов,
потому что не смотрит на них; мудрая и прекрасная плоть слова ему не нужна, – он

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org

на бегу, мельком улавливает тени слов и безотчетно сливает их в некий воздушный смысл, столь же бесплотный, как слугающие его тени. Поэтому в старину люди читали сравнительно медленно и созерцательно, как пешеход, который на ходу видит все в подробности, и наслаждается видимым, и познает новое, а нынешнее чтение подобно быстрой езде на велосипеде, где придорожные картины мелькают мимо, сливаясь и пропадая пестрой безразличной вереницей. Ища прежде всего быстроты, мы разучились ходить; теперь только немногие еще умеют читать пешком, – почти все читают велосипедно, по 30 и 40 верст, то есть хотел сказать – страниц в час. Спрашивается, что они видели в этих быстро промелькнувших страницах, могли ли чтонибудь заметить и разглядеть?

Всякую содержательную книгу надо читать медленно, особенно медленно надо читать поэтов, и всего медленнее надо из русских писателей читать Пушкина, потому что его короткие строки наиболее содержательны из всего, что написано по-русски. Эту содержательность их может разглядеть только досужий пешеход, который движется медленно и внимательно смотрит кругом. Его глубокие мысли облицованы такой обманчивой ясностью, его очаровательные детали так уравнены вгладь, меткость его так естественна и непринужденна, что при беглом чтении их и не заметишь. Но пойдите пешком по Пушкину – какие чудесные цветы у дороги! Что цветы! вот ручей играет серебром на солнце; вот смеющийся луч вдруг омрачен наползающей тучей, а там горы, увенчанные вечным снегом, тяжелой громадой обстали горизонт. Тут улыбка и слезы ребенка, шалость влюбленного, божественно-свободная игра душевных сил, и безысходные раздумья о судьбе, о загадочной жизни, о смерти.

Не буду говорить о философской глубине Пушкинской поэзии, куда проникнуть может только пристальный взор, о чрезвычайной замкнутости его произведений, с виду столь открытых и ясных, отчего многие из них, как это ни странно сказать, до сих пор остаются для нас запечатленными. Но даже в простом чтении – какую богатую жатву могла бы давать медлительность, и какие чудесные подробности ускользают от торопливого взгляда!

Вы не заметите в беглом чтении, как Татьяна ждет ответа на свое письмо.

Но день протек, и нет ответа.
Другой настал: все нет как нет.
Бледна как тень, с утра одета,
Татьяна ждет: когда ж ответ?

Это очаровательное, так легко сказанное «с утра одета» говорит многое. Оно говорит, прежде всего, что Татьяна с уверенностью ждала – не ответного письма от Онегина, а самого Онегина (в чем тонкое женское чутье ее и не обмануло). И оно показывает ее нам в эти дни с утра причесанной, затянутой, одетой не по домашнему, – а тем самым косвенно обрисовывает и ее обычный затрапезный вид, когда она вовсе не была «с утра одета», а может быть, до обеда нечесанная, в утренней кофте и туфлях упивалась романом. Так много содержания в трех легких словах!

Карл и Мазепа после Полтавского поражения бегут на юг. Они скачут через украинские степи. И вот близ дороги хутор: то хутор Кочубея. Мазепа с содроганием видит

запустельный двор,
И дом, и сад уединенный,
И в поле отпертую дверь.

Невозможно полнее изобразить внезапное обезлюдение усадьбы, откуда все обитатели в паническом ужасе бежали сразу, бросив ее на произвол судьбы; неужели это сделал поэт одной чертой: отпертой в поле дверью. Даже такая мелочь стоит минутной остановки: дворовые девушки, собирая ягоды, поют (в «Онегине»):

Закидаем вишеньем,
Вишеньем, малиною,
Красною смородиной.

Эти три ягоды перечислены не случайно: они действительно поспевают в средней России одновременно, – их – то верно девушки и собирают теперь, отчего их и называют. И с тем вместе именование этих ягод определяет дату свидания Онегина с Татьяной: в средней России эти ягоды поспевают в конце июля – начале августа.

В беглом чтении еще легче ускользнет от внимания одно много говорящее слово, какие так часто встречаются у Пушкина. В те самые дни ожидания, увидев, наконец, из окна Онегина, въезжавшего во двор, конечно к крыльцу, Татьяна прыг в другие сени, то есть в черные сени, оттуда через задний двор – в сад, расположенный, как обыкновенно, позади дома.

В «Арионе» сказано:

Лишь я, таинственный певец,
На берег выброшен грозою,

то есть его спасение от кораблекрушения поставлено в связь с его особенной, «таинственной» природой; все бывшие в челне погибли, спасается лишь он один, а спасается не случайно: он спасен, потому что он певец. Такова действительно была мысль Пушкина, и словом «таинственный» он на нее намекает; много раньше, в стихотворении «Дельвигу», он выразил ее прямо:

Наперснику богов (т. е. поэту) не страшны бури злые:
Над ним их промысел высокий и святой.

В «Цыганах» Алеко, выслушав рассказ старого цыгана о его Мариуле, бежавшей от него с чужим табором, в ярости восклицает:

Да как же ты не поспешил
Тотчас вослед неблагодарной,
И хищнику, и ей, коварной,
Кинжала в сердце не вонзил?

Он весь сказывается в этом одном слове: «неблагодарной». Женщина должна быть благодарна мужчине за любовь и мужчина вправе наказать ее, если она разлюбит. Так присущее ему и до тех пор скрытое рабовладельческое понимание любви этим словом вспыхивает наружу; огромная часть характера обрисована одним нечаянно вырвавшимся словом. Разве не наслаждение заметить и понять его, – и разве возможно заметить его при велосипедном пробеге чрез «Цыган»?

Или из красот другого порядка, – разве не жаль иной стилистической тонкости, бесследно тонущей в невнимании читателя? Вторая строфа стихотворения «Поэт» начинается так:

Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется.

Едва ли и один из тысячи читавших «Поэта» понял, что значат эти два стиха. А они только продолжают тот образ, которым за шесть строк перед тем начинается стихотворение:

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон...

«Божественный глагол» и есть зов Аполлона, требующий поэта к «жертвоприношению»... В стихотворении «Полководец» заключительные строки: «О люди! жалкий род, достойный слез и смеха» вовсе не составляют нравоучительного привеска к описательной пьесе, как думают все. Пушкин так описывает портрет Баркляя де Толли, внушивший ему его стихотворение:

Он писан во весь рост,

(и т. д.)

...Спокойный и угрюмый,
Он, кажется, глядит с презрительною думой.
Свою ли точно мысль художник обнажил,
Когда он таковым его изобразил,
Или невольное то было вдохновенье, –

Но Доу дал ему такое выраженье [26 – Доу (совр. Дау) Джордж (1781–1829) – английский живописец и портретист на исторические темы. Автор около 33 портретов русских военачальников для «Военной галереи» Зимнего дворца,

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org
он писал с натуры в 1828 г. портрет Пушкина (не сохранился). Пушкин упомянул имя художника в двух своих произведениях: «Полководце» и «Путешествии в Арзрум» (Черейский – 2. С. 132).]

Вот эту мысль Доу, мысль, заложенную в самом портрете, Пушкин только раскрывает в своем стихотворении, отсюда до самого конца; он только объясняет «презрительную думу» Баркляя, выраженную в его лице художником; то сам портрет говорит, то говорит портретом Доу, а не Пушкин: «О люди! жалкий род», и т. д. И все стихотворение, так понятное, получает вид такой цельности, такого внутреннего единства, такой скромности, которые разглядеть – большая радость. Что Доу сказал портретом, то Пушкин передает нам словами; от себя он привносит только свое согласие с художником, и потому в заключительных строках:

Но чей высокий лик в грядущем поколенье
Поэта приведет в восторг и умиление –

он говорит не о себе («поэта»): он понимает Доу и себя вместе, и вообще всякую поэтическую душу.

И то новое, о чем я дальше хочу рассказать, узнал я путем медленного чтения, вглядываясь в стих, часто даже в отдельное слово. В Пушкине есть места, «куда еще не ступала нога человеческая», места трудно доступные и неведомые. Виною в том не его темнота, а всеобщий навык читать «по верхам», поверхностно. Но кто отважится пойти пешком, тот проникнет всюду и во всяком случае увидит много любопытного.

Пушкин и Батюшков[89 – Впервые: историко-литературный временник «Атеней». Кн. I. Пг., 1924. С. 25–36. Рецензии на эту статью появились уже после смерти Гершензона – см.: Н. Бельчиков («Печать и революция». 1925. № 2. С. 263); Н. Измайлов («Атеней». 1926. Кн. III. С. 142).]

Если бы иностранец спросил нас, оригинальна ли поэзия Пушкина, мы с полным правом могли бы ответить ему утвердительно. Между тем оригинальность в поэзии – понятие условное и неопределенное. Величайший из поэтов, Шекспир, большею частью заимствовал сюжеты своих драм, «Фауст» Гёте основан на старой легенде. И у Пушкина найдется, вероятно, не мало заимствований. Все знают историю «Пира во время чумы» и «Анджело»; возможно, как теперь пытаются доказать, что он кое-что заимствовал у Кольриджа, что в «Пиковой даме» есть черты, взятые у Гофмана, и т. п. Тот же иностранец, приступив к ознакомлению с русской литературой Пушкинской эпохи, очень скоро напал бы на явный плагиат у Пушкина; он с торжеством открыл бы перед нами и предложил прочитать следующую страницу из статьи Батюшкова «Прогулка в Академию Художеств»:

«Вчерашний день поутру, сидя у окна моего... я предался сладостному мечтанию, в котором тебе не могу дать совершенно отчета... Помню только, что, взглянув на Неву, покрытую судами, взглянув на великолепную набережную... любясь бесчисленным народом, который волновался под моими окнами, сим чудесным смешением всех наций, в котором я отличал Англичан и Азиатцев, Французов и Калмыков, Русских и Финнов, я сделал себе следующий вопрос: что было на этом месте до построения Петербурга? Может быть, сосновая роща, сырой, дремучий бор или топкое болото, поросшее мхом и брусникою; ближе к берегу – лачуга рыбака, кругом которой развешены были мрежи, невода и весь грубый снаряд скудного промысла. Сюда, может быть, с трудом пробирался охотник, какой-нибудь длинновласый финн

За ланью быстрой и рогатой,
Прицельсь к ней стрелой пернатой.

Здесь все было безмолвно. Редко человеческий голос пробуждал молчание пустыни дикой, мрачной; а ныне? Я взглянул невольно на Троицкий мост, потом на хижину великого монарха... И воображение мое представило мне Петра, который в первый раз обозревал берега дикой Невы, ныне столь прекрасные! Из крепости Нюсканц еще гремели шведские пушки; устье Невы еще было покрыто неприятелем, и частые ружейные выстрелы раздавались по болотным берегам, когда великая мысль родилась в уме великого человека. «Здесь будет город», сказал он, – «чудо света. Сюда

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org
призову все художества, все искусства. Здесь художества, искусства, гражданские
установления и законы победят самую природу». Сказал – и Петербург возник из
дикого болота».

Эту страницу чужой прозы Пушкин, не обвиняясь, переложил в стихи – во вступлении
к своему «Медному всаднику»:

На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн,
И вдаль глядел. Пред ним широко
Река неслася; бедный чёлн
По ней стремился одиноко.
По мшистым, топким берегам
Чернели избы здесь и там,
Приют убогого чухонца;
И лес, неведомый лучам
В тумане спрятанного солнца,
Кругом шумел.

И думал он:
Отсель грозить мы будем шведу.
Здесь будет город заложен
На зло надменному соседу.

Прошло сто лет и юный град,
Полночных стран краса и диво,
Из тьмы лесов, из топи блат
Вознесся пышно, горделиво;
Где прежде финский рыболов,
Печальный пасынок природы,
Один у низких берегов
Бросал в неведомые воды
Свой ветхий невод, ныне там
По оживленным берегам
Громады стройные теснятся
Дворцов и башен; корабли
Толпой со всех концов земли
К богатым пристаням стремятся;

и т. д.

И все же поэзия Пушкина, как и «Гамлет, и «Фауст», несомненно оригинальна.
Очевидно здесь требуется пояснение; все дело в том, что признавать в поэзии
носителем оригинальности.

Отнюдь не задаваясь целью рассмотреть этот вопрос в полном объеме, я хочу
сообщить здесь лишь несколько частичных наблюдений, могущих послужить материалом
для его решения. Наблюдения эти касаются как раз отношения поэзии Пушкина к
поэзии Батюшкова, его ближайшего предшественника, оказавшего на него заведомо
наибольшее влияние [90 – Пушкин познакомился с Батюшковым в начале февраля
1815 г., когда Батюшков посетил Пушкина в Царском Селе. В 1813–1817 гг. Пушкин
испытал сильное воздействие эпикурейской, элегической и батальной лирики, а
также сатиры Батюшкова, и в лицейские годы посвятил ему два послания – «К
Батюшкову» («Философ резвый и пиит») (1814) и «Батюшкову» («В пещерах Геликона»)
(1815). Батюшков и Пушкин встречаются в «Арзамасе», на «субботах»
В. А. Жуковского. Батюшков внимательно следит за поэтическим развитием Пушкина и
в 1818 г. дает высокую оценку первым песням «Руслана и Людмилы». В 1824–1828 гг.
в разговорах и набросках критических статей Пушкин постоянно возвращается к
оценке творчества и исторического значения Батюшкова, которого (наряду с
Жуковским) считает основателем в русской поэзии «школы гармонической точности».
Наиболее развернутый разбор и недостаток лирики Батюшкова содержится в заметках
Пушкина на полях «Опытов в стихах» Батюшкова. Как верно отмечено Гершензоном, в
«Медном всаднике» у Пушкина есть следы чтения прозы Батюшкова. Последняя их
встреча состоялась 3 апреля 1830 г., когда Пушкин навещал душевнобольного
Батюшкова в Грузинах под Москвой (Черейский-2. С. 29–30).].

В «Гольфстреме» я обнаружил у Пушкина наличность своеобразной теории, по которой
жизнь есть горение, душа – огонь, горящий то сильнее, то слабее; отсюда вся

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org
психологическая терминология Пушкина: высшее напряжение жизненности в человеке он определяет словами «пламенная душа», всякое сильное чувство, всякую страсть называет пламенем и, напротив, бесчувствие – остылостью, холодом. Стоит на любой странице раскрыть стихотворения Батюшкова – перед нами та же термодинамическая психология во всех подробностях; все ее основные речения Пушкин готовыми нашел у Батюшкова. Если Пушкин множество раз говорит:

«Воскреснув пламенной душой», «Впервые пламенной душой – Она любила», «И гаснет пламенной душой» и т. п., то Батюшков уже до него писал:

И в пламенной душе на веки начерталась

(Посл. к И. М. Муравьеву-Апостолу),
Вас пламенны сердца приветствуют стократ

(Таврида),
Любимец нежной музы
И пламенных сердец

(Ответ А. И. Тургеневу).
Привычное Пушкину употребление слов «пламень», «огонь», «жар» в психологическом смысле встречаем уже у Батюшкова. У Пушкина:

Он создал нас, он воспитал наш пламень...

Но в нем пылает пламень скрытый...

– у Батюшкова:

И в осень дней твоих не погасает пламень,
Текущий с жизнью в крови

(К престарелой красавице);
У Пушкина:

Твоим огнем душа палима, –

У Батюшкова:

Еще он любит голос лирный,
Еще в душе его огонь...

<С.С. Уварову>;
у Пушкина много раз – «сердца жар»: «неизъяснимый сердца жар», «священный сердца жар», «сердца жар неосторожный», и т. п., – у Батюшкова раньше:

Но слезы умиленья,
Но сердца тихий жар...

(Мои пенаты)
И весь арсенал речений, определяющих любовную страсть, как огонь, жар, пламень, – речений, с такой изумительной виртуозностью разработанных Пушкиным (Гольфстрем. С. 236–244), – полностью представлен уже у Батюшкова, по крайней мере в основных, типических формах. Уже Батюшков писал: «И в буре пламенных страстей» (Надежда), «от пламенных страстей» (К другу), «Восторги пылкие» (из Павла Силенциария), «В восторге пламенном» (Истинный патриот), «И первый жар в крови» (Мечта), «пламенный Эрот» (дважды: Из Гедилы и Привидение).

Любовь еще горит во пламенных мечтах
Любовницы фаона.

(Мечта);
О, пламенный восторг, о, страсти упоенье,
О, сладострастие...

(Мщение);
Где любовник воскресает
С новым пламенем в крови.

(Отрывок из элегии);
Вдохни огонь любви в холодные слова.

(Послание к гр. М. Ю. Велеурскому[27 – Т. е. Виельгорскому [Ред.]]);
Полмертвый, но сгораю.
Я вяну, но еще так пламенно люблю и т. д.

(Из греч. антологии, XII).

Это – терминология и часто стилистика Пушкина. Точно так же и определение поэзии и поэтического вдохновения, как огня, Пушкин нашел готовым у Батюшкова: достаточно сравнить выдержки (#litres_trial_promo) из Пушкина, собранные в «Гольфстреме», со следующими стихами Батюшкова:

И огонь поэзии..
Наш Пиндар чувствовал сей пламень потаенный,
Сей огонь зиждительный..

(Послание к И. М. Муравьеву-Апостолу);
там же –

Пламенный оратор иль пиит, –

как в другом месте (к портрету Жуковского) – «пламенный Тиртей»;

Я чувствую, мой дар в поэзии погас,
И муза пламенник небесный потушила

(Воспоминание);
Там скальды пели брань, и персты их летали
По пламенным струнам

(На развалинах замка в Швеции).

Все это – Пушкинские речения: «огнь поэзии», «огнь поэзии чудесный», «пламенный поэт» и т. д., – вплоть до «пламенника»: «Твой (поэта) светоч, грозно пламенея» (А. Шенье).

Уже Батюшков употреблял глагол «кипеть» в психологическом смысле. Он говорит: «кипяща брань» (На развалинах замка в Швеции), «Тебя, младый Ринальд, «кипящий как Ахилл» (Умиравший Тасс), как позднее Пушкин: «кипящий Ленский» или «Но юноше, кипящему безумно». У Батюшкова: «О, други, как сердце у смелых кипело» (Песнь Гаральда Смелого), – у Пушкина:

Моя душа
В то время радостно кипела

(Цыганы).

У Батюшкова: «И в радости... кипел и трепетал» (На развалинах замка в Швеции), – у Пушкина то же:

Я закипел, затрепетал

(Выздоровление),
Любовник под окном
Трепещет и кипит

(К вельможе).

Налицо у Батюшкова и противоположный ряд речений, столь привычный Пушкину: бесчувственность – как остылость или холод. Он говорит: «Изнемогает жизнь в груди моей остылой» (Из греческой антологии, XII), как позднее Пушкин: «Не спрашивай, зачем душой остылой», или «Во глубине души остылой». У него читаем: «И то, чем ныне стал под холодом годов» (Есть наслаждение), как у Пушкина: «Под хладом старости»... И он не раз употребляет выражение: «хладные сердца» (например, Мечта, Н. И. Гнедичу 1808 г.), обычное у Пушкина; и он говорит: «над хладною могилой» (Из Мелеагра), как Пушкин: «Схожу я в хладную могилу».

У Батюшкова находим и другие два ряда Пушкинских речений того же термического порядка: те, что представляют чувство, как жидкость, и те, что изображают душу

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org
или отдельные душевные состояния, как газообразное. Он говорит:

Мы пили чашу сладострастья

(К другу),
или:

Пей из чаши полной радость

(Отрывок из элегии),
как позже Пушкин:

Я хладно пил из чаши сладострастья

(Позволь душе моей),
или:

И чашу пьет отрады безмятежной

(Гавриилиада);
он говорит:

Все в неистовой прельщает,
В сердце льет огонь и яд

(Вакханка),
как Пушкин:

Играть душой моей покорной
В нее вливать огонь и яд

(Как наше сердце своенравно).
Он говорит:

И все душа за призраком летела

(Тень друга),
или:

В мир лучший духом возлетаю

(К другу),
как позже Пушкин:

К тебе я сердцем улетаю

(Руслан и Людмила, V, черн.),
или:

Душа к возвышенной душе твоей летела

(К Жуковскому).
У Батюшкова:

Воспоминания, лишь вами окрыленный,
К ней мыслию лечу

(Воспоминания, 1807 г.),
у Пушкина:

Я к вам лечу воспоминаньем

(Горишь ли ты);
у Батюшкова:

светлый ум,
Летая в поднебесной

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org

(Мои пенаты).

У Пушкина то же много раз: «Ум далече улетает», «Ум улетал за край земной» и т. п. Мало того, даже наиболее смелые речения этого рода, встречающиеся у Пушкина, нередко имеют прообраз у Батюшкова. Так, у Батюшкова:

Я Лилы пью дыханье
На пламенных устах,
Как роз благоуханье,
Как нектар на пирах

(Мои пенаты),

у Пушкина:

И девы-розы пьем дыханье, –
Быть может... полное Чумы;

и Пушкинское употребление глагола «дышать»: «Гирей, изменю дыша», «Теперь дыши его любовью», «Мы в непрерывном упоенье дышали счастьем», «Еще поныне дышит нега в пустых покоях и садах» и т. п., встречаем уже у Батюшкова:

Одной любви послушен,
Он дышит только ей

(Ответ А. И. Тургеневу);

Ты дружбою велик, ты ей дышал одною

(Дружество);

Все здесь, друзья, изменой дышит

(Разлука);

В места, где дышит все любви очарованьем

(Мечта).

Наконец, у Батюшкова находим и многие отдельные речения Пушкина, относящиеся к тому же кругу идей, как, например, «печали бремя», уподобление речи (поэзии) – жидкости, например:

И песни, веселию
Приятнее нектара
И слаще амвросии,
Что пьют небожители...
Польются со струн ее

(Радость),

как у Пушкина многократно: «Мои стихи... текут, ручьи любви», или сравнение поэзии Языкова с брагой: «Она не холодной льется влагой... Она разымчива, пьяна» и т. д., или определение знания, как света, например, у Батюшкова:

Несносной правды вижу свет

(Элегия, из Парни, 1805 г.),

у Пушкина:

Уж холодной истины докучный вижу свет

(А. А. Шишкову).

Пора подвести итог. Приведенные здесь сопоставления, кажется, неопровержимо доказывают, что Пушкин нашел у своего ближайшего предшественника, с произведениями которого он был от юности хорошо знаком, все основные речения своей своеобразной психологической терминологии. Вычеканил ли их Батюшков сам из материала народного языка или частью взял уже готовыми из предшествовавшей ему поэзии, это для нас здесь безразлично; во всяком случае, Пушкин нашел у него богатый подбор их и полностью усвоил их себе.

Но этому факту противостоит другой, столь же несомненный. Исследование, произведенное мною в «Гольфстреме», обнаружило в поэзии Пушкина полную и подробно разработанную систему психологических воззрений, основанную на представлении о термической природе души. Что здесь перед нами действительно

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org
система, органическое выражение личности в своеобразном цикле идей, – в этом нас убеждают единство и непрерывная последовательность Пушкинской терминологии, ее глубокая подсознательная продуманность, ее обилие и находчивость, ее удивительное многообразие. У Батюшкова такой системы явно нет; в его поэзии – лишь многочисленные зародыши ее, воспринятые из языка и оформленные, как бы отдельные камни, отесанные поэтом. В «Гольфстреме» показано, что термодинамическая психология присуща всему человечеству и воплощена во всех языках, между прочим и в русском; очевидно, Батюшков нащупал ее в языке и оценил и частью вынул из языка и оформил ее материал для поэтического употребления. Но у него нет ни строгой последовательности Пушкина, ни его точности в применении этой терминологии. Лишь изредка встречаются у него те двойные, контрастные речения, столь частые у Пушкина, которые обнаруживают сознательность словоупотребления; таковы, например, стихи:

Вдохни огонь любви в холодные слова

(Послание к гр. М. Ю. Велеурскому),
И гордый ум не победит
Любви – холодными словами

(Пробуждение),
... стихами
Горесть сердца услаждал

(к Н. И. Гнедичу, 1807 г.) [28 – Сравн. у Пушкина – «Гольфстрем», с. 28–29 и *passim*.]
Несравненно чаще он предает термин, впадая в формализм или отвлеченность. Пушкин не мог сказать:

Когда струей небесных благ
Я утолю любви желанье

(Надежда),
или:

И в осень дней твоих не погасает пламень,
Текущий с жизнью в крови

(к престарелой красавице), или:
Любовь еще горит во пламенных мечтах

(Мечта),
как не мог бы Пушкин сказать:

Мне готова
Цепь, сотканна из сует

(к И. А. Петину),
или:

Счастлив, счастлив, кто цветами
Дни любви украшал

(там же),
или:

Прерву теперь молчанья узы
Для друга сердца моего

(Н. И. Гнедичу, 1808 г.),
или:

Мечты, повсюду вы меня сопровождали
И мрачной жизни путь цветами устлали

(Воспоминание, 1807 г.);
все это цветы бумажные и цепи отвлеченные; Пушкин никогда не употребляет конкретных слов в переносном смысле. Все это с несомненностью свидетельствует об

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org
одном: Пушкин безошибочно подбирает свои слова из единого, незыблемого внутреннего образа – идеи, у Батюшкова же такой незыблемой внутренней точки не было, а было лишь некоторое смутное пятно, и потому конкретное слово сплошь и рядом соскальзывало в отвлеченность или пустоту. По верному чутью он сумел разглядеть и поднял с улицы и огранил немало камней, но не узнал в них зиждательной воли; в стройное здание по образу своего духа сложил их уже Пушкин: вот мера – и граница его оригинальности.

То, что я сказал до сих пор, касается одного гнезда Пушкинского мышления и словоупотребления – его термодинамической психологии. Совершенно тот же результат мы получим при исследовании других подобных гнезд. Остановлюсь еще на двух. В статье «Явь и сон»[29 – Вопросы теории и психологии творчества. Т. 8. Харьков, 1923.] я разобрал многочисленные заявления Пушкина, рисующие противоположность между дневным, бодрственным состоянием души – и ее самопогруженностью, которую Пушкин определяет, как «забвение» или «сон души». Оказывается, что термин «забвение», именно в этом необычном смысле, употреблял уже Батюшков, притом с тем же знаком превосходства; уже он говорит: «в сладостном забвенье» (Мечта), как Пушкин многократно:

«В забвенье сладком ловит он», «В забвенье сладком близ друзей» и т. п. Он говорит:

Но ветров шум и моря колыханье
На вежды томное забвенье навели

(Тень друга);

Счастья шаткого любимец
С нимфами забвенье пьет

(Счастливец),

О сладострастие... себя, всего забвенье!

(Мщение),

как Пушкин: «День восторгов, день забвенья», «Там бессмертье, там забвенье», «Забвенье жизни в бурях света» и т. д. Но дальше Батюшков не идет: он только констатирует данное состояние и односложно оценивает его. У Пушкина здесь опять глубоко обдуманная и детально разработанная, последовательно проводимая на протяжении многих лет, в нем самом из личного опыта расцветшая мысль о самозаконной, адекватной жизни духа в противоположность его рабским состояниям наяву.

Третье гнездо – мысль Пушкина о загробной жизни[30 – См. мою статью «Тень Пушкина». – Сб. «Искусство». Журн. Академии Худож. Наук. М., 1923.]. Термин «тень», неизменно употребляемый Пушкиным для обозначения личности после смерти, опять-таки именно в этом необычном смысле часто встречается у Батюшкова. Может показаться даже, что Пушкин перенял у него свою веру в загробное переживание. Их язык иногда сходен до тождественности; Батюшков пишет:

И надо мною тень Лауры пролетает

(Вечер),

Пушкин:

... и верно надо мной
Младая тень уже летала.

У Батюшкова, несомненно, заимствовал Пушкин и слово «ничтожество» в смысле полного уничтожения в смерти: «В обители ничтожества унылой». (Из Мелеагра). В стихотворении Батюшкова «Привидение», 1810 года, есть такие строки:

... Но из могилы,
Если можно воскресать,
Я не стану, друг мой милый,
Как мертвец тебя пугать.
В час полуночных видений.
Я не стану в виде тени,
То внезапно, то тихом,
С воплем в твой являться дом.

Очень возможно, что этими строками навеяны следующие два образа у Пушкина: во первых, «К молодой вдове», 1816 года, где поэт успокаивает молодую вдову во время любовного свидания:

Верь мне: узников могилы
Беспробуден хладный сон...
Нет, разгневанный ревнивец
Не придет из вечной тьмы;
Тихой ночью гром не грянет,
И завистливая тень
Близ любовников не станет,
Вызывая спящий день;

и в другой раз, о Ленском, в черновой рукописи 7-й песни «Онегина»:

... из могилы
Не вышла в сей печальный день
Его ревнующая тень
И в поздний час, Гимену милый;
Не испугали молодых
Следы явлений гробовых.

Нет сомнения, и здесь Пушкин нашел у Батюшкова некоторые опорные точки. Но у Батюшкова нет никакой своей мысли о загробной жизни, если не считать за таковую голое утверждение:

... Но, ах!
Мертвые не воскресают.

(Привидение).

Картины загробной жизни, которые он не раз рисует («Отрывок из элегии», «Мои пенаты», «Элегия из Тибулла», «Мечта» и др.), – шаблон французской поэзии XVIII века, всегда легкая поэтическая игра, никогда не дело. Даже там, где он, единственный раз, хотел серьезно обработать такой сюжет, где он изображает, как Пушкин, явление тени живому, – в стихотворении «Тень друга», – он сразу и заранее снимает с явления всю конкретность словами: «То был ли сон!»... («И вдруг... То был ли сон!.. Предстал товарищ мне»...). У Пушкина – выстраданная, глубокая мысль о загробной жизни, и там, где он рисует тень, – ни с чем не сравнимая категоричность.

«При сгущении раствора он сначала делается пересыщенным и иногда может очень долгое время сохраняться в таком виде, особенно если приложить заботу к сохранению его в спокойном состоянии и к чистоте окружающего воздуха»; такова поэзия Батюшкова. «Прикосновение ничтожных следов того твердого вещества, которое может выпасть из раствора, вызывает энергичный процесс такого выпадения в виде кристаллов»; такая кристаллизация – поэзия Пушкина.

Чаадаев и Пушкин^[91] – Впервые – в т. VI Пушкина. Изд. Брокгауз – Эфрон. Пг., 1915. С. 258–265.]

Когда они впервые встретились у Карамзина в Царском Селе, Чаадаеву было года 22, Пушкину – 17: он еще учился в Лицее. Дружба их началась несколько позже, по окончании Пушкиным Лицея, и оборвалась с его высылкой из Петербурга в 1820 г. Оба были, значит, еще очень молоды; но в то время в образованном дворянском кругу юноши созревали рано.

Легко представить себе, как с шумом и хохотом, сверкая белыми зубами, врывается в кабинет Чаадаева смуглый, курчавый, невысокий, быстрый в движениях юноша – Пушкин. Он, может быть, кутил до утра, но у него крепкие нервы, и очень вероятно, что, проснувшись поздно, он еще час – другой, полулежа в постели, писал свою поэму о Руслане, потом оделся небрежно-щегольски, вышел на Невский, прошелся и решил зайти к Чаадаеву. Он всегда ходит к Чаадаеву, тот у него не бывает. Они – закадычные друзья. И как странно! Между ними, казалось бы, не

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org
должно быть ничего общего. Чаадаев – аристократ, блестящий гвардейский офицер, и вместе с тем, ученый и мыслитель. Ему всего 24 года, но он уже занимается прекрасное положение в свете: он с успехом проделал французскую кампанию и теперь состоит адъютантом при командире гвардейского корпуса, князе Васильчикове; он хорош собой, его знает двор, он свой человек в аристократических гостиных Петербурга. Он богат и независим; его спокойная уверенность в обращении с людьми – вероятно, предмет страстной зависти для Пушкина; он импонирует сдержанной любезностью – вот в чем его сила. Его кабинет – сочетание элегантности и учености. Чаадаев – домосед и аккуратен до щепетильности; если хорошенько присмотреться, на обстановке, как и на самом хозяине, лежит отпечаток педантизма, и Пушкин здесь точно олицетворение буйной шалости и беспорядка. Что свело этих двух несходных молодых людей? – Но это будущий величайший поэт России и ее сильнейший философский ум. У обоих – острая потребность интеллектуального, и так как каждый из них по-своему неистощимо своеобразен, то во взаимном общении оба находят наслаждение; вот почему и память об этой дружбе осталась столь яркой для обоих. Один широко образован и умом свободно господствует над своими знаниями, другой чуток, быстр в понимании и гениально-прозорлив: это ли не чудесная пара для дружбы и особенно для бесед!

Мы можем до некоторой степени восстановить содержание этих бесед. В одной позднейшей неоконченной повести Пушкина, где действие происходит в 1825 году, гвардейский офицер пишет своему другу в ответ на его назидательные советы: «Твои умозрительные и важные рассуждения принадлежат к 1818 году. В то время строгость правил и политическая экономия были в моде. Мы являлись на балы, не снимая шпаг: нам неприлично было танцевать и некогда заниматься дамами». По образованности и широте взгляда Чаадаев, конечно, превосходил большинство своих сверстников; но в общем он делил их интересы; и для него на первом плане стояли тогда строгое отношение к себе и желание свободы для России. То и другое соединялось в сознании своего общественного долга. Когда Пушкин в самом разгаре этой дружбы захотел одной чертой определить Чаадаева, ему пришлось сказать: «Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес»; значит, в его глазах Чаадаева всего больше отличали свободолюбие и широкий государственный взгляд. Это указывает также на преобладающий предмет их разговоров. Чаадаев, без сомнения, «развивал» своего молодого друга; так, мы узнаем об их совместных чтениях; позднее Пушкин вспоминал: «Как я с Кавериним гулял... с моим Чаадаевым читал», и в послании к Чаадаеву: «Посмотрим, перечтем...» и «Знакомых мертвецов живые разговоры». Главными темами этих бесед и чтений были политическая жизнь народов в прошлом и будущем, уроки исторического опыта и грядущие судьбы человечества вообще и России в частности; характеризуя эти беседы, Пушкин употребляет слова: «пророческие споры» и «вольнлюбивые надежды». Самым жгучим интересом являлось, конечно, порабощение России; только об этом и говорит единственное обращение к Чаадаеву, написанное Пушкиным за два года дружбы; очевидно, он сознавал, что в этом чувстве они сливаются всего полнее. Я не буду приводить этих известных стихов: укажу только, на какую почву здесь поставлено стремление к свободе:

Пока свободу горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы.

Это – идея нравственного долга перед самим собой и перед родиной: таков был характер этих бесед.

Как это всегда бывает, непосредственно Пушкин сознавал только их конкретное содержание; но в другом свете представились они ему два года спустя, в Кишиневе, когда вместе с угаром петербургской жизни рассеялось и навеянное на него средою острое политическое настроение. Здесь, в уединении, «для сердца новую вкушая тишину», он углубился в себя и дал себе отчет в своем прошлом. И тут-то он сумел по-настоящему оценить и свою дружбу с Чаадаевым. Что ему кажется теперь в ней наиболее ценным, это уже не те уроки политической мудрости и вольнодумства, которыми он тогда упивался, а нечто другое, чего он тогда не умел ценить и почти не замечал: та нравственная атмосфера, которую он дышал, входя к Чаадаеву. Он говорит Чаадаеву:

Ты был целителем моих душевных сил;
О неизменный друг, тебе я посвятил
И краткий век, уже испытанный судьбою,
И чувства, может быть, спасенные тобою!

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org

Ты сердце знал мое во цвете юных дней;
Ты видел, как потом в волнении страстей
Я тайно изнывал, страдалец утомленный;
В минуту гибели над бездной потаенной
Ты поддержал меня недремлющей рукой;
Ты другу заменил надежду и покой;
Во глубину души вникая строгим взором,
Ты оживлял ее советом иль укором;
Твой жар воспламенял к высокому любовь;
Терпенье смелое во мне рождалось вновь;
Уж голос клеветы не мог меня обидеть:
Умел я презирать, умея ненавидеть.

Здесь не нужно искать намеков на дружеские услуги со стороны Чаадаева, и «потаенная бездна», конечно, меньше всего означает, как это часто утверждали, грозившую Пушкину ссылку в Соловецкий монастырь: здесь речь идет исключительно о внутренних падениях Пушкина и о высокой настроенности духа, о нравственной свободе, которым он учился у Чаадаева. Напротив, эта «потаенная бездна» как раз свидетельствует о каком-то тяжелом нравственном кризисе, пережитом Пушкиным между 1818 и 1820 гг.

И наконец, напомним строки, так хорошо дорисовывающие и портрет Чаадаева, и картину этой дружбы:

Когда соединим слова любви и руки?
Когда услышу я сердечный твой привет?
Как обниму тебя! Увижу кабинет,
Где ты всегда мудрец, а иногда мечтатель
И ветреной толпы бесстрастный наблюдатель;
Приду, приду я вновь, мой милый домосед,

и т. д.

В любой биографии Пушкина можно найти рассказ о том, как Чаадаев в 1818 г. чрез Васильчикова представил Александру I «Деревню» Пушкина, и другой рассказ – о ссылке Пушкина на юг, когда Чаадаев через Карамзина добился смягчения кары, ожидавшей молодого поэта: две элементарные услуги, какие мог оказать Пушкину каждый из его знакомых.

С этой ссылки пути обоих друзей далеко расходятся, и не только потому, что Пушкин оказался вдруг выбитым из прежней колеи: жизнь Чаадаева вскоре изменилась не менее круто. В конце 1820 г. он подал в отставку и бросил Петербург; в 1823 г. он уехал за границу и, прожив там три года, вернулся в Москву чуть ли не в один день с Пушкиным – в начале сентября 1826 г., но вернулся совершенно другим человеком, и в ближайшее время, до 1829 г., едва ли даже поддерживал сношения с Пушкиным.

Он пережил за эти годы тяжелый душевный перелом. Подобно Заратустре, и он надолго ушел в пустыню, и жил там один лицом к лицу со своим грозным богом, пока не познал его и не покорился ему; когда он снова вышел к людям, он нес им скрижаль завета.

В 1829 году внутренняя борьба была кончена, и Чаадаева снова потянуло к людям из мрачного одиночества, в котором он прожил почти четыре года; в то же самое время он начал излагать свое учение в форме философских писем. Пушкин, живший тогда в Москве, был одним из первых, кому он дал для прочтения свое первое, знаменитое впоследствии письмо.

За десять лет, что они прожили врозь, Пушкин много выстрадал как человек и пышно расцвел как поэтический гений, но он остался в той же плоскости: ничто не нарушило удивительную природную цельность его духа; напротив – она только полнее раскрылась. Чаадаев в то время вовсе не жил; когда в конце 20-х годов он проходил по улицам Москвы, мрачный, изможденный, низко надвинув шляпу, чтобы не быть узнанным, – о нем можно было сказать, что говорили о Данте равенские мальчики: «Вот человек, побывавший в преисподней». Глубокий душевный раскол кинул его в одну из тех бездонных, неисследимых крайностей, в какие впадают только люди великого духа и откуда они выносят наверх новые аспекты вечной истины. Это было, как известно, мистическое истолкование мира. Для Чаадаева

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org

теперь больше не существовало ни случайности, ни противоречий, ни непонятного разнообразия явлений, – и в то время как наивно верующий ощущает стройность и осмысленность бытия только в идее Верховного Разума, Чаадаев сознавал ее в самом процессе, видел воочию последовательное строение царствия божьего на земле. В его глазах вся мировая жизнь – один цельный механизм претворения плотского в духовное и личного в безличное имманентной миру божественной силой, и вся история человечества – не что иное, как последовательный ход этого процесса, конечной целью которого является слияние мира с Богом. И так всецело была воспринята его духом эта система, так глубоко им продумана, что ему было естественно приурочивать к общему мировому делу частное историческое явление нынешнего дня, например, революцию 1830 года или поэзию Гейне.

Как отнесся Пушкин на первых порах к учению Чаадаева, мы не знаем. До нас дошло его письмо к Чаадаеву от 1831 г. о третьем «философическом письме» [92 – Речь идет о письме Пушкина Чаадаеву от 6 июля 1831 г. из Царского Села. Чаадаев передал Пушкину шестое и седьмое письмо из общего числа восьми писем, составляющих корпус его эпистолярного сочинения (до восстановления всего цикла «философических писем» письма, находящиеся у Пушкина, считались вторым и третьим). Подробнее об этом см.: Шаховской Д. П. Я. Чаадаев – автор «философических писем» // ЛН. Т. 22–24. С. 6–17.]: он был изумлен силою и красотою слога, широтою и грандиозностью картин, но он ничего не говорит о существе дела, называя взгляд Чаадаева на историю совершенно новым для себя и ограничиваясь частными возражениями. Напротив, само собою понятно, как должен был теперь Чаадаев смотреть на поэтическую деятельность Пушкина. Если он не находил достаточно сильных слов, чтобы заклеить поэмы Гомера, как соблазнительный апофеоз плоти, то тем более должна была ужасать и печалить его чувственная поэзия его друга. Он умел в полной мере ценить и силу чувства, и художественное дарование Пушкина. По-видимому, его временами занимала мысль – как хорошо было бы ему, владеющему идеей истины, соединиться с Пушкиным, великим русским поэтом, чтобы общими силами двинуть Россию вперед. До нас дошла одна его записка к Пушкину, писанная, вероятно, в 1829 году. Это призыв и укор, где истина пытается увлечь на свой путь красоту, не догадываясь, что красота – и сама истина, но укор, полный любви, и призыв, трогательный, как молитва.

«Самое пламенное мое желание, мой друг, – пишет Чаадаев, – видеть вас посвященным в тайну времен. Нет более прискорбного зрелища в нравственном мире, как гениальный человек, не постигший своего века и своего призвания. Когда видишь, что тот, кто должен был бы властвовать над умами, сам подчиняется власти привычек и рутине толпы, тогда чувствуешь себя сам задержанным в своем движении; тогда говоришь себе: зачем этот человек, который должен бы вести меня, мешает мне идти вперед? Именно это я испытываю каждый раз, когда думаю о вас, и я думаю об этом так часто, что это меня совершенно удручает. Не мешайте же мне идти, прошу вас. Если у вас не хватает терпения ознакомиться с тем, что совершается в мире, уйдите в себя и из собственных недр вынесите тот свет, который неизбежно есть во всякой душе, подобной вашей. Я убежден, что вы могли бы сделать безмерное благо этой бедной России, заблудившейся на земле. Не обманывайте своей судьбы, мой друг. Последнее время по-русски читают всюду; вы знаете, что Булгарина перевели и поставили рядом с Жуи; что же касается вас, то нет нумера журнала, где бы о вас не было речи. Я нашел имя моего друга Гулянова упомянутым с почтением в толстой книге, а знаменитый клапот в знак признания подарил ему египетскую корону; можно сказать, он потряс пирамиды на их основах. Видите, как много славы вы можете себе добыть. Киньте крик к небу – оно вам ответит».

«Я говорю вам все это, как видите, по поводу книги, которую посылаю вам. Так как в ней говорится понемногу обо всем, то она, может быть, пробудит в вас несколько добрых мыслей. Простите, мой друг. Я говорю вам, как Магомет арабам, – о, если бы вы знали!» [93 – Письмо Чаадаева Пушкину, приблизительно датированное мартом – апрелем 1829 г. (оригинал – по-французски) – несколько иная редакция перевода в последнем издании переписки Пушкина. См.: Переписка А. С. Пушкина в двух томах. Том 2. М.: Художественная литература, 1982. С. 270.]

Чаадаев возвращался к этому потом еще не раз. В 1831 году он писал Пушкину: «Несчастье, друг мой, что не пришлось нам с вами теснее сойтись в жизни. Я по-прежнему стою на том, что мы с вами должны были идти вместе и что из этого вышло бы что-нибудь полезное и для самих нас, и для ближнего» [94 – Письмо Чаадаева Пушкину от 17 июня 1831 г. В последнем издании писем Чаадаева этот текст выглядит следующим образом: «Это – несчастье, мой друг, что нам не пришлось в жизни сойтись ближе с вами. Я продолжаю думать, что нам суждено было

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org
идти вместе, и что из этого воследовало бы нечто полезное и для нас и для других» (Чаадаев П. Я. Полное собрание сочинений и избранные письма в 2-х томах (Серия «Памятники философской мысли»). Том 2. М.: Наука, 1991. С. 67) – в этом издании перевод дается по тексту редакционного перевода журнала «Русский архив».]. Я приведу здесь одно из немногих уцелевших писем Чаадаева к Пушкину, писанное в сентябре 1831 г. [95 – Письмо Чаадаева Пушкину от 18 сентября 1831 г.], то есть когда Чаадаев уже вернулся в московское общество, стал бывать в английском клубе и принимать у себя друзей; оно лучше познакомит читателя с Чаадаевым второго периода и с его отношением к Пушкину, чем мы могли бы это сделать на многих страницах. Для ясности надо сказать, что «переворот», о котором идет речь в письме, – июльская революция и последовавший за нею, как раз летом этого 1831 года, бурный антиклерикальный взрыв во Франции, когда народ жег церкви, рубил кресты и пр. Эта революция ужаснула Чаадаева. Он видел в ней буйный разгул материальных сил, катастрофу, способную надолго задержать ход всемирного религиозного процесса.

«Ну, мой друг [31 – Русский Архив. 1881. Т. 1. С. 431–438. Подлинник по-французски.] [96 – Гершензон, очевидно, дает свой собственный перевод данного письма, так как редакционный перевод его выглядит несколько иначе (см.: Чаадаев... Т. 2. 1991. С. 69–73, 286).], что же вы сделали с моей рукописью, уж не пристала ли к ней холера? Говорят, впрочем, у вас холера не показывалась. Разве не сбежала ли рукопись как-нибудь? В таком случае, пожалуйста, дайте знать. У меня было большое удовольствие увидеть опять ваш почерк. Он мне напомнил то прежнее время, в котором, сказать правду, было немного хорошего, но когда еще жива была надежда, когда еще не наступала пора великих разочарований. Понимаете, я говорю о себе; но и вам, думается, было лучше, когда еще не до дна исчерпалась действительность. Друг мой, ваша действительность была светла и блестяща; но существует ли такая действительность, которая могла бы сравняться с обманчивыми ожиданиями и предчувствиями, лживыми призраками блаженного возраста неведения?

«Вам, говорили вы, хотелось бы побеседовать; давайте беседовать. Но берегитесь: я, вы знаете, не из веселых, а вы – человек нервный. Ну те, о чем мы станем беседовать? У меня одна идея, вы это знаете. Если бы, по какой-нибудь случайности, и оказались в моем мозгу еще какие-нибудь другие мысли, то они не замедлили бы приклеиться все к той же одной идее: глядите, будет ли это вам удобно? Если бы вы еще возбудили во мне какие-нибудь мысли от вашего мира, если бы вы вызвали меня! Но вам угодно, чтобы я заговорил первый, быть так; но еще раз, право, берегите нервы!

«Вот что я вам собираюсь сказать. Приметили ли вы, что в недрах нравственного мира совершается нечто чрезвычайное, подобное тому, что, говорят, происходит в недрах физического мира? Скажите же, как это на вас действует? По-моему, в этом великом перевороте – поэзия природы; а вы не можете оставаться к нему равнодушным, уже потому, мне кажется, что в этом предостается обильная пища для эгоизма поэта. Есть ли возможность не чувствовать себя задетым в своих самых сокровенных чувствах, когда задеваются все основы человеческой природы! На днях мне случилось видеть письмо вашего приятеля, великого поэта [32 – Жуковского.]: это беззаботная веселость, наводящая ужас. Скажите на милость, каким это образом человек, который в былое время печалился по всякому поводу, не находил в себе ни малейшей скорби теперь, когда валится целый мир?! Ибо, поглядите, друг мой, разве же это не погибель мира? Разве тот, кто неспособен предчувствовать иной, новый мир, имеющий возникнуть на месте прежнего, может видеть во всем этом что-нибудь, как не одно ужасное разрушение?! Неужели и у вас тоже не найдется по этому поводу ни одной мысли, ни одного чувства? Я уверен, что мысль эта, чувство, они есть у вас, только запрятанные глубоко, неведомо для самих вас, в каком-нибудь затаенном уголке вашей души; пробиться на свет божий им нельзя – они затеряны под грудой старых понятий, привычек и условностей, из каких, что ни говорите, неизбежно слит всякий поэт, что он ни делай; ибо, друг мой, со дней индуса Вальмики, певца Рамаяны, и греческого Орфея, до шотландца Байрона, все до одного поэты обречены до сего дня пересказывать вечно одно и то же, в каком бы уголке вселенной ни раздавалась их песнь.

«О, как бы хотелось мне разом вызвать наружу всю мощь вашего поэтического дарования! Как бы хотелось мне теперь же добыть из ее глубины все, что, я знаю, таится в ней, дабы и вы дали нам услышать один из тех гимнов, которых жаждет век наш! О, тогда как поразилась бы вы мгновенно всем, что теперь проходит перед вами, не оставляя ни малейшего следа в вашем духе! Как преобразилось бы тогда все пред вашим взором!

«А покамест давайте все-таки побеседуем. Недавно, всего какой-нибудь год назад, мир жил себе с чувством спокойной уверенности в своем настоящем и будущем, мирно припоминая свое прошедшее и поучаясь им. Дух возрождался в спокойствии, память человеческая обновлялась, мнения примирялись, стихала страсть, раздражения не находили себе пищи, честолюбие получало удовлетворение в прекрасных трудах, все потребности человека мало-помалу сводились в пределы умственной сферы, все интересы были готовы сойтись на едином интересе всеобщего прогресса разума. Для меня это было – вера, доверчивость бесконечная! В этом счастливом мире мира, в этом будущем я обретал и мой собственный мир, видел мое собственное будущее. И случилась вдруг глупость одного человека, одного из тех людей, которые, неведомо для них самих, бывают призваны управлять человеческими делами, – и вот: спокойствие, мир, будущее, все вдруг разлетелось прахом. Подумайте хорошенько: все это произведено не одним из великих событий, сокрушающих царства и народы; нет, дурасть одного человека! Вам в том вихре, в котором вы вращаетесь, нельзя было почувствовать этого так, как почувствовал я: это понятно. Но может ли быть, чтобы это изумительное приключение, которому еще не бывало подобных, всецело отмеченное перстом промысла, представлялось вам лишь обыденной прозой, или много-много дидактической поэмой, вроде какого-нибудь Лиссабонского землетрясения, для вас ни к чему непригодной.

«Быть этого не может! Нет, у меня, я чувствую, слезы навертываются, когда погляжу на это великое бедствие старого, моего старого общества. Это всеобщее горе, обрушившееся столь внезапно на мою Европу, усугубило мое личное горе. А, между тем, да, так! Из всего этого имеет выйти одно только благо; я глубоко убежден в этом и имею утешение видеть, что не один я не теряю надежды на образумление разума. Но как и когда это совершится. Одним ли сильным умом, нарочно посланным на сие провидением, или рядом событий, которые оно вызовет для просвещения человечества? Не ведаю. Но какое-то смутное чутье говорит мне, что скоро имеет явиться человек поведать нам истину, потребную времени. Кто знает, быть может, это будет, во-первых, нечто вроде той политической религии, что Сен-Симон теперь проповедует в Париже; либо католицизм нового рода, каким некоторые дерзновенные священники хотят заменять католицизм, созданный и освященный веками. Отчего и не так? Какое дело, тем ли, иным ли способом будет дан первый толчок тому движению, которое долженствует завершить судьбы человечества! Многое предшествовавшее тому великому моменту, в который божественный посланник некогда возвестил миру благую весть, было предназначено приготовить мир; многomu подобному суждено, без сомнения, совершиться и в наши дни, прежде чем и нам будет принесено новое благовестие с небес. Будем ждать».

В последних строках письма Чаадаев выражает надежду найти отклик в душе поэта. «От вас будет зависеть заставить меня взяться за перо опять; немножко сочувствия в вашем будущем письме! Г. Нащокин рассказывает, что вы страшно ленивы; поройтесь-ка немножко у себя в голове, и особенно в сердце, которое умеет биться так горячо, когда захочет: вы отыщете в нем больше материалов, чем нужно нам на все остальные годы наши. Прощайте, старый и добрый друг. А рукопись-то моя? Чуть было и не позабыл. Пожалуйста, вы-то не позабудьте».

В 1836 г., когда в «Телескопе» было напечатано знаменитое «философическое письмо», Чаадаев послал один оттиск Пушкину, и Пушкин отозвался обширным, внимательно обдуманном письмом, которое дошло до нас в двух черновиках; оно осталось непосланным, как думают, потому, что Пушкин до отсылки его узнал о буре, вызванной чаадаевским письмом в официальных сферах. Письмо Пушкина носит явные следы осторожности и умолчаний на тот конец, если бы оно попало в ненадлежащие руки. Во всяком случае, оно чрезвычайно замечательно. Основную идею Чаадаева, его философию истории, Пушкин опять обходит молчанием.

Скорее можно думать, что он принимает ее, – по крайней мере, в своих возражениях он от нее исходит. Его замечания касаются исключительно прикладной стороны чаадаевской теории – его взгляда на Россию; они настолько последовательны, что в главном Чаадаев и сам уже несколько раньше додумался до них, и так полны ума и чувства, как мог писать тогда о России, кроме Чаадаева, один Пушкин [97 – Письмо от 19 октября 1836 г. не было отправлено Чаадаеву. Гершензон, очевидно, имеет в виду следующие рассуждения Пушкина о России: «<...> У греков мы взяли евангелие и предания, но не дух ребяческой мелочности и словопрений. Нравы Византии никогда не были нравами Киева. Наше духовенство до Феофана было достойно уважения, оно никогда не пятнало себя низостями папизма и, конечно, никогда бы не вызвало реформации в тот момент, когда человечество больше всего нуждалось в единстве.

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org

<...> Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с вами согласиться <...> Татарское нашествие – печальное и великое зрелище. Пробуждение России, развитие ее могущества, ее движение к единству (к русскому единству, разумеется), оба Ивана, величественная драма, начавшаяся в Угличе и закончившаяся в Ипатьевском монастыре, – как, неужели все это не история, а лишь бледный и полузабытый сон? А Петр Великий, который есть целая всемирная история! А Екатерина II, которая поставила Россию на пороге Европы? А Александр, который привел нас в Париж? <...> я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как литератора – меня раздражают, как человек с предрассудками – я оскорблен, – но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам бог ее дал». – Переписка Пушкина. Т. 2. С. 289–290. Оригинал на франц. яз.].

В самый год смерти Пушкина Чаадаев, высочайше объявленный за свое «философическое письмо» сумасшедшим, начал писать «Апологию сумасшедшего», и здесь, смягчая свой прежний безнадежный отзыв о России, он сказал: «Наконец, может быть, преувеличением было опечалиться на минуту о судьбе народа, из недр которого вышли могучая натура Петра Великого, всеобъемлющий ум Ломоносова и грациозный гений Пушкина». В 1837 году так оценит национальное значение Пушкина умели, конечно, немногие.

Чаадаев пережил Пушкина почти на двадцать лет[98 – П. Я. Чаадаев умер 14 апреля 1856 г., т. е. через 19 лет, 2 месяца и 4 дня после кончины А. С. Пушкина.]. Он гордился дружбой поэта и старался, чтобы и другие не забывали о ней. Уж он не преминет, поглаживая свой голый череп, обстоятельно рассказать новому знакомому историю этой дружбы и услуги, оказанной им Пушкину, когда он «спас» его от Соловков; еще незадолго до смерти, когда П. И. Бартенев начал печатать в «Московских Ведомостях» материалы для биографии Пушкина, он был крайне уязвлен умолчанием в них о себе и нажаловался на молодого автора Шевыреву до нельзя обиженным письмом[99 – Речь идет о письме Чаадаева к С. П. Шевыреву, датированному октябрём 1854 г. Оно впервые было опубликовано в Собрании сочинений и писем Чаадаева под ред. М. О. Гершензона (1913). В этом письме Чаадаев справедливо указывает на то, что «автор статей ни слова не упоминает обо мне <...> Признаюсь, это умышленное забвение отношений моих к Пушкину глубоко тронуло меня. Давно ли его не стало, а вот как правдолюбивое потомство, в угодность к своим взглядам, хранит предания о нем! Пушкин гордился моею дружбою, он говорил, что я спас от гибели его и его чувства, что я воспламенял в нем любовь к высокому, а г. Бартенев находит, что до этого никому нет дела <...> Не пустое тщеславие побуждает меня говорить о себе, но уважение к памяти Пушкина, которого дружба принадлежит к лучшим годам жизни моей» (Чаадаев... Т. 2. С. 273).]. Но правда требует сказать, что Пушкин действительно любил его, как немногих. Узнав об отъезде Чаадаева за границу, он порадовался за него, но эгоистически огорчился: «Любимая моя надежда была с ним путешествовать. Теперь бог знает, когда свидимся». Вскоре по приезде в Михайловское, в 1824 г., он вместе с перстнем, без которого ему «грустно», велит брату прислать себе и портрет Чаадаева. Друзья знают его слабость к Чаадаеву: когда Нащокин, недолюбливавший Чаадаева, хочет в письме к Пушкину (уже в 30-х годах) сделать о нем критическое замечание, он оговаривает: «Еще с позволения вашего скажу (ибо ты не любишь, чтобы я об нем говорил), рука на сердце, говорю правду, что он еще блуждает», и проч.

Проходя мимо церкви Вознесения у Никитских ворот в Москве, вы непременно каждый раз вспомните, что здесь венчался Пушкин, – и что-то милое, уютное, родное глянет на вас и с этого ветхого домика насупротив, и из крутого переулочка, откуда входят в церковь. Особенное очарование лежит для нас на всем, до чего в своей жизни дотронулся Пушкин. И потому, как ни значителен для нас Чаадаев сам по себе, как ни дорого нам его собственное наследие, дружба с Пушкиным что-то еще прибавляет ему: одна из самых теплых черт его облика, несомненно, заключается в том, что его любил Пушкин.

Граф Нулин[100 – Впервые в изд.: Пушкин А. С. Граф Нулин. Снимок с издания 1827 г., отредактированного самим А. С. Пушкиным. С приложением статьи М. О. Гершензона. М.: Изд. М. и С. Сабашниковых, 1918. С. 1–3.]

Как Белинский семьдесят лет назад определил «химическое содержание» этой поэмы и согласно своему определению поставил ее на полочку, так она и до сих пор красуется на той же полочке, выделяясь четкой наклейкой: «Грациозная шутка и первый опыт русского натурализма». Действительно, анализ привел Белинского к такому заключению: «Граф Нулин» – не более, как легкий сатирический очерк одной стороны нашего общества, но очерк, сделанный рукою в высшей степени художественною... В этой повести все так и дышит русскою природою, серенькими красками русского деревенского быта. Здесь целый ряд картин в фламандском вкусе, – и ни одна из них не уступит в достоинстве любому из тех произведений фламандской живописи, которые так высоко ценятся знатоками. Что составляет главное достоинство фламандской школы, если не уменье представлять прозу действительности под поэтическим углом зрения? В этом смысле «Граф Нулин» есть целая галерея превосходнейших картин фламандской школы». В подтверждение этой мысли указывается, что «в лице графа Нулина поэт с неподражаемым мастерством изобразил одного из тех пустых людей высшего светского круга», и т. д. – «Наталья Павловна – тип молодой помещицы новых времен», и т. д., – горничная Наталья Павловны – «тип всех русских горничных» такого-то рода. И в заключение: «Говорить ли, что вся поэма, исполненная ума, остроумия, легкости, грации, тонкой иронии, благородного тона, знания действительности, написана стихами в высшей степени превосходными?» [101 – Гершензон цитирует «Статью седьмую» большой работы В. Г. Белинского «Сочинения Александра Пушкина». Эта статья включает в себя разбор поэм «Цыганы», «Полтава» и «Граф Нулин». См.: Белинский В.Г. Т.6 С. 359, 361, 362.]

Приговор Белинского тотчас вошел в силу и господствует донныне. В 4-м томе большого Академического издания Пушкина, помеченном 1916 годом, П. О. Морозов кончает свою прекрасную историко-литературную статью о «Графе Нулине» строками, целиком повторяющими суждение Белинского: «Нулин явился в нашей литературе первой ласточкой того нового направления, которое впоследствии, в эпоху Мертвых душ, получило название «натуральной школы...» Сама по себе незначительная повесть Пушкина для своего времени была и большою смелостью, и своего рода литературным откровением. Пять лет спустя за нею последовали «Повести Белкина» [102 – Статья П. О. Морозова «Граф Нулин» появилась во II томе издания Пушкина под редакцией С. А. Венгерова в серии «Библиотека великих писателей». СПб., 1908. С. 387–392. Цитаты, приводимой Гершензоном, в данной статье нет.]

Белинский и не мог оценить поэму Пушкина иначе, нежели он это сделал; но чем можно извинить простодушие позднейших критиков, которым уже было известно то, чего не знал Белинский, – объяснение самого Пушкина о замысле его маленькой поэмы? Это объяснение напечатал еще Анненков в своих «Материалах для биографии Пушкина», – правда, не полностью, хотя перед ним был полный текст. Сам Анненков видел в этой записи только подтверждение установившейся уже мысли, что «Граф Нулин» – веселая шутка; он предпосылает строкам Пушкина такие слова: «Сказочка эта (то есть «Граф Нулин»)... обязана происхождением забавной мысли, которую сам автор рассказывает на одном клочке бумажки» и т. д. – и, приведя запись Пушкина, замечает: «Так справедливо, что против шутки Пушкин не мог устоять». С тех пор все, кому случалось писать о «Графе Нулине», неизменно приводили и запись Пушкина, объясняя ее так же, как Анненков; в Венгеровском издании Пушкина один из комментаторов, сообщая, что «Граф Нулин» есть плод возрождавшейся о ту пору в Пушкине «жизнерадостности, принимавшей по временам бравурную, экзальтированную форму», плод «заразительного веселья», сообщает и запись поэта, говоря: «полна юмора уже заметка о происхождении этой поэмы». Но и полный текст ее, впервые сообщенный П. О. Морозовым в названной статье, не помешал ему же повторить суждение Белинского, основанное на недостаточном знании.

Вот запись Пушкина в приблизительно точном списке.

«В конце 1825 года находился я в деревне. Однажды, перечитывая Лукрецию, довольно слабую поэму Шекспира, я повторил пошлое замечание о мелких причинах великих последствий. Я подумал: что если б Лукреции пришло в голову дать пощечину Тарквинию? Быть может, это охладило б его предприимчивость, и он со стыдом принужден был отступить? Лукреция б не зарезалась, Публикола не взбесился бы, Брут не изгнал царей (зачеркн. цари под покровом) и мир и история мира были бы не те. Итак, республикою, консулами, диктаторами, Катонами, Цесарем мы

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org
обязаны соблазнительному происшествию, подобному тому, которое случилось недавно в моем соседстве, в Новоржевском уезде. – Мысль пародировать историю и Шекспира мне представилась, я не мог воспротивиться двойному искушению и в два утра написал эту повесть. Я имею привычку на моих бумагах выставлять год и число. Гр. Нулин писан 13 и 14 дек. Бывают странные сближения...» [103 – Эта заметка написана А. С. Пушкиным в 1830 г., опубликована П. В. Анненковым в 1855 г. (VII.с. 156, 488).]

На этом слове запись обрывается.

Надо прибавить, что сообразно с этим замыслом Пушкин первоначально думал озаглавить свою поэму – «Новый Тарквиний»; это заглавие написано карандашом в черновой. Там же имеется и собственноручная дата – Михайловское, 13 декабря 1825. В самой поэме ее происхождение не обнаружено ничем, если не считать упоминания имен Лукреции и Тарквиния.

В надежде сладостных наград,
К Лукреции Тарквиний новый
Отправился, на все готовый...

и вторично:

Она Тарквинию с размаха
Дает пощечину...

Что же говорит нам приведенная сейчас запись? Ее смысл ясен: задумывая свою поэму, Пушкин отнюдь не ставил себе целью ни написать веселую шутку в стихах, ни нарисовать жанровую картину из русского помещичьего быта. «Граф Нулин» стал тем и другим по форме, и в этом Белинский и его последователи совершенно правы; Пушкин одел свою мысль в жанровую и шутливую одежду, мастерски шитую, но ведь одежда, есть только одежда, прикрытие, и ничего больше. Лермонтов был великий поэт, и вместе офицер: что мы сказали бы о его военном начальстве, которое оценивало его, вероятно, только по его офицерским качествам? Не так ли, по внешности, судит и наша критика о «Графе Нулине»?

Мысль Пушкина ясна из его записи. Вот происшествие: насилие Тарквиния над Лукрецией; это происшествие явилось причиной громадных исторических событий; что же: должны ли мы думать, что в самой сущности его были заложены и неизбежность, и самый характер этих всемирных последствий, как в малом зерне – весь будущий колос? Но ведь точно такие же зерна, как это, попадают на всюду; стоит только нагнуться, чтобы подобрать такое зерно. Нет ничего легче, как взять одно из них и исследовать его, так сказать, химически, тогда будет ясно, присуща ли ему в самом деле творческая сила этого определенного порядка. Зерно-событие – попытка постороннего мужчины овладеть замужней женщиной: Пушкин берет такое зерно и на глазах читателя разлагает его на составные части. Весь анализ он производит сравнительно: вот историческое зерно – Тарквиний – Лукреция, и вот экспериментальное зерно – граф Нулин – Наталья Павловна. До половины анализ обоих совпадает вполне: там и здесь – отлучка мужа, приезд сластолюбца, его беседа с женою, ее рукопожатие, его ночное возбуждение, наконец, его преступная попытка. Но тут, в кульминационном пункте, тожество вдруг прерывается: Лукреция поддалась насилию, Наталья Павловна отражает насилие. Вследствие этого крошечного отклонения дальнейший ход происшествия дает в обоих случаях две далеко расходящиеся линии – там трагедию, сперва только личную, а в последствиях своих – и мировую, здесь – анекдот, разрешающийся смехом. Итак, не самое происшествие по существу, а только одна микроскопическая часть его послужила причиной исторических событий; и эта частность в нем – вовсе не органическая; она случайна; она была, но могла и не быть; ведь чистая случайность, что Лукреции «не пришло в голову» то, что «пришло в голову» пустынькой Наталье Павловне, – дать пощечину насильнику. Из этой-то микроскопической случайности развился колоссальный ряд потрясений – изгнание царей из Рима, установление республики, и т. д.; она, такая ничтожная, своими последствиями перевернула мир, можно сказать даже – поколебала самое небо: именно это, по-видимому, хотел сказать Пушкин в зачеркнутых словах: «Цари под покровом» – богов.

Итак, Пушкин экспериментальным путем выделил подлинное творческое ядро события – и оно оказалось еле заметной пылинкой, какими полна человеческая жизнь.

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org

Обыкновенная, ничтожная пылинка оказалась заряженной динамитом; попав в ту среду: Рим, цари, Брут, – в среду, очевидно, благоприятную для взрыва, она вызвала местный и потом всеобщий взрыв. Не таков ли всеобщий закон человеческой жизни, личной и исторической? Вся она состоит из пылинок – из происшествий, индивидуальных поступков и случайностей, и каждая пылинка по составу своему – динамит: все дело в том, попадет ли она в горючий материал, или не попадет. Вот эта колоссальная взрывчатая сущность каждого материального атома и поразила Пушкина в драме Лукреции; отсюда замысел его поэмы, – и мысль свою он облек в форму комического «фламандского» жанра, которую одну и видела критика. «Граф Нулин» – вовсе не шалость пера; недаром Пушкин несколько лет спустя, защищая эту свою поэму против упреков в скабрёзности, свидетельствовал, что она писана, «будь сказано мимоходом, самым трезвым и благопристойным образом».

Теперь уже положительно известно, что приведенная выше запись Пушкина писана не ранее 1829 года: он упоминает в ней о сходном происшествии, случившемся недавно в его соседстве в Новоржевском уезде; в дневнике А. Н. Вульфа, изданном в 1916 г. [104 – Неточная ссылка. Речь идет об издании: Дневник Алексея Николаевича Вульфа 1828–1831 гг. С предисловием и примечаниями М. Л. Гофмана и с приложением портрета А. Н. Вульфа. Отдельный оттиск из изд. «Пушкин и его современники». Вып. XXI–XXII. Петроград. Типография Императорской академии наук, 1915. 340 с.], рассказано это происшествие, на которое намекает Пушкин: оно случилось в феврале 1829 г. с самим Вульфом, на глазах Пушкина (неудачное ночное путешествие Вульфа в комнату молоденькой поповны). А запись Пушкина состоит, как сразу видно, из двух частей: вся она занята изложением мыслей, предшествовавших в нем созданию поэмы; но последний абзац, о дне ее написания, должен был содержать размышление Пушкина, возникшее уже в позднейшее время. «Граф Нулин» был написан 13 и 14 декабря 1825 года. В этот последний день, как известно, произошел в Петербурге бунт декабристов. Известно, как думал Пушкин о своей судьбе в связи с казнью, постигшей декабристов; не раз воспроизводилась та страница его рукописи, где нарисована виселица с пятью повешенными и вплотную над нею начата фраза: «И я бы мог как шут на»... и ниже на странице опять: «И я бы мог», и внизу страницы снова та же виселица. И вот, с этой мыслью о гибели, возможной для него и случайно избегнутой, Пушкин однажды заметил, что в тот самый день, когда гибель могла его постигнуть, он писал «Нулина» – рассказ о пылинках, решающих участь людей и царств; и быть может, он вспомнил о такой же пылинке, счастливо решившей его участь на этот раз, – о каком-нибудь мелком происшествии, помешавшем ему стать участником декабрьского мятежа или даже только быть в тот день в Петербурге, – и его поразила мысль, что именно в тот роковой для него день он писал о роковой силе пылинок: вот на что намекает начатая им фраза: «Бывают странные сближения...» Он, может быть, думал: «Точно тайное предчувствие «грозы незримой», витающей надо мной в тот день, водило моим пером, когда я писал «Нулина». Известно, что о том же своем спасении от декабрьской грозы он рассказал в стихотворении «Арион» именно как о чуде:

Лишь я, таинственный певец,
На берег выброшен грозою...

словно сама стихия оберегла его, свое дитя. Не оберегла ли она его, как раз послав ему в должный час ту пылинку, то происшествие, – может быть, зайца, перебежавшего дорогу, – которое и спасло его от декабрьского разгрома?

Все эти мысли свои, внушившие ему план и вдохновение поэмы, Пушкин утаил от читателей. Так он поступал всегда и совершенно сознательно. Замысел должен быть скрыт; он должен быть лишь, как ветер для судна, дающий направление судну и стремительностью своей направляющий паруса. Этот постоянный прием являлся у Пушкина, прежде всего, неизбежным следствием его теории искусства, а затем – и умышленным изъявлением его презрения к публике. Как он сам однажды сказал:

Станным сном
Бывает сердце полно...
Тогда блажен, кто крепко словом правит
И держит мысль на привязи свою.

Он не только утаивал свой замысел – он еще издевался над читателем, который ведь будет искать «мораль» и непременно найдет ее, носящую его собственный образ и подобие, и любил сам заранее подавать ее читателю именно такую. Так он закончил и «Нулина»:

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org
Теперь мы можем справедливо
Сказать, что в наши времена
Супругу верная жена,
Друзья мои, совсем не диво.

Как весело он, вероятно, хохотал, прочитав в 1828 году, по выходе «Графа Нулина», отзыв Погодина о своей поэме! Погодин защищал ее от хулителей и поучал: «Строгие аристархи спрашивают о нравственной цели в этой пьесе. Вот она, если им того хочется (далее курсив самого Погодина); нескромные желания людей худо награждаются» [105 – Гершензон ошибся. В 1828 г. Погодин писал не о «Графе Нулине», а о IV и V главах «Евгения Онегина». См.: Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. Кн. 2. 2-е изд. СПб., 1904. С. 178–185. В данном случае речь идет об отзыве Н. И. Надеждина: «Первою жертвою этого государственного секретаря (по выражению Погодина) был Граф Нулин. В 1828 году в Петербурге вышла книжечка, заключающая в себе две повести в стихах: «Бал» (Баратынского) и «Граф Нулин» (Пушкина). Надеждин в «Вестнике Европы» (1829, № 2, с. 113, 151–171, 215–230) написал на эту книжечку разбор. Еще в другой своей статье под заглавием «Сонмище нигилистов» он заметил: «Литературный хаос, осеменяемый мрачною философиею ничтожества, раздражается нулиными! Множить ли, делить ли нули на нули – они всегда остаются нулями! Неужели бедной нашей литературе вечно мыкаться в мрачной преисподней губительного нигилизма? <...> Никогда произведение не соответствовало так вполне носимому им имени. Граф Нулин есть нуль во всей математической полноте значения этого слова». Кончается разбор следующим общим замечанием: «Это суть прыщички на лице вдовствующей нашей литературы! Они и красивы, и пухлы, и зрелы». Итак, по приговору Надеждина Пушкин и Баратынский суть прыщички нашей литературы». <...> Критика эта возмутила Пушкина до глубины души. «Граф Нулин, – писал он, – наделал мне больших хлопот. Нашли его, с позволения сказать, похабным, – разумеется, в журналах; в свете приняли его благосклонно и никто из журналистов не захотел за него вступиться. <...> (VII. С. 129. – Е.Л.). Как отмечает далее в своей книге Барсуков: «Погодин в своем «Дневнике» записал: «Целое утро убеждал Пушкина, чтоб он не намекал на царскую цензуру своим критикам. Бесится без памяти за обвинение в безнравственности». Нас крайне удивляет, что Погодин, будучи столь близок к Пушкину, не только был равнодушен к выходкам Надеждина против Пушкина, но даже одобрял их и даже писал Шевыреву: «Надеждин вооружился против Пушкина и говорил много дела между прочим, хотя и семинарским тоном». (См.: Барсуков. Указ. соч. С. 343, 345, 346.)]. Спустя пять лет после «Нулина» Пушкин снабдил свой «Домик в Коломне» еще более саркастическим заключением – моралью о том, что кухарку даром нанимать опасно и что мужчине рискованно рядиться в женское платье, так как борода или ее бритые когда-нибудь неминуемо выдадут его. «Вот вам философия, какая вам доступна и нужна;

Больше ничего
Не выжмешь из рассказа моего».

«Граф Нулин» был написан в Михайловском, по свидетельству самого Пушкина, – «в два утра», 13 и 14 декабря 1825 года. Сохранились две собственноручные рукописи поэмы, одна – в архиве А. Ф. Онегина, другая – у гр. Шереметева, обе беловые, но с многочисленными карандашными поправками; онегинская содержит очень большое количество разночтений сравнительно с печатным текстом, несомненно, предшествующих последнему; напротив, варианты шереметевской немногочисленны и незначительны. Онегинская рукопись представляет собою тетрадку в 14 листов бумаги в осьмушку; на первой странице карандашом написано заглавие: «Новый Тарквиний»; тут же дата: 1825. Михайловское, и рисунок карандашом: скачущий всадник – очевидно, муж Натальи Павловны – с собакой впереди и в конце рукописи пометка: 1825 – дек. 13. Полный текст Онегинской рукописи и разночтения Шереметевской напечатаны П. О. Морозовым в IV томе большого Академического издания сочинений Пушкина. Первоначально Пушкин отдал в печать только первые 30 стихов «Нулина», кончая стихом: «Опустошительный набег», они появились под заглавием: «Отрывок из повести Граф Нулин», в четвертой книжке «Московского Вестника» за 1827 год, вышедшей в свет в середине февраля. 20 июля 1827 г. Пушкин представил «Нулина» вместе с несколькими другими своими произведениями, на рассмотрение А. Х. Бенкендорфа; 22 августа Бенкендорф известил его о разрешении его пьес для печати, причем о «Нулине» писал «Графа Нулина государь император изволил прочесть с большим удовольствием и отметить своеручно два места, кои его величество желает видеть измененными, а именно следующие два стиха:

Порою с бариним шалит

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org
Отдельный оттиск из издания «Пушкин и его современники». Вып. IX–X. СПб.:
Типогр. Императорской Академии наук, 1910. С. 67–68. (Воспроизводится по
факсимильному изданию: М.: Книга, 1988.)].

С Н. В. Всеволожским, своим сверстником (род. в 1799 г.), Пушкин издавна был в приятельских отношениях[108 – Всеволожский Никита Всеволодович (1799–1862) – с ноября 1816 г. актуариус коллегии иностранных дел, с марта 1829 г. служил по ведомству Тифлисского губернатора; позднее камергер, действительный статский советник, основатель литературно-политического общества «Зеленая лампа». Знакомство и общение с ним Пушкина началось по окончании Лицея – в Коллегии иностранных дел, где они оба служили, на вечерах А. А. Шаховского, на заседаниях «Зеленой лампы». «Дом Всеволожских» Пушкин намеревался вывести в неосуществленном романе «Русский Пелам». Пушкин был также знаком с семьей Всеволожского: женой Варварой Петровной, сыном Всеволодом и отцом Всеволодом Алексеевичем (Черейский-2. С. 82–83).]. Они подружились в 1818 или 1819 г., когда Всеволожский, основав веселое общество «Зеленой лампы», привлек в него и Пушкина. Богач и весельчак, камер-юнкер в 19 лет, страстный театрал, Всеволожский был центром петербургской золотой молодежи. В известном послании к нему 1819 года Пушкин называет его: «счастливый сын пиров, балованный дитя свободы»[109 – Первые строки послания «Всеволожскому» выглядят так: «Прости, счастливый сын пиров, Балованный дитя свободы!» (I. С. 326).], а позднее, с юга, не раз вспоминал в письмах веселые пирушки в доме Всеволожских, где рекой лилось шампанское и где ночи напролет шла азартная игра[110 – Речь идет о письмах Пушкина Л. С. Пушкину и О. С. Пушкиной от 27 июля 1821 г. из Кишинева в Петербург: «... Вот еще важное: постарайся свидеться с Всеволожским – и возьми у него на мой счет число экземпляров моих сочинений... – экземпляров 30. Скажи ему, что я люблю его... что я помню вечера его, любезность его... Лампу его – и все елико друга моего <...>»; Л. С. Пушкину 4 сентября 1822 г., Я. Н. Толстому 26 сентября 1822 г. – также из Кишинева в Петербург (X. С. 26, 37, 38).]. Эта игра причинила Пушкину впоследствии немало хлопот; именно, перед ссылкой он проиграл Всеволожскому в сумме тысячи рублей приготовленную к печати рукопись своих стихотворений, и потом целые годы старался через брата и других получить ее обратно, что удалось только в начале 1825 года. Всеволожский, дороживший рукописью, конечно, не как денежным залогом, отдал ее Льву Сергеевичу безвозмездно, и когда Пушкин все-таки настаивал на уплате долга, соглашался принять только 500 руб. 14 марта 1825 г. Пушкин пишет брату: «Всеволожский со мной шутит: я должен ему 1000, а не 500; переговоры с ним и благодарю очень за рукопись. Он славный человек, хоть и женится»[111 – Письмо из Тригорского в Петербург (X. С. 101).]. Всеволожский, женившись на княжне Хованской, в августе этого же года уехал на Кавказ, где у него были большие имения в Кавказском и Кизлярском уездах[33 – «Архив Раевских». Ред. и прим. Б. Л. Модзалевского СПб., 1909. Т. II. С. 97, прим. 2; Модзалевский Б. Л. Библиотека Пушкина (Пушкин и его современники. IX–X.). С. 68.]. Ближайшие два года, до своего определения на службу в Тифлис, он жил, по-видимому, то в своих южных поместьях, то в Петербурге или Москве.

И вот, из книжки Н.Н. мы узнаем, что в мае 1827 года Всеволожский со своей молоденькой женой предпринял поездку к минеральным водам и в Грузию. Для нас было бы любопытно узнать, откуда они пустились в путь. Н.Н. был житель Астрахани. Он рассказывает, что по уговору должен был встретиться с Всеволожским, для дальнейшего совместного следования, на Форпостинской станции, то есть на другой стороне Волги против Астрахани; дождавшись их здесь, он вместе с ними поехал за 300 верст в имение Всеволожского Черный Рынок, где они прожили две недели, с 21 мая по 4 июня. Здесь причт встретил их молебном, дворовые – хлебом-солью, крестьяне чествовали хороводами. Всеволожский осматривал вместе с Н.Н. свое обширное хозяйство – рыбные ловли, табачные и рисовые плантации, виноградники и пр. – как в самом Черном Рынке, так и в дальних своих селах и хуторах. Ясно, что он здесь не был, по крайней мере, с прошлого года; значит, свое путешествие он предпринял не отсюда, а вероятнее всего – с севера, из Москвы.

Е. Г. Вейденбаум первый указал, что намерение посетить Кавказ возникло у Пушкина еще в 1827 году[34 – Кавказская поминка о Пушкине. Тифлис, 1899. С. 10 9.]. 8 мая этого года Пушкин из Москвы пишет брату Льву, что завтра едет в Петербург повидаться с родителями, а оттуда поедет либо в Европу, либо назад в Михайловское, «но вероятнее в Грузию – не для твоих прекрасных глаз, а для Раевского». Что могло именно в это время навести его на мысль о поездке в Грузию? Это письмо к брату он посылал с М. И. Римской-Корсаковой, ехавшей на

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org
Кавказ с дочерью Сашей. «Письмо мое, – пишет он, – доставит тебе
М. И. Корсакова, чрезвычайно милая представительница Москвы. Приезжай на Кавказ
(Лев Сергеевич служил в Грузии) и познакомься с нею – да прошу не влюбиться в
дочь»[112 – Письмо не от 8, а от 18 мая 1827 г. из Москвы в Тифлис (Х. С.
177–178)]. Мария Ивановна Римская–Корсакова, урожд. Наумова (1764 или 1765–1832) –
вдова камергера Александра Яковлевича Римского–Корсакова; Александра
Александровна Римская–Корсакова, ее дочь (1803–1860), с 12 февраля 1832 г. жена
князя Александра Николаевича Вяземского, корнета кавалергардского полка, за
причастность к декабристскому движению (член Северного общества) переведенного в
СПб. драгунский (уланский) полк, участвовавший в турецкой кампании, получившего
чин поручика и в 1832 г. уволенного со службы. Московский знакомый Пушкина
(сент. 1826 – начало 1830-х гг.). По возвращении из ссылки Пушкин стал частым
посетителем «открытого дома» М. И. Римской–Корсаковой. С А. А. Корсаковой он
также познакомился в доме ее матери. О семействе Римских–Корсаковых Пушкин
упоминает в письмах к жене, Вяземскому и др. (Черейский-2. С. 369.). Пушкин сам
был влюблен в эту дочь, и М. И. Корсакова верно звала его с собою. Но если
Всеволожские действительно пустились на Кавказ с севера, то и Никита
Всеволодович мог в Москве звать Пушкина на Кавказ, или по крайней мере Пушкин
знал об его поездке и мог соблазниться мыслью встретиться там с ним.

Тут кстати припомнить и кое-что другое. Годы 1828–30 Всеволожский сплошь провел
на Кавказе[35 – «Архив Раевских». Т. II, указ. место.]. Дружба с ним Пушкина и
история проигранной тетради стихотворений были, конечно, хорошо известны в
литературных кругах. Когда Пушкин в марте 1829 года взял в Петербурге подорожную
до Тифлиса, Булгарин, не обинуясь, поставил эту поездку в связь с Всеволожским;
«можно смело утверждать, – писал он Бенкендорфу, – что это путешествие устроено
игроками, у коих он в тисках. Ему верно обещают золотые горы на Кавказе, а когда
увидят деньги или поэму, то выиграют – и конец»[36 – Соч. Пушкина. Под ред.
П. О. Морозова. Просвещение. Т. VI. С. 669.]: явный намек на ту историю. Еще
любопытнее следующее: 10 августа 1829 года корреспондент «Северной Пчелы»
сообщал из Владикавказа: «Сего числа был здесь проездом А. С. Пушкин. Он приехал
к нам из Арзрума и на другой день отправился далее, с намерением побывать на
Кавказских минеральных водах и потом отправиться, через Моздок и Кизляр, в
Астрахань»[37 – Там же.]. Так корреспондент мог писать только со слов Пушкина
или его «человека»; очевидно, у Пушкина было такое намерение, – а оно не имело
бы никакого смысла вне связи с Всеволожскими; только приглашение последнего, при
встрече в Тифлисе, где служил тогда Всеволожский, – приглашение погостить у него
в Черном Рынке, – могло бы объяснить этот далекий крюк – и именно через Кизляр и
Астрахань. Но все это, разумеется, только догадки.

II

Вопрос о том, когда Пушкин писал «Путешествие», до сих пор не исследован.
Редакторы сообщают обыкновенно, что первая глава, и то не вся, писана начерно во
время самой поездки, в виде дневника, двумя кусками, датированными: «15 мая,
Георгиевск» и «мая 22, Владикавказ», все же «Путешествие» в целом написано не в
1835 году, которым помечено предисловие. Как известно, «Путешествие» было
напечатано Пушкиным в первой книге «Современника» на 1836 год. – Я полагаю, что
относить написание «Путешествия» к 1835 году нет никаких оснований; по-видимому,
в этом году Пушкин только написал предисловие и перебелил (вероятно, с
поправками) вещь, написанную гораздо раньше.

Пушкин взял с собою в дорогу чистую, непечатую записную тетрадь, ту самую
«толстую тетрадь в лист синей бумаги, в бумажном переплете»[38 – Якушкин В. Е.
Описание рукописей Пушкина // Русская Старина. 1884, ноябрь. С. 346.], которая
теперь хранится в Румянцевском музее за номером 2382. Он обновил ее 15 мая в
Георгиевске, начав с 1-й страницы записывать свои дорожные впечатления, потом
продолжал 22 мая во Владикавказе и написал в общем, часто пропуская по многу
белых страниц, то есть в разных местах тетради, то, что соответствует печатному
тексту первой главы до строк: «С высоты Гут-горы... с ее светлой Арагвой»
включительно. Этот черновой текст значительно разнится от печатного, и его
следовало бы издать. Других черновики «Путешествия» не сохранилось; оборвался
ли на этом повествовательный дневник Пушкина во время путешествия или
продолжался и далее, мы не знаем. В Онегинском собрании нашлось 1/2 листа синей

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org
писчей бумаги, на котором рукою Пушкина, с пометками, написаны 23 строки:

«Арзрум 12 июля 1829. Вот уже 6 дней, как я стою в Арзр». Этот текст до сих пор не издан, описание Б. Л. Модзалевского сообщает только приведенное сейчас начало, как отрывок из 5-й главы «Путешествия» (см. «Неизданный Пушкин», «Атеней», 1922, с. XVII). По всей вероятности, этот полулист вырван из той записной книги Пушкина, о которой выше идет речь; в ней вообще много вырванных листов. Значит, Пушкин и в дальнейшем, по-видимому, вел запись, по крайней мере, временами. В той же тетради набросаны две конспективных записи для памяти в таком виде: «18-го июня. Арзрум; карантин; обед у гр. Паскевича; харем; сабля...» или: «Переход через Кавказ, Дарьял, Казбек, Осетинцы, похороны. Поэт персидский. Принц Персидский», и т. д. Все же это не решает вопроса о том, когда написаны остальные, кроме первой, главы «Путешествия».

За отсутствием документальных сведений, этот вопрос приходится решать, очевидно, только на основании самого текста этих глав; и текст дает для этого достаточно указаний. «Путешествие в Арзрум» писано, конечно, не в 1835 году, а гораздо раньше, вскоре после самой поездки [113 – Во время своей поездки в Тифлис и далее в армию Пушкин вел дневник, сперва подробный и последовательный, далее – отрывочный. В 1835 г. он его обработал и пополнил, предполагая издать отдельной книжкой. Тогда же, 3 апреля 1835 г., написано предисловие. «Путешествие в Арзрум» появилось в первой книге журнала «Современник». До этого отрывок «Военная Грузинская дорога» был напечатан в «Литературной газете» от 1830 г., № 6. При печатании Пушкин сделал цензурные сокращения, в частности не печатал описания своего свидания с Ермоловым... а в описании Военно-Грузинской дороги пропустил цитату из стихов Рыльева (VI. С. 553)]. За это говорит прежде всего общий характер повествования – подробность и точность рассказа, свежесть красок, которыми переданы испытанные впечатления. Спустя пять или шесть лет после путешествия, Пушкин не мог бы так описать его. Притом, в его рассказе сплошь и рядом попадаются хронологически окрашенные выражения, брошенные мельком и оттого тем более ценные, выражения, уместные лишь во время или тотчас после путешествия, но не спустя годы. Так, говоря о «маранах», огромных кувшинах, зарытых в землю, в которых грузины хранят вино, Пушкин (во 2-й главе) сообщает: «Недавно русский драгун, тайно открыв такой кувшин, упал в него», и т. д. Немного далее читаем: «Во время нынешних войн число их (армян в Тифлисе) еще умножилось». В 5-й главе читаем: «Нововведения, затеваемые султаном, не проникли еще в Арзрум; войско носит еще свой живописный военный наряд». Пушкин понимает военные реформы Махмуда – уничтожение в 1826 году корпуса янычар и введение европейского обучения армии, – реформы, о которых после 1830 года никак нельзя было сказать: «затеваемые». Конечно, не позже 1830 или 1831 года Пушкин мог писать о Сухорукове: «Ограниченность его желаний и требований поистине трогательна. Жаль, если они не будут исполнены»; как известно, Пушкин в этом смысле ходатайствовал за Сухорукова – и ответ Бенкендорфа ему, не оставивший Сухорукову более никакой надежды, датирован 29 августа 1831 г. [39 – Брюсов В. Письма Пушкина и к Пушкину. М. 1903. С. 9.]. И конечно, пять лет спустя, Пушкин не сказал бы в настоящем времени: «Бейбулат – мужчина лет тридцати пяти, малорослый и широкоплечий. Он по-русски не говорит» и т. д.

Все эти выражения Пушкина, думается, с очевидностью свидетельствуют о том, что текст «Путешествия в Арзрум», по крайней мере начерно, в связном виде, весь был написан (может быть, на основании отрывочных набросков, подобных Онегинскому) вскоре после поездки Пушкина, вероятно, осенью или зимою 1829 года [40 – Стихотворный отрывок «Стамбул гяуры нынче славят», помещенный в 5-й главе «Путешествия», датированный в черновой 17 окт. 1830 г., мог быть вставлен в готовый текст.]. Этот вывод подтверждается и характером тех дополнений, которые Пушкин, очевидно, в то же самое время, внес в написанные им на самом месте куски первой главы.

Одну такую вставку указал уже Е. Г. Вейденбаум. Именно, слова Пушкина: «Должно однакож надеяться, что приобретение восточного края Черного моря, отрезав черкасов от торговли с Турцией, принудит их с нами сблизиться», могли быть написаны только после заключения Адрианопольского договора, отдавшего России Кавказское побережье Черного моря, то есть после 2 сентября 1829 г., и, прибавлю, вероятнее всего – вскоре после заключения этого договора, когда факт был еще свеж у всех в памяти [41 – Догадка Е. Г. Вейденбаума вполне подтверждается рукописью Пушкина: здесь фраза «Должно однакож надеяться»... вписана – и то не вся, а только до половины и оставлена недописанной – другими, гораздо более черными чернилами, и очень мелко, между строками и сбоку.]. Другие

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org
дополнения в этой главе связаны с чтением Пушкина, именно с двумя книгами, вышедшими как раз в этом же году: с книгой графа И. Потоцкого «Voyage dans les steps d'Astrakhan et du Caucase», Paris, 1829, на которую он ссылается, говоря о Дарьяльском ущелье (эта книга сохранилась в его библиотеке[42 – Библиотека А. С. Пушкина, см. выше. С. 314.]), – и с книжкой Н.Н., изданной, как сказано, тоже в 1829 г.

III

Пора нам, однако, обратиться к этой книжке. Она была разрешена цензурой в Москве 26 марта 1829 года, а Пушкин выехал из Москвы на Кавказ 1 мая этого же года. В течение одного месяца, апреля, книжка не могла быть отпечатана, – и, действительно, до начала мая в «Московских Ведомостях» не появилось объявления о ее выходе в свет; значит, Пушкин не мог иметь ее при себе во время путешествия. В его библиотеке нашлись два экземпляра ее, один весь разрезанный, другой – разрезанный только в двух местах[43 – Там же. С. 67.], приобретенные или полученные им, очевидно, уже по возвращении на север. Эту книжку Пушкин имел перед глазами при обработке тех черновых записей своих, которые находятся в его дорожной тетради и которые легли в основание первой главы его «Путешествия». Дело в том, что часть пути Всеволожские с Н.Н. в 1826 году и Пушкин в 1829-м сделали по одной и той же дороге, именно от Георгиевска до Тифлиса; и вот, при описании этой части пути Пушкин все время справлялся с книжкой Н. Н. и заимствовал из нее ряд дополнений в свой черновой дневник.

Сравнение этой первоначальной записи в тетради № 2382 с печатным текстом «Путешествия» показывает, что все место – около полутора страниц – от «В семи верстах от Ларса» до «Скоро притупляются впечатления» – вставлено при обработке.

В этом отрывке Пушкин несколько раз использовал текст Н.Н., в том числе однажды – даже в виде прямой, хотя и безымянной цитаты. Вот параллельные места:

1. Н.Н. «Чрез 7 верст от Ларса находится Дарьяльское ущелье и в нем воинской пост, называемый также Дарьяльским».

П. – «В семи верстах от Ларса находится Дарьяльский пост. Ущелье носит то же имя».

2. Н.Н. (несколько раньше) – «Во многих местах скалы параллельно заграждают путь».

П. – «Скалы с обеих сторон стоят параллельными стенами».

3. Н.Н.: «Здесь так узко, так узко, что не только видишь, но будто чувствуешь тесноту!»

П. – «Здесь так узко, пишет один путешественник, что не только видишь, но, кажется, чувствуешь тесноту».

4. Н.Н.: «Есть места, где для проезда в самом Тереке вдоль берега наложены в виде плотины камня».

П. – «В иных местах Терек подмывает самую подошву скал, и на дороге, в виде плотины, навалены камни».

5. Н.Н. – «Напротив его (т. е. Дарьяла), на другой стороне Терека, неприступная скала сохраняет на себе следы какого-то древнего здания».

П. – «Против Дариала, на крутой скале, видны развалины крепости».

6. Н.Н.: «Иные говорят, что тут жила царица Дария...»

П. – «Предание гласит, что в ней скрывалась какая-то царица Дария...» (П. опровергает эту легенду на основании сведений, сообщаемых гр. И. Потоцким).

7. Н.Н. – «... проехали мимо натуральной арки, называемой Троицкими воротами. Арка сия поддерживает огромный утес, под коим года за четыре была дорога, а ныне протекает Терек, часто меняющий свое направление...»

П. – «Мы увидели Троицкие ворота (арка, образованная в скале взрывом пороха); под ними шла некогда дорога, а ныне протекает Терек, часто меняющий свое русло» (П. цитирует – и вместе молча исправляет: не натуральная арка, а образованная искусственно, взрывом пороха).

Вторая вставка в черновую запись – весь абзац: «Дорога шла через обвал...» И здесь Пушкин использовал книжку Н.Н. Он пишет: «Дорога шла через обвал, обрушившийся в конце июня 1827 года», и далее сообщает подробности об этом обвале, которых нет у Н. Н.; но дату он несомненно заимствовал у последнего, притом заимствовал оплошно. Е. Г. Вейденбаум указал, что в июне 1827 г. обвала не произошло [44 – См.: Кавказская поминка о Пушкине. С. 52, прим.16.]; у Н.Н. сказано: «Такой обвал случился до нас за месяц, и мы в конце июня ехали по громадам снега», и т. д. Пушкин проглядел подчеркнутые здесь слова и отнес самый обвал к концу июня.

Третья вставка – в следующем абзаце, от слов «Малые обвалы» до «Здесь поставлен». Эта вставка подтверждает нашу мысль о времени, когда перерабатывалась первая глава; здесь сказано: «Малые обвалы здесь нередки. В прошлом году русский извозчик ехал по Крестовой горе», и т. д.

Следующий абзац опять весь целиком добавлен; тут Пушкин опять пользовался книжкой Н.Н.

Н.Н. – «Разумеется, что редкие остаются здесь в экипажах, а обыкновенно идут пешком, и даже многие приказывают вести себя с завязанными глазами...»

П. – «Здесь путешественники обыкновенно выходят из экипажей и идут пешком. Недавно проезжал какой-то иностранный консул: он так был слаб, что велел завязать себе глаза», и т. д. (анекдот, которого нет у Н.Н.).

Наконец, у Н.Н. заимствовал Пушкин (в самом конце 1-й главы) сведения о мосте через Куру, как памятнике римских походов.

Как известно, отрывок первой главы «Путешествия в Арзерум» – именно все то, что составляет вторую запись Пушкина в его дорожной тетради, – он напечатал в «Литературной Газете» Дельвига, 1830 года, в № 8 (5 февраля) под заглавием «Военная грузинская дорога». Здесь та вставка: «Должно однакож надеяться...» (об Адрианопольском мире) уже налицо, но все четыре: вставки, сейчас указанные (в которых использована книжка Н.Н.), еще отсутствуют; значит, общая переработка главы с использованием книг Н.Н. и гр. Потюцкого была произведена Пушкиным, во всяком случае, после января 1830 года.

В заключение необходимо указать у Пушкина еще одно совпадение с книжкой Н.Н., случайное или нет – трудно решить. Стихотворение «Монастырь на Казбеке» датировано в рукописи 20 сентября 1829 г.; судя по тому, что 21 сентября он сделал надпись на подаренном им Е. Н. Ушаковой экземпляре 1-й части своих «Стихотворений», он 20-го был уже в Москве. Конец этого стихотворения гласит:

Туда в заоблачную келью,
В соседство бога скрыться мне.

Трудно устоять против искушения сопоставить эти стихи со следующими словами Н.Н. о казбекском монастыре: «Древнее сие святилище, сопредельное облакам, как будто нарочно сооружено было на таком месте, чтобы сближать людей с небесами».

IV

Зиму 1829–30 г. Пушкин провел в Петербурге. Здесь с 1 января начала выходить «Литературная Газета», затеянная Дельвигом с его помощью; но Дельвиг в первых же числах января уехал в Москву, оставив газету на руках Пушкина, который и

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org редактировал ее единолично, при содействии Сомова, до середины февраля. За это время он и сам много печатал в «Газете» – не только свои стихи, но и краткие заметки в отделах библиографии и смеси; как сказано выше, в № 8, от 5 февраля, он напечатал и отрывок из своих дорожных записок – «Военная грузинская дорога». Я полагаю, что им же написаны две рецензии, напечатанные в № 3, от 11 января, явно связанные с его недавним кавказским путешествием.

Вот они:

1) «Краткая всеобщая География Константина Арсеньева». Пятое издание, исправленное и дополненное. С.П.б., в типогр. Х. Гинца, 1829 г. (310 стр. в 8-ю д.).

«Г. Арсеньев, долгое время занимавшийся преподаванием Географии и Статистики, и давно уже известный Российской Публике сочинениями своими по сим предметам, напечатал в конце минувшего года новое издание Краткой Географии, сочиненной им. Сие, пятое уже издание, служит лучшим свидетельством того, что ученые труды Г. Арсеньева оценены по достоинству. В нынешнем издании Г. Арсеньев многое исправил и дополнил. Политическое разделение земли и Государств, ее составляющих, изображены в нынешнем их состоянии. Таким образом, напр., пределы России показаны в том положении, в каком они находились в конце минувшего 1829 года, т. е. по заключении Адрианопольского трактата. Все приобретения России по сему трактату, равно как и по Туркменчайскому мирному договору с Персиею, заключенному в 1828 году, означены верно. В конце сей Географии приложен Алфавитный список областей, городов, морей, островов, гор и пр., упоминаемых в сей книге, с показанием страниц, на коих должно в ней отыскивать сии предметы. Искренне желаем сему пятому изданию такого ж успеха, какой имели четыре прежние.

2) «Всеобщий Атлас», или собрание карт всего земного шара, изданный для пользы юношества, по руководству Г-на Арсеньева и других. С.П.б., 1829. С одобрения Военно-топографического Депо. (32 карты, из коих 2 в лист, а остальные в боль. 4-ю д. л.) [45 – Отмечу, что в рецензии на Илиаду Гнедича, несомненно принадлежащей перу Пушкина («Литер. газета», № 2, от 6 января), библиографические сведения даны так же подробно и притом точно в той же форме:… «в боль. 4-ю д.л.». То же и в 1-й статье об «Истории русского народа» Н. Полевого («Литер. газета», № 4, от 16 января). Сравн. также его рецензии в «Современнике» 1836 г. на «Востоку» и «Вечера на хуторе близ Диканьки».] – Сей Атлас составлен по новейшим и лучшим иностранным географическим картам и сверен с всеобщей Географией Г. Арсеньева. За точность и географическую правильность оного может ручаться то, что он пересмотрен и проверен был Главного штаба его императорского величества штабс-капитаном Ф. И. Позняковым, коего труды известны нашей публике по изданной им прекрасной карте Европейской Турции, или Феатра последней войны Россиян с турками. Тридцать две карты, составляющие Всеобщий Атлас, выгравированы весьма чисто Г. Савинковым, и раскрашены тщательно, с точным означением границ каждого Государства» [114 – В современном академическом издании Пушкина этих рецензий нет.]

Среди тех, кто заполнял первые номера «Литературной Газеты» (Дельвиг, Сомов, Пушкин, Вяземский), разумеется, никто кроме Пушкина не интересовался в такой степени событиями на Турецкой границе, никто кроме него, не мог подтвердить правильность сведений о территориальных изменениях, произведенных Адрианопольским и Туркменчайским договорами, и т. п.

явь и сон [115 – Впервые в сб. «Вопросы теории и психологии творчества». Т. 8. Харьков, 1923. С. 69–76.]

Обыкновенное русское слово «забвение» Пушкин рано наполнил своеобразным содержанием и с тех пор употреблял его как специальный термин. Именно словом «забвение» он обозначал то состояние личности, когда душа как бы вдруг обрывает все бесчисленные действительные нити, непрестанно ткущиеся между нею и внешним миром, и замыкается в самой себе. Тогда, по свидетельству Пушкина, душа инертна и глуха вовне, но тем более полна внутри себя привольной и радужной игры; точно чудом каким замрет – и мгновенно оживет внутренно для свободного творчества, для буйного цветения. «Забвением» Пушкин и называл внешнюю форму этого состояния, –

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org
отрешенность души от мира, ее замкнутость, причем он редко определял забвение точнее, как «забвенье жизни» или «забвенье суеты земной»: обыкновенно он говорит просто «забвенье» (словоупотребление – непривычное русскому языку, который выработал для данного понятия другое слово от того же корня: забыть[46 – «Забвение» по смыслу происходит от «забывать», «забыть» – от «забываться», что и разумел Пушкин под «забвением». Таких переканок в пушкинском языке немало; например, он неизменно употреблял слово «ничтожество» в совершенно не свойственном этому слову смысле уничтожения, небытия.]). Внутреннее же состояние души в такие минуты он обозначал словами «сон» или «сон души»; отсюда обычное у него выражение: «уснув душой». Но этот сон, как сказано, по Пушкину, полон движения.

Так он пишет стихотворение «К моей чернильнице»:

Беспечный сын природы,
Пока златые годы
В забвенье трачу я,

и т.д.

и о Татьяне в 3-й песне «Онегина»:

Вздыхает, и себе присвоя
Чужой восторг, чужую грусть,
В забвенье шепчет наизусть
Письмо для милого героя.

Многочисленные, совершенно однородные заявления Пушкина на протяжении многих лет не оставляют сомнения в том, что, по его мысли (основанной, конечно, на его личном опыте), это состояние духа, когда, наглухо замкнувшись от мира, он живет сам в себе и собою, есть счастливейшее состояние. «Забвение» для Пушкина – синоним «восторга». Уже в 1818 году, изображая «поэта», погруженного в чтение «Истории» Карамзина, он говорит:

И благодарными слезами
Карамзину приносит он
Живой души благодаренье
За миг восторга золотой,
За благотворное забвенье
Бесплодной суеты земной.

(Жуковскому, ранняя ред.)

и, прося у женщины любовного свидания, повторяет те же синонимы:

День восторгов, день забвенья
Нам наверное назначь

(О. Массон).

В конце 8-й песни «Онегина», расставаясь с Онегиным, с Татьяной и своим романом, он пишет:

Я с вами знал
Все, что завидно для поэта:
Забвенье жизни в бурях света,
Беседу сладкую друзей.

Забываться – счастье, и почти все равно, в чем найти забвение:

Что нужды? – Ровно полчаса
Мне ум и сердце занимали
Твой ум и дикая краса,

и вслед затем:

Друзья! не все ль одно и то же
Забываться праздною душой
В блестящей зале, в модной ложе,
Или в кибитке кочевой?

(Калмычке).

В 1819 и в 1832 гг. он одинаково называет забвенье «сладким»:

В забвенье сладком ловит он
Ее волшебное дыханье

(Руслан и Людмила, V)

Хотел я душу освежить,
Бывалой жизнью пожить
В забвенье сладком близ друзей
Минувшей юности моей.

(Отрывок. 1832 г.)

Как уже сказано, с термином «забыться душой» однозначен у Пушкина термин «уснуть душой»; например:

Уснув душой, безмолвно я грущу

(Уныние)

Приду ли вновь под сладостные тени
Душой заснуть на лоне мирной лени?

(Желание)

И в сладостный безгрешный сон
Душою погрузился он

(Онегин. IV, 11)

Заснуть душой – замкнуться от мира, стать слепым и глухим вовне; так, о бедном рыцаре Пушкин говорит:

С той поры, заснув душою,
Он на женщин не смотрел.

Мы увидим дальше, что порою Пушкин в тех же строках без различия перемежает оба термина: «забыться» и «заснуть», «забвенье» и «сон».

Как же живет дух в минуты этой блаженной отрешенности? По свидетельству Пушкина, дух живет тогда своим собственным содержанием. И тут у Пушкина намечается двоякий опыт: по его мысли, иногда посторонний толчок погружает душу в забвение, и она начинает жить сама в себе; иногда же нечто, возникшее в ней самой, внезапно вырывает ее из явного бытия и на некоторое время наполняет ее своим цветением, так что никакому внешнему восприятию уже нет доступа в нее; то есть известное интимное переживание души является либо только содержанием «сна», либо вместе и причиной «забвения», и содержанием «сна».

Таковы прежде всего воспоминания, то есть те внешние восприятия, те чувства и мысли, причиненные извне, которые к моменту отрешения уже ассимилированы духом и сделались его личным достоянием. Эта связь «забвения» с воспоминанием носит у Пушкина почти характер закономерности. Так он говорит о Людмиле:

Иль, волю дав своим мечтам,
К родимым киевским полям
В забвенье сердца улетает;
Отца и братьев обнимает,
Подружек видит молодых
И старых мамушек своих –
Забыты плен и разлученье!

(Руслан и Людмила, IV)

Он забывался; в нем теснились
Воспоминанья прошлых дней,

(Кавказский Пленник)

Вновь нежным отроком, то пылким, то ленивым,
Мечтанья смутные в груди моей тая,
Скитаясь по лугам, по рощам молчаливым,
Поэтом забываюсь я!

И славных лет передо мною
Являлись вечные следы

(Воспоминания в Царском Селе) [47 – «Воспоминания в Царском Селе»
(Воспоминаниями смущенный): И въявь я вижу пред собою дней прошлых гордые следы.
[Ред.].]

Быть может, в мысли нам приходит
Средь поэтического сна
Иная, старая весна

(Онегин. VII, 3)

...Я живу
Теперь не там, но верною мечтою
Люблю летать, заснувши наяву,
В Коломну, к Покрову – и в воскресенье
Там слушать русское богослуженье.

(Домик в Коломне)

В черновом наброске «Давно ли тайными судьбами» есть такие строки:

Но (часто) сердцем (душою) ищем усыпиться
В минувшем (времени) живем;

эти строки тут же переделаны так:

Но сердце тихим сном
В минувшем любит забываться.

В последней песне «Онегина» Пушкин рассказывает о своем герое:

И постепенно в усыпленье
И чувств и дум впадает он,
А перед ним воображенье
Свой пестрый мечет фараон.
То видит он: на талом снеге,
Как будто спящий на ночлеге,
Недвижим юноша лежит,
И слышит голос: что ж? убит.
То видит он врагов забвенных,
Клеветников, и трусов злых,
И рой изменниц молодых,
И круг товарищей презренных,
То сельский дом – и у окна
Сидит она...

(Онегин. VIII, 37).

Даже в полном и окончательном отрешении души от внешней действительности еще сохраняется, по мысли Пушкина, воспоминание, – последняя тончайшая связь души с миром. Отшельник в «Руслане и Людмиле» говорит о себе:

Ах, и теперь один, один,
Душой уснув, в дверях могилы,
Я помню горесть, и порой
Как о минувшем мысль родится,
По бороде моей седой
Слеза тяжелая катится.

(Руслан и Людмила, I).

Таков и Пимен, умерший для мира, и однако «душой в минувшем погруженный».

К одной категории с воспоминаниями относятся и другие переживания души, также внушенные извне, но ставшие личной собственностью данного духа. Таковы надежды:

В ней сердце, полное мучений,
Хранит надежды темный сон

(Онегин, III, 39).

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org
Обманчивей и снов надежды,
Что слава?

(Разговор Книгопродавца с Поэтом)
Неясных, темных ожиданий Обманчивый, но сладкий сон (Алексееву).

Таковы и переживания любви. Пушкин часто называет любовь «сном», разумея в этих случаях под любовью, конечно, не объективное и конкретное явление любви, а тот почти отрешенный, глубоко личный комплекс чувствований, каким она становится внутри души. Любовь есть «сон души», потому что она самодержавно господствует в душе, наглухо отрешая ее от всей остальной действительности. Вот несколько примеров:

И горе жизни скоротечной
И сны любви вспоминал.

(Друзьям)
Она поэту подарила
Младых восторгов первый сон,

(Онегин. II, 22)
Любви пленительные сны

(Онегин. III, 13)
Как сон любви,

(Онегин. VI, 7)
Не Гретхен ли?
– О сон чудесный!
О пламя чистое любви!

(Сцена из Фауста)
Как сон, как утренний туман
Любви сокрылось сновиденье

(Талисман, черн.).
Но воспоминания, надежды, любовные чувства – еще переживания, исшедшие из внешней действительности. Душа, по опыту Пушкина, живет в минуты забвения и вполне самобытными переживаниями, возникающими тут же, на полной свободе, без всякого воздействия извне. Поэтому всякое беспричинное и иррациональное порождение духа Пушкин неизменно называет «сном». Он пишет в разные годы:

Где дни мои текли в глуши,
Исполнены страстей и лени
И снов задумчивой души

(Онегин. VI, 46)
И сердца трепетные сны.

(Онегин. VIII, 1)
Блажен...
Кто странным сном не предавался

(Онегин. VIII, 10)
Станным сном
Бывает сердце полно

(Домик в Коломне)
Я ехал к вам: живые сны
За мной вились толпой игривой

(Приметы)
В этом разряде самочинных переживаний души первое место по яркости и силе, а главное – по абсолютной необусловленности, по суверенному произволу возникновения и сцепления, занимают, конечно, образы фантазии. Причудливая игра воображения есть, по Пушкину, как бы специфическая деятельность души в ее отрешенном состоянии; или наоборот: греза воображения, чуть вспыхнув, погружает душу в сон, как состояние, и сама есть сон в другом смысле этого слова – в

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org
смысле сновидения. Пушкин употребляет термин «сон воображения» всегда в этом последнем смысле – сновидения, то есть самобытной, необусловленной грезы – и потому часто во множественном числе [48 – Речь идет здесь именно о грезах воображения, но надо заметить, что понятие воображения у Пушкина вообще шире: он и воспоминание считает функцией воображения, как показывают цитированные выше стихи об Онегине: И перед ним воображенья Свой пестрый мечет фараон, после чего следует ряд картин памяти.]

То был ли сон воображенья,
Иль плач совы, иль зверя вой,

(Полтава)

Иль только сон воображенья
В пустынной мгле нарисовал
Свои минутные виденья,
Души неясный идеал?

(Бахчисарайский фонтан) [49 – Стихотворение называется «Фонтану Бахчисарайского дворца». [Ред.].]
Он любит сны воображенья

(Платон. люб.) [50 – Стихотворение называется «Платонизм». [Ред.].]

В моей утраченной весне
Как мало нужно было мне
Для милых снов воображенья.

(Алексееву, черн.)

Еще хранятся наслажденья
Для любопытства моего,
Для милых снов воображенья,

(О нет, мне жизнь не надоела).

И здесь, как всюду, интуитивное мышление Пушкина, или, если угодно, его интуитивное словоупотребление, развивается диалектически со строгой последовательностью: если всякое, даже случайное создание воображения есть «сон», то и грезы, порождаемые поэтической фантазией, эти стройные, гармонические образы творческого воображения – также не что иное, как «сны»: создания души в ее наибольшей отрешенности от мира, наибольшей свободе и наибольшей напряженности, – «мечтанья неземного сна». Пушкин так изображает процесс своего творчества:

Бывало, милые предметы [51 – Под «милыми предметами» Пушкин понимает женщин, как объектов любви; так, в третьей песне «Онегина»: Не правда ль: милые предметы, которым за свои грехи писали в тайне вы стихи, которым сердце посвящали, Не все ли, русским языком владея слабо и с трудом, Его так мило искажали т. п. (III, 27).]

Мне снились, и душа моя
Их образ тайный сохранила;
Их после Муза оживила:
Так я, беспечен, воспевал
И деву гор, мой идеал,
И пленниц берегов Салгира.

(Онегин. I, 57).

Он говорит в конце поэмы:

Промчалось много, много дней
С тех пор, как юная Татьяна
И с ней Онегин в смутном сне
Явились впервые мне –

(VIII, 50).

он говорит:

И сны поэзии бывалой
Толпою снова возмутить!

(Разговор Книгопродавца с Поэтом)

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org
И вы, заветные мечтанья,
Вы, призрак жизни неземной,
Вы, сны поэзии святой!

(Онегин. VI, 36)

В глуши звучнее голос лирный,
живее творческие сны[52 – (Онегин. I, 55)].

Но нигде он не нарисовал так отчетливо картину отрешения души от мира и наступающей затем самобытной жизни ее – этого внешнего омертвения и роскошного внутреннего цветения ее, как в следующих строках своей «Осени»:

И забываю мир – и в сладкой тишине
Я сладко усыплен моим воображеньем,
И пробуждается поэзия во мне:
Душа стесняется лирическим волненьем,
Трепещет и звучит, и ищет, как во сне,
Излиться наконец свободным проявленьем –
И тут ко мне идет незримый рой гостей,
Знакомцы давние, плоды мечты моей.

Итак, по Пушкину, наряду с дневной, будничной жизнью души, когда вся ее внутренняя деятельность обусловлена извне, есть другая самобытная жизнь души, отрешенная от мира, – жизнь полной внутренней свободы; и эта жизнь лучше, выше той. То, что я рассказал здесь, только отчасти вскрывает эту мысль Пушкина – одно из его основных познаний и главный стержень его мировоззрения, как несомненно обнаружит будущая философская биография его. Вильгельм Гумбольдт сказал, что единственно неподвижный полюс человек носит в своей душе[116 – Гумбольдт Вильгельм (1767–1835) – немецкий философ, языковед и государственный деятель. Согласно теории исторического познания Гумбольдта, всемирная история есть результат деятельности духовной силы, лежащей за пределами познания, поэтому она не может быть понята с причинной точки зрения. В своем учении о языке Гумбольдт предложил оказавшийся весьма ценным метод сравнительно-исторического исследования языков. Основные сочинения Гумбольдта «О границах деятельности государства» (1792), «О задачах историка» (1821). В переводе П. Билярского в России в 1859 г. вышла книга Гумбольдта «О различии организмов человеческого языка и о влиянии этого различия на умственное развитие человеческого рода». СПб.: Тип. Имп. Акад. наук. 366 с. (См.: Библиотека А. А. Блока. Описание. Кн. 3. Л.: БАН, 1986. С. 221.) См. также: Гумбольдт В. Язык и философия культуры. Пер. с нем. М.: Прогресс. 1985. Тень Пушкина.]. С несравненной конкретностью, почти осязательно, он ощущал свое духовное бытие, как твердый обрыв среди зыби вод, как замкнутую, самодовлеющую, единственно реальную жизнь своей личности. Поэтому «явь» была для него призраком и томлением, и только «сон» – правдой и счастьем.

Тень Пушкина[117 – Впервые в журнале «Искусство». 1923. Кн. I. С. 114–142.]

В стихотворении «Воспоминания в Царском Селе», 1829 года, упомянув о сподвижниках Екатерины, чьи памятники стоят в Царскосельском саду, Пушкин говорит:

Садятся призраки героев
У посвященных им столпов.

Если это метафора, то, надо признаться, слишком смелая. Но все стихотворение так серьезно и грустно, да и вообще об эту пору поэтический стиль Пушкина был уже настолько трезв и строг, что предположение о пустой игре образом приходится оставить, как мало-правдоподобное. Итак, странные эти два стиха написаны Пушкиным, по-видимому, совершенно серьезно. Что же они выражают?

Дикарь верит, что душа умершего становится существом особого рода – призраком, что она сохраняет связь со своей бывшей земной обстановкой и что поэтому призраком покойного носится вокруг его бывшего дома, дает о себе знать родичам и т. п. У Гомера тень убитого Патрокла, «подобная дыму», является его земному другу

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org
Ахиллесу. Пушкин говорит совершенно то же:

Садятся призраки героев
У посвященных им столпов.

Мы сейчас увидим, что такое понимание этих двух стихов вполне верно, и вместе убедимся и в том, что Пушкин действительно разделял с бушменами и фиджийцами их веру в «духов» умерших людей.

В писаниях Пушкина трижды за разные годы встречается необычайное выражение «тайны гроба»: во второй песне «Онегина», 1823 г. – «И гроба тайны роковые»; в «Воспоминании» 1828 г. – «О тайнах счастья (или – вечности) и гроба», и в «Заклинании», 1830 г. – «Иль чтоб изведать тайны гроба». Предвосхищая дальнейшее изложение, скажу теперь же, что вопрос о загробном существовании стал тревожить Пушкина удивительно рано, лет с 16-ти или 17-ти, что в дальнейшие двадцать лет своего творчества он многократно возвращался к этому вопросу, и что мысль его об этом предмете на всем протяжении лет была одержима сомнением. Самый вопрос предстоял ему в такой форме: во-первых, умирает ли человек совсем, не только телом, но и душой, или же личность умершего сохраняется, принимая лишь иную форму, не материальную, и продолжает существовать в виде «тени», «призрака»? Во-вторых, если человека переживает его «тень», то эта «тень» сохраняет ли свои прежние, земные чувства и отношения, или она отрешается от всего земного и всецело погружается в запредельную бесчувственность и беспамятность по отношению к миру и своей прошлой жизни в нем? Логически здесь были два отдельных вопроса; психологически, в чувстве Пушкина оба сводились к одному: тень бесчувственная была для него мертва, потому что в ней погашена индивидуальность; для него было важно только загробное переживание конкретного «я», то есть сохранение в призраке тех самых чувств, желаний, привязанностей, которые при жизни составляли эту единственную личность, например, его, Пушкина. Я покажу дальше, как колебался он между обеими альтернативами и куда склоняла его неодолимая потребность верить. Он не знал того метафизического ухищрения, в силу которого будто бы должно различать в живом человеке два «лика»: чистый, умопостижимый – и эмпирический, погруженный в вещественность, вместилище страстей и греха. Он ощущал себя со своими страстями и думами, как простое и неразложимое единство, и таким хотел жить вечно.

В 1829 году, в отброшенной потом строфе стихотворения «Брожу ли я вдоль улиц шумных», Пушкин писал:

Кружусь ли я в толпе мятежной,
Вкушаю ль сладостный покой,
Но мысль о смерти неизбежной
Везде близка, всегда со мной.

Это «всегда» надо понимать очень распространительно: мысль о смерти была ему близка с отроческих лет. И это была действительно мысль, размышление.

Как раз в ранние годы он много размышлял на эту тему философски и эти свои раздумья несколько раз излагал в поэтической форме. Позднее он уже не рассуждал о смерти, за явной безнадежностью таких размышлений, а только утверждал, или отрицал, или оставлял вопрос нерешенным.

Впервые его рассуждающее мышление о смерти отразилось в стихотворении «Безверие», 1817 года. Но здесь он еще не ставит гамлетовского вопроса: какова загробная участь души? Напротив, объективное содержание этого вопроса он оставляет в стороне. Он рассуждает вполне утилитарно: верить в загробное переживание личного «я» – в высшей степени утешительно, безверие же, лишенное надежды, ужасно; горе тому, кто мыслит смерть как окончательное угасание личности! Такому человеку страшно умирать, и в утрате близких ему нет утешения.

Итак, верить в посмертную жизнь души – выгодно. Разумеется, мысль Пушкина не могла остановиться на этом; за выгодой и невыгодой выросал вопрос об истине. Вот два убеждения, исключаящих друг друга: надо принять то из них, которое верно, хотя бы оно и леденило душу. И Пушкин принялся рассуждать.

Особенно упорно он размышлял об этом предмете, по-видимому, в 1821–1823 гг.,

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org
когда и был им написан ряд стихотворений на тему о смерти. Но о чем он мог размышлять? В том вопросе, который занимал Пушкина, человек равно лишен и фактических данных, и логических доводов, на которых он мог бы обосновать свой ответ. Здесь решение бесспорно диктуется личным чувством, безотчетной верой, если только человек сумеет расслышать в себе голос своей подлинной воли. И Пушкин действительно не мыслит: он только допрашивает себя, он как бы снова и снова примеряет на себя веру и отрицание, чтобы познать себя в этой точке мировоззрения.

Свой основной вопрос о смерти Пушкин полностью поставил перед собою в стихотворении 1821 года «Война».

Кончину ль темную судил мне жребий боев,
И всё умрет со мной: надежды юных дней,
Священный сердца жар, к высокому стремленье,
Воспоминание и брата и друзей,
И мыслей творческих напрасное волненье.
И ты, и ты, любовь?.

В этом весь вопрос: угаснет ли личность со всем, что наполняло ее живую, что сейчас, в эту минуту, образует ее бытие? Эта возможность немыслима, невыносима. И в особенности невозможно вынести мысль, что угаснет то чувство, которое сейчас составляет как бы огненный центр личности, – любовь, вот эта, моя любовь, к этой определенной женщине.

Первое как бы произвольное движение Пушкина – отбросить эту мысль, воскликнуть: «Не верю! Этого не может быть! С предвидением «ничтожества», то есть полного уничтожения личности, жить нельзя». Но характерно, что стихотворение, в котором он хотел излить это свое чувство, осталось неконченным; я говорю о малоизвестном отрывке, который исследователи относят к 1822 году:

Ты, сердцу непонятный мрак,
Приют отчаянья слепого,
Ничтожество! пустой призрак,
Не жажду твоего покрова;
Мечтанья жизни разлюбя,
Счастливых дней не зная от века,
Я все не верую в тебя,
Ты чуждо мысли человека!
Тебя страшится гордый ум!
Так путник, с вышины внимая
Ручьев альпийских вечный шум
И взоры в бездну погружая,
Невольным ужасом томим,
Дрожит, колеблется: пред ним
Предметы движутся, темнеют,
В нем чувства хладные немеют,
Кругом оплота ищет он,
Все мчится, меркнет, исчезает...
И хладный обморока сон
На край горы его бросает...
Конечно, дух бессмертен мой,
Но, улетев в миры иные,
Ужели с ризой гробовой
Все чувства брошу я земные
И чужд мне будет мир земной?
Ужели там, где все блистает
Нетленной славой и красой,
Где чистый пламень пожират
Несовершенство бытия,
Минутной жизни впечатлений
Не сохранит душа моя,
Не буду ведать сожалений,
Тоску любви забуду я?..
Любви! Но что же за могилой
Переживет еще меня?
Во мне бессмертна память милой,
Что без нее душа моя?

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosofff.org

Зачем не верить вам, поэты?
Да, тени тайною толпой
От берегов печальной Леты
Слетаются на брег земной.
Они уныло посещают
Места, где жизнь была милей,
И в сновиденьях утешают
Сердца покинутых друзей...
Они, бессмертие вкушая,
В Элизий поджидают их,
Как в праздник ждет семья родная
Замедливших гостей своих...

Мечты поэзии прелестной,
Благословенные мечты!
Люблю ваш сумрак неизвестный
И ваши тайные цветы.

Зачем не верить вам, поэты?[118 - «Таврида» (II. С. 103-105).]

Это – не рассуждение, это крик ужаса пред «ничтожеством». Нарисовав себе картину полного уничтожения, поэт с содроганием отворачивается от нее и судорожно цепляется за надежду, подаваемую поэтами, не спрашивая, на чем основаны их уверения, веря только потому, что не поверить – слишком страшно. В черновой этого стихотворения его чувства выражены отчасти еще ярче, например, в этих строках:

(забыть) забыть любовь!
(Моя любовь!) но что же за могилой
Переживет еще меня?
Он мой, он вечен, образ милой,
Бессмертен, как душа моя!

или:

что без него душа моя!

И в другом месте:

Мечты поэзии прелестной

(Я вас люблю)

или:

Я верю вам.

Это голос сердца – разуму здесь вовсе не дано слова. Но он скоро заговорит. К 1823 году относят следующие два наброска, где робкое сердце точно молит о пощаде, но ум властно изрекает свой неумолимый приговор.

Придет ужасный час... твои небесны очи
Покроются, мой друг, туманом вечной ночи,
Молчанье вечное твои сомкнет уста,
Ты навсегда сойдешь в те мрачные места,
Где прадедов твоих почуют мощи хладны.
Но я, дотоле твой поклонник безотрадный,
В обитель скорбную сойду я за тобой
И сяду близ тебя, печальный и немой...

Лампада бледная твой хладный труп осветит.
Мой взор движенья не заметит,
Ни чувства нежного, ни гнева на лице.
Коснусь я хладных ног – себе их на колена
Сложу и буду ждать... чего?

Чтоб силою... мечтанья моего...[119 - цитата из незавершенного стихотворения, начинающегося со слов: «Придет ужасный час... твои небесны очиПокроются, мой друг, туманом вечной ночи <...>»(II. С. 153, 347).]

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org

Это горькое «чего?» звучит безнадежностью. Что мог Пушкин сказать дальше? Попытка нарисовать загробный приход души на зов любящего обрывается на первой же строке, потому что рассудочная мысль леденит воображение – готовый родиться образ тускнеет и гаснет.

В тетради Пушкина, на той самой странице, где внизу, под тонкой чертою, написан этот отрывок, выше набросана в черновом виде 16-я строфа второй песни «Онегина»:

В прогулке их уединенной
О чем не заводили спор!
Судьба души, судьба вселенной –
На что не обращали взор!
И предрассудки вековые,
И тайны гроба роковые,
Судьба и жизнь в свою чреду
Все подвергалось их суду.

Так сильно занимала его тогда «судьба души» – ее посмертная судьба, – что свои раздумья он приписал даже Ленскому с Онегиным. – А на следующей странице тетради написан второй из упомянутых мною отрывков.

Надеждой сладостной младенчески дыша,
Когда бы верил я, что некогда душа,
От тленья убежав, уносит мысли вечны,
И память, и любовь в пучины бесконечны, –
Клянусь! давно бы я оставил этот мир:
Я сокрушил бы жизнь, уродливый кумир,
И улетел в страну свободы, наслаждений,
В страну, где смерти нет, где нет предрассуждений,
Где мысль одна живет в небесной чистоте...
Но тщетно предаюсь обманчивой мечте;
Мой ум упорствует, надежду презирает...
Ничтожество меня за гробом ожидает...
Как, ничего! Ни мысль, ни первая любовь!
Мне страшно!.. И на жизнь гляжу печален вновь,
И долго жить хочу, чтоб долго образ милый
Таился и пылал в душе моей унылой. [120 – «Надеждой сладостной

младенчески дыша...»(II. С. 142).]

В первой редакции было:

Но верить не могу пленительной мечте!
Мой ум упорствует, не верит, негодует...
Ничтожество зовет – невольником мечты –...
Меня ничтожеством могила ужасает...

Недаром Пушкин в этом самом году написал и своего «Демона». Дух анализа, скепсиса давно гнезвился в нем, мучил ум сомнением, смеялся над его ребяческой верою, – он пытался заглушить этот голос, «пленяя ум обманом»; но с годами демон все больше забирает власть над душою:

Его язвительные речи
Вливали в душу хладный яд.

от него некуда было укрыться, и вот он победил – «он одолел мой ум в борьбе», говорит Пушкин. Вера была убита и ничего не осталось.

В замену прежних заблуждений,
В замену веры и надежд

осталась пустота, – бедный клад ненужной истины.

В 1825 году Пушкин переделывает для печати первый из приведенных выше набросков – «Ты сердцу непонятный мрак». В черновой 1822 года так беззаветно звучал теплый голос веры и сомнению вовсе не дано было слова, – теперь его голос явно превозмогает веру.

Люблю ваш сумрак неизвестной

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosofff.org

И ваши тайные цветы,
О вы, поэзии прелестной
Благословенные мечты!
Вы нас уверили, поэты,
Что тени легкою толпой
От берегов холодной Леты
Слетаются на брег земной
И невидимо навещают
Места, где было все милей,
И в сновиденьях утешают
Сердца покинутых друзей;
Они, бессмертные вкушая,
Их поджидают в Элизей,
Как ждет на пир семья родная
Своих замедливших гостей...
Но, может быть, мечты пустые –
Быть может, с ризой гробовой
Все чувства брошу я земные,
И чужд мне будет мир земной;
Быть может, там, где все блистает
Нетленной славой и красой,
Где чистый пламень пожирает
Несовершенство бытия,
Минутных жизни впечатлений
Не сохранит душа моя:
Не буду ведать сожалений,
Тоску любви забуду я...[121 – II. с. 262.]

Что до сих пор таилось и нарастало в Пушкине, то теперь созрело: он сознательно понял свое коренное, не навеянное со стороны отношение к вопросу о загробной жизни. И это отношение оказалось не простым, а двойственным: «верить не могу пленительной мечте», то есть мечте о бессмертии личности, – и в то же время «меня ничтожеством могила ужасает». Истина предстала взору – невозможно отвергнуть ее, но вид ее столь страшен, что нет сил и принять ее. Это раздвоение души, мучительный раздор между мыслью и чувством, проходит отныне скорбной нотой через все творчество Пушкина. Я сказал уже: в свою зрелую пору он больше не рассуждает на эту тему – он только утверждает коротко; и утверждает он попеременно то «низкую истину» безверия, то «нас возвышающий обман» веры, который он до конца не мог и не хотел погасить в себе.

Итак, мы найдем в его поэзии два ряда заявлений, один отрицательный, другой положительный, во всей их полярной противоположности. О примирении между обоими, разумеется, не могло быть речи. И так как оба ряда исходили из подлинного грунта его души, то оба начинаются еще задолго до эпохи его самосознания, то есть 1822–1823 годов, и на всем своем протяжении беспрестанно скрещиваются и перемежаются, как две свитые нити. Поэтому нет никакой надобности сопоставлять тот и другой хронологически. Я приведу их раздельно, сперва отрицательный.

«К молодой вдове» 1816 г. Желая ободрить молодую вдову, смущенную во время свидания воспоминанием о муже, он говорит:

Верь мне: узников могилы
Беспробуден хладный сон;
Им не мил уж голос милый,
Не прискорбен скорби стон;

Нет, разгневанный ревнивец
Не придет из вечной тьмы;
Тихой ночью гром не грянет,
И завистливая тень
Близ любовника не станет,
Вызывая спящий день.

«Гроб юноши», 1821 г.

Там, на краю большой дороги,
Где липа старая шумит,
Забыв сердечные тревоги,

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org
Наш бедный юноша лежит.

Напрасно блещет луч денницы,
Иль ходит месяц средь небес,
И вокруг бесчувственной гробницы
Ручей журчит и шепчет лес;
Напрасно утром за малиной
К ручью красавица с корзиной
Идет и в холод ключевой
Пугливо ногу опускает:
Ничто его не вызывает
Из мирной сени гробовой.

«Онегин», седьмая песнь, строфа 11-я в черновой рукописи, 1827–1828 гг.

Мой бедный Ленский! За могилой,
В пределах вечности глухой,
Смутился ли певец унылый
Измены вестью роковой,
Или над Летой усыпленный
Поэт, бесчувствием блаженный,
Уж не смущается ничем,
И мир ему закрыт и нем?
По крайней мере из могилы,
Не вышла в сей печальный день
Его ревнующая тень
И в поздний час, Гимену милый;
Не испугали молодых
Следы явлений гробовых.

Характерно для зрелых лет Пушкина, как он затем переделал эту строфу. В первой половине ее поставлен вопрос: почувствовала ли душа Ленского за гробом измену Ольги? Вторая половина не давала ответа – она только констатировала внешний отрицательный симптом. Эту вторую часть строфы Пушкин теперь отбросил, заменив ее шестью стихами совсем на другую тему, – и весьма нескладно: от вопроса о загробном чувствовании речь вдруг перескакивает на отношение живых к мертвому, что вовсе не вяжется с началом.

Так! Равнодушное забвенье
За гробом ожидает нас.
Врагов, друзей, любовниц глас
Вдруг молкнет. Про одно именье
Наследников сердитый хор
Заводит непристойный спор.

Только в этой связи становится понятным и стихотворение «Череп» 1827 года [53 – Стихотворение называется «Послание Дельвигу» («Прими сей череп, Дельвиг: он»). [Ред.]]. По крайней мере, во мне эта длинная пьеса всегда возбуждала недоумение; я находил ее бессодержательной и скучной, не понимал, зачем Пушкин ее написал. Только в ряду его упорных размышлений о загробной жизни «Череп» оживает полным смыслом.

Юмор «Череп» – маска глубокой боли, Galgenhumor [54 – юмор висельника (нем.)], как говорят немцы; в шуточной форме Пушкин проделывает достаточно мрачный опыт. Если тень влюбленного не приходит наказать изменницу, это кое-что говорит о загробном состоянии души. Возьмем другой подобный случай, не менее показательный: покойный барон, предок Дельвига, был грозный рыцарь и при жизни, конечно, никому не дал бы себя в обиду; как жила его душа после смерти, мы, разумеется, не знаем, но ничто не мешает нам думать, что жила и чувствовала: по крайней мере, мы вправе были бы так думать, пока не представлялось случая проверить наше предположение. Оттого Пушкин, рассказав о смерти барона, говорит:

Барон в обители печальной
Доволен, впрочем, был судьбой,
Пастора лестью погребальной,
Гербом гробницы феодальной
И эпитафией плохой.

Но вот наступает час проверки – случай единственный, в высшей степени решительный; тут-то мы узнаем, что делается с душой за гробом. Беспутный студент и вдвойне преступный кистер, вдвойне потому, что он же, по долгу службы, – хранитель склепа, приходят ночью в склеп, чтобы забрать кости барона и унести их домой: студенту, видите ли, захотелось украсить свою комнату скелетом! Что сказал бы барон, если бы при жизни ему представилась даже только возможность такого надругательства? Легко представить себе изумление и потом ярость, которые овладели бы им; он топал бы ногами, ревел бы на весь замок: Unerh?rt! [55 – Неслыханно! (нем.)] – и наконец успокоился бы на мысли, что и мертвый он не даст себя в обиду и жестоко проучит нахалов. Доведя рассказ до решительной минуты, когда студент и кистер, сойдя в подвал, уже готовы при свете факела приступить к своему кощунственному делу, Пушкин точно минуту ждет: ну ка, что сделает барон? – и затем вдруг обрывает стихи и продолжает в прозе: ничего не произошло; барон мертв, весь мертв, не только телом. Вот эти строки, в которых под насмешкою затаена меланхолия: «Я бы никак не осмелился оставить рифмы в эту поэтическую минуту, если бы твой прадед, коего гроб попался под руку студента, вздумал за себя вступить, ухватя его за ворот, или погрозив ему костяным кулаком, или как-нибудь иначе оказав свое неудовольствие; к несчастью, похищенье совершилось благополучно. Студент по частям разобрал всего барона и набил карманы костями его. Возвратясь домой, он очень искусно связал их проволокою и таким образом составил себе скелет очень порядочный». И дальше судьба баронова скелета – судьба любой вещи: студент, уезжая из Риги, раздарил его по частям, большая часть костей досталась аптекарю, потом Вульф, приятель Пушкина и Дельвига, получил баронский череп в подарок и держал в нем табак, а теперь подарил его Пушкину, который и посылает его Дельвигу, как потомку барона, советуя обделать его в «увеселительную», то есть винную чашу и запивать из него уху да кашу. – Можно подумать, что Пушкин заимствовал тему своего «Череп» у Шекспира – из того места «сцены на кладбище», где Гамлет говорит о черепе приказного: «Где теперь его кляузы, ябедничества, крючки, взятки? Зачем терпит он толчки этого грубияна (могильщика) и не грозит подать на него жалобу о побоях?» [56 – В. Шекспир. «Гамлет». Сцена из V акта в переводе А. И. Кроненберга (1848). См.: «Гамлет» в русских переводах XIX–XX веков. М.: Интербук, 1994. С. 297.] Но самому Пушкину этот череп, как предмет грандиозного, хотя и воображаемого эксперимента, говорит многое. Оттого он и кончает стихотворение словами:

О жизни мертвый проповедник,
Вином ли полный иль пустой,
Для мудреца, как собеседник,
Он стоит головы живой.

Этот череп проповедует именно не о смерти – он говорит нам о бренности, о призрачности всего, что составляет нашу жизнь, чем полон наш дух при жизни. Любовь Ленского, гордое самосознание барона – огненные фокусы их личности, горевшие так сильно, что казались вечными, – смерть мимоходом погасила их, как ребенок слабым дыханием гасит пламя спички; вспыхнули, погорели миг и погасли – и так погаснет все, чем горит мой дух, Пушкина. Какая же цена радости и муке этого горения, какая может быть существенность в моей любви, в моих думах, в «мечтаньях золотого сна», которые смерть развеет бесследно? В шестой песни «Онегина», рассказав о смерти Ленского, Пушкин опять – уже который раз! – ставит свой неотвязный вопрос:

Увял! Где жаркое волненье,
Где благородное стремленье
И чувств, и мыслей молодых,
Высоких, нежных, удалых?
Где бурные любви желанья,
И жажда знаний и труда,
И страх порока и стыда,
И вы, заветные мечтанья,
Вы, призрак жизни неземной,
Вы, сны поэзии святой!

Все сгнуло, «исчезло в урне гробовой»! А если так, то стоит ли гореть, отдаваться страсти, желаниям, надеждам? Эти мысли впадали в одно русло Пушкинского духа – в то настроение, когда жизнь казалась ему бесцельной ездою «до ночлега», когда он писал о себе: «Сердце пусто, празден ум» – и людские поколения называл «мгновенной жатвой», которая по воле провидения «восходит,

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org
зреет и падет».

Биография Пушкина, воспоминания о нем людей, его знавших, особенно же самая поэзия свидетельствуют о том, что в его жилах текла горячая кровь. Необычайная страстность темперамента выделяла его среди людей всю жизнь. Его восприимчивость была, без сомнения, исключительно чутка, впечатления необыкновенно глубоки и ярки. Он влюблялся быстро и любил пламенно, терзался жгучей ревностью, желал необузданно. Конкретность его чувства удивительна; где пред взором заурядного человека действительность проходит безликой серой вереницей призраков, там Пушкин осязал плоть явлений, отчетливо видел их лица в их острой индивидуальности, и страстно внедрялся в каждое. Обычное состояние его духа было как раз противоположно тому, которое он описывает словами: «сердце пусто, празден ум». Напротив, его чувство и ум почти всегда были полны и деятельны, и всякое сильное впечатление овладевало им всецело, как бы до краев наполняло его волнением; недаром он сам говорит о «пламенном волнении» и «бурях» души своей («...что пламенным волненьем – и бурями души моей...»).

Но возбужденное состояние духа не совместимо с критикой и самооценкой. Чем полнее чувство, тем увереннее оно ощущает себя непреложным и неистребимым. Возбужденное чувство как будто принуждает мысль освящать себя, и мысль послушно исполняет верховный приказ: она подтверждает чувству, что оно – действительно подлинное, органическое чувство, что оно донельзя существенно и, стало быть, «вечно»; так всякий влюбленный убежден, что любит навсегда. Когда же пыл чувства разгорается в страсть, тогда легко опрокидывается и последняя, казалось – несокрушимая преграда – мысль о неизбежной смерти. Страсть в зените не может мыслить себя зависящей от каких-либо земных условий, например, о бренности тела: она уверенно знает себя безусловной, ничему не подвластной, следовательно, бессмертной.

Человеку такого огненного темперамента, как Пушкин, должна была казаться невыносимой мысль, что то или другое чувство, так страстно переживаемое им, быть может, много лет, что замысел, лелеемый им, как святыня, с его плотской смертью угаснут сразу и бесследно; и мы видели, как сжималось его сердце каждый раз, когда эта мысль представала его уму. Но легко понять также, что она могла пугать его только в минуты душевной вялости, какие посещают каждого человека. Бодрствующий или возбужденный, обуреваемый каким-либо чувством или в часы вдохновения, он, естественно, ощущал, как реальность, самое это чувство или творческую идею свою, а ту мысль о неминуемом угасании всякого чувства в смерти, – хотя она и стояла в сознании, ощущал, конечно, как нечто призрачное, как алгебраическую формулу, о которой знаешь, что она верна, но помнишь ее равнодушно. Так Пушкин в возбужденном состоянии совершенно забывал закон смерти, словно никогда не знал его, словно не терзался им столько раз.

И вот оказывается, что небольшому числу отрицательных заявлений, которые приведены выше, противостоит в поэзии Пушкина такое подавляющее количество заявлений положительных, что первые кажутся только редкими прорехами в сплошной ткани последних. Пушкин даже не заботится утверждать личное бессмертие: таких мест у него два-три; он просто исходит из аксиомы о личном бессмертии, эта аксиома составляет как бы невидимый, незабываемый в его уме фундамент, на котором он воздвигает свои художественные образы, – до такой степени его дух в глубине не затронут сомнением! Больше того: его вера (если такое беззаветное знание еще можно называть верою) настолько полна живых соков, что, к изумлению зрителя, расцветает конкретными подробностями; мы увидим ниже, что он не только изображал посмертное явление теней, но даже умел рассказать кое-что об их внешнем виде и склонностях.

Сказанное сейчас на первый взгляд покажется, конечно, парадоксом. Можно ли поверить, что Пушкин с его острым и несомненно трезвым умом, образованный человек XIX века, был предан такому грубому, необузданному мистицизму, верил в существование посмертных призраков и в их сношения с живыми людьми? Без сомнения, говоря о «тенях», он либо выражается метафорически, либо рисует психологическое состояние яркого воспоминания об умершем, подчас действительно близкого к галлюцинации. Так подумает читатель.

Но изъявления Пушкина совсем недвусмысленны: в них нет ни метафорического, ни психологического смысла; не подлежит ни малейшему сомнению, что он верил в объективное существование призраков. Вот «Заклинание», 1830 года, дышащее глубокой грустью и нежностью; можно ли говорить серьезнее? Пушкин вызывает тень

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosofff.org
умершей, но все еще любимой женщины:

О, если правда, что в ночи,
Когда покоятся живые,
И с неба лунные лучи
Скользят на камни гробовые,
О, если правда, что тогда
Пустеют тихие могилы, –
Я тень зову, я жду Леилы:
Ко мне, мой друг, сюда, сюда!

Явись, возлюбленная тень,
Как ты была перед разлукой,
Бледна, хладна, как зимний день,
Искажена последней мукой.
Приди, как дальная звезда,
Как легкий звук иль дуновенье,
Иль как ужасное виденье,
Мне всё равно: сюда, сюда!..

Он начинает нетвердо, но его сомнение длится лишь миг; или оно – только формальная оговорка? Ведь с первых слов чувствуется, что он верит, – и так беззаветно звучит его страстный призыв: «Ко мне, мой друг, сюда, сюда!»

Он пишет вполне положительно, как бы о вещи естественной и всем известной:

...Но и в дали, в краю чужом,
Я буду мыслию всегдашней
Бродить Тригорского кругом,
В лугах, у речки, над холмом,
В саду, под сенью лип домашней.

Когда померкнет ясный день,
Одна из глубины могильной
Так иногда в родную сень
Летит тоскующая тень
На милых бросить взор умильный.

(П. А. Осиповой, 1825 г.)

Он говорит (На смерть Ризнич, 1825 г.) [57 – 1826 г., без заглавия (Пушкин. Соч. в 10-ти томах. Т. II. 1956. С. 330) [Ред.]]:

Под небом голубым страны своей родной
Она томилась, увядала..
Увяла наконец, и верно надо мной
Младая тень уже летала.

Тень для него – не умственный образ, ареальное существо, слышащее и чувствующее.

Меж тем, как изумленный мир
На урну Байрона взирает,
И хору европейских лир
Близ Данте тень его внимает,

Зовет меня другая тень,
Давно без песен, без рыданий
С кровавой плахи в дни страданий
Сошедшая в могильну сень.

Певцу любви, дубрав и мира,
Певцу возвышенной мечты [58 – Вместо строки: Несу надгробные

цветы.]

Звучит незнаемая лира.
Пою. Мне внимлет он и ты.

(Андрей Шенье, 1825 г.)

Стихотворение посвящено Н. Н. Раевскому. Итак, Пушкина слушают двое: тень Шенье и живой Раевский; положительнее нельзя выразиться. Такой же объективный и

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org
конкретный образ нарисован в стихотворении «Баратынскому. Из Бессарабии»,
1822 г.

Еще доныне тень Назона
Дунайских ищет берегов;
Она летит на сладкий зов
Питомцев муз и Аполлона,
И с нею часто при луне
Брожу вдоль берега крутого;

И тот же смысл – в стихах, уже приведенных выше:

Садятся призраки героев
У посвященных им столпов.

Конечно, ничем другим, как именно верою в объективность теней, в их внешнее существование объясняются многочисленные обращения Пушкина к теням умерших – к тени Овидия, Кутузова и др., особенно «Заклинание» и «Для берегов отчизны дальней», эти страстные воззвания к умершей возлюбленной. Одно из таких обращений, как известно, даже и озаглавлено прямо – «К тени полководца» [59 – Публикуется без заголовка, описывается по начальным стихам: «Перед гробницею святой...» [Ред.].], и всюду конкретность видений доведена почти до осязательности; напомним, кроме цитированного уже «Заклинания», эти стихи из обращения к Кутузову:

Внемли ж и днесь наш верный глас,
Встань и спасай царя и нас,
О, старец грозный, на мгновенье
Явись у двери гробовой,
Явись: вдохни восторг и рвенье
Полкам, оставленным тобой.

Имея пред собою такой длинный ряд определенных и исключающих всякое сомнение фактов, нелегко решить, какой смысл вложен Пушкиным в иные его заявления о тенях, менее ясные, наполовину метафорические. Вот два примера таких неопределенных описаний.

Из «Бахчисарайского фонтана», 1822 г:

Дыханье роз, фонтанов шум
Влекли к невольному забвенью,
Невольню предавался ум
Неизъяснимому волненью,
И по дворцу летучей тенью
Мелькала дева предо мной!..

.....

Чью тень, о други, видел я?
Скажите мне: чей образ нежный
Тогда преследовал меня
Неотразимый, неизбежный?
Марии ль чистая душа
Являлась мне, или Зарема
Носилась, ревностью дыша,
Средь опустелого гарема?

Еще ближе, кажется, к чистой психологической метафоре следующее изображение (Воспоминание, 1828 г.)

И нет отрады мне – и тихо предо мной
Встают два призрака молодые,
Две тени милые, – два данные судьбой
Мне ангела во дни былые;
Но оба с крыльями и с пламенным мечом,
И стерегут... и мстят мне оба,
И оба говорят мне мертвым языком
О тайнах счастья и гроба.

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org
Может быть, Пушкин и сам не сумел бы ответить, что он разумел в том и другом отрывке: воплощенные ли души Марии и Заремы и двух женщин, когда-то любимых им, или их умопостигаемые образы?

Во всяком случае, представление о загробном воплощении души в тень или призрак до такой степени укоренилось в уме Пушкина, что он сплошь и рядом прибегал к этому образу. Для него было естественно вложить в уста Самозванца такую речь:

Тень Грозного меня усыновила,
Димитрием из гроба нарекла,

и т. д.

– и в уста Скупого рыцаря свой вздох, свои слова:

о, если б из могилы
Прийти я мог, сторожевою тенью
Сидеть на сундуке и от живых
Сокровища мои хранить, как ныне!..

В переводе из Анакреона он пишет:

Тартар тени ждет моей,

чего нет ни у Анакреона, ни верно в том подлиннике, с которого он переводил.
А. Шенье говорит у него:

Но, тень мою любя,
Храните рукопись, о други, для себя.

Умерший Дельвиг для него –

... в толпу теней родных
Навек от нас ушедший гений, –

об умершем Наполеоне он говорит:

Да будет омрачен позором
Тот малодушный, кто в сей день
Безумным возмутит укором
Его развенчанную тень!

и даже в прозе, в журнальной заметке, называет свои стихи о Барклае де Толли «недостойными великой тени». Даже цветок, увядая, оставляет по себе свою тень:

Лишь розы увядают,
Амброзией дыша,
В Элизий улетает
Их легкая душа,
И там, где волны сонны
Забвение несут,
Их тени благовонны
Над летою цветут.

(1825 г.).

И во всех этих местах он, может быть, уже безотчетно, рисует тень, как реальное существо: тень сидит на сундуке, тень входит в Тартар, тени собираются толпой, тень можно возмутить, тень розы цветет и благоухает и т. п. Каждое из этих мест в отдельности легко принять за метафору, но общий смысл изречений Пушкина решительно противоречит такому толкованию. Наконец, вполне уясняется дело, если ближе рассмотреть тот образ, который Пушкин неизменно обозначает словом «тень».

Первое же, самое беглое наблюдение над этим образом поражает неожиданностью, притом двойною. В нем нет ни одной оригинальной черты, ни малейших следов личного творчества. Представление Пушкина о загробной жизни в целом и в частях насквозь традиционно или, вернее, атавистично; именно так рисовал себе загробную жизнь человек каменного века, так верят и теперь дикари в глубине Африки и Австралии. Можно подумать, что Пушкин узнал этот образ из этнографических книг и

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org
присвоил его себе. Но нет: его представление о загробной жизни проникнуто таким живым чувством, оно так органически цельно и стройно в своих частях, и чертит он этот образ в своих стихах так уверенно и четко, что не может быть сомнения: в недрах его собственного духа родилось видение «тени», и что? он умел рассказать о ней, он сам узнал, точно видел своими глазами.

А рассказывает он следующее.

1. В самый миг смерти из умершего человека исходит его тень – существо нематериальное или материальное только в малой степени, – и вместе с трупом переходит в могилу, где впредь и обитает во веки. Так, о тени Шенье Пушкин говорит:

С кровавой плахи в дни страданий
Сошедшая в могильну сень,

и вторично (в черновой рукописи):

Моя младая тень
От плахи... отлетит... без песен, без рыданий.
Ее в подземну сень
Проводят ярый смех и гром рукоплесканий.

Так и тень Кутузова живет в его гробу, Суворов видит плен Варшавы, «восстав из гроба своего»; в стихотворении «П. А. Осиповой» тень летит на землю «из глубины могильной», и в «Заклинании» говорится о пустеющих ночью могилах, откуда тени улетают навещать милых на земле. С необыкновенной смелостью Пушкин говорит, обращаясь к тени Кутузова: «Явись у двери гробовой». То же говорит Пушкин и в отрицательной форме, например о Ленском:

из могилы
Не вышла в сей печальный день
Его ревнующая тень,

в стихотворении «Гроб юноши»:

Ничто его не вызывает
Из тихой сени гробовой, и т. п.

2. Внешний и духовный облик личности целиком сохраняется в тени. Пушкин не раз называет тень молодою: в «Воспоминании» – «два призрака младые», в «Андрее Шенье» – «моя младая тень», в элегии «На смерть Ризнич» – «младая тень»; тень Наполеона названа развенчанной, тень Ризнич – легковерной. Да тень и есть не что иное, как личность человека, покинувшая тело и облекшаяся в другой, невещественный вид. Те самые чувства и мысли, которые волновали человека при жизни, одушевляют его тень, и они не остаются в ней неизменными, но сохраняют всю пластичность и подвижность прижизненных душевных движений. Дело в том, что восприняв от живой личности все ее чувства и помыслы, тень через них сохраняет связь с их земными объектами; поэтому, как и в живом человеке, каждое изменение земного объекта влечет за собою в тени изменение соответственного чувства или помысла. Тень видит, слышит и знает все на земле, что входит в круг ее чувства, и, смотря по тому, что там совершается, она ликует, скорбит, чувствует обиду или ревность и т. п. Ленский за гробом ревнует изменницу – Ольгу («Его ревнующая тень»), тень Заремы, «ревностью дыша», носится по опустелому дворцу, тени тоскуют по оставленным на земле («П. А. Осиповой»), тень признательна за память о ней («К Овидию»), несправедливый укор возмутил бы тень Наполеона; тень поэта Петрова гордится Мордвиновым: «Тобой гордится он и на берегах Коцита».

Восстав из гроба своего,
Суворов видит плен Варшавы;
Вострепетала тень его
От блеска им начатой славы.

Словом, тень чувствует так же, как живой человек, и так же, как он, через свое чувство связана с миром живых существ.

3. Мало того: она умеет и сообщаться с этим миром, куда чувство, разумеется, неодолимо влечет ее. Она летает на землю (это выражение повторяется у Пушкина

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org
много раз); на земле она либо скользит (тень Овидия), либо носится, то есть реет (тень Заремы). Летит она туда, куда ее влечет воспоминание, призыв живых и т. п. Тень Ризнич летает над некогда любимым ее поэтом:

Увяла наконец, и верно надо мной
Младая тень уже летала;

призраки героев садятся у посвященных им столпов.

Когда померкнет ясный день,
Одна из глубины могильной
Так иногда в родную сень
Летит тоскующая тень
На милых бросить взор умильный.

(П. А. Осиповой).

Еще доньше тень Назона
Дунайских ищет берегов;
Она летит на сладкий зов
Питомцев муз и Аполлона,
И с нею часто при луне
Брожу вдоль берега крутого...

(Баратынскому. Из Бессарабии).

Но если, обо мне потомок поздний мой
Узнав, придет искать в стране сей отдаленной
Близ праха славного мой след уединенный –
Брегов забвения оставя хладну сень,
К нему слетит моя признательная тень,
И будет мило мне его воспоминанье

(К Овидию).

Шенье говорит своим друзьям: после моей смерти, когда, собравшись в кружок, вы будете читать мои стихи, –

я, забыв могильный сон,
Взойду невидимо и сяду между вами,
И сам заслушаюсь, и вашими слезами
Упьюсь... И, может быть, утешен буду я
Любовью; может быть, и Узница моя,

и т. д.

4. Как явствует из этих выдержек, тени, по мысли Пушкина, могут прилетать на землю во всякое время; но всего охотнее они выходят из могил ночью и при луне:

в ночи,
Когда покоятся живые,
И с неба лунные лучи
Скользят на камни гробовые

(«Заклинание», сравн. «Баратынскому. Из Бессарабии», и др.).

5. Тень может оставаться невидимой для живых (как тень Шенье в кругу друзей), но она может и воочию являться тому, кого посещает, причем она носит либо тот облик, какой носила при жизни, либо какой-нибудь другой. Она может являться человеку и не в человеческом образе, а в виде звезды, звука и т. п. Так в «Заклинании»:

Явись, возлюбленная тень,
Как ты была перед разлукой,
Бледна, хладна, как зимний день,
Искажена последней мукой.
Приди, как дальняя звезда,
Как легкий звук, как дуновенье,
Иль как ужасное виденье...

В отрывке 1824 г. «Недвижный страж дремал на царственном пороге» Пушкин единственный раз наглядно изобразил явление тени живому человеку.

Он рек, и некий дух повеял невидимо,
Повеял и затих, и вновь повеял мимо.
Владыку севера мгновенный хлад объял,
На царственный порог вперил, смутясь, он очи –
Раздался бой полночи –
И се внезапный гость в чертог царя предстал.

Наполеон является Александру I не одряхлевшим, с ранней сединою и потускневшим взглядом, каким он был перед смертью, – нет:

Во цвете здравия и мужества и мощи,
Владыке полунощи
Владыка запада, грозящий, предстоял.

В другой раз Пушкин нарисовал такой же образ в шутку, – но и это характерно для него; я разумею послание к Денису Давыдову, где под конец, вспомнив о покойном гусаре Бурцеве, известном забулдыге, Пушкин говорит:

И вдруг растрепанную тень
Я вижу прямо пред собою,
Пьяна, как в самый смерти день,
Столбом усы, виски горою,
Жестокий ментик за спиною
И кивер чудо набекрень [122 – Стихотворение «Недавно я в часы
свободы...» (1822) (II. С. 118).].

6. Еще ступенью выше в смысле конкретности стоит тот образ, который нарисован в стихотворении «Для берегов отчизны дальной». В час разлуки любимая женщина утешала его надеждой на будущее свидание, когда они вновь соединят лобзание любви; но в разлуке она умерла – ее обещание осталось невыполненным. Но связь между ними не порвана:

Твоя краса, твои страданья
Исчезли в урне гробовой –
А с ними поцелуй свиданья...
Но жду его; он за тобой...

Что хотел сказать Пушкин этими загадочными стихами? То ли, что он еще при жизни ждет поцелуя тени? – Это вполне соответствовало бы его представлению. Или еще смелее – что он после смерти встретится с нею, и тень сольется с тенью в поцелуе? Ясно одно: ждать от тени обещанного поцелуя мог только человек, беззаветно веривший не только в личное бессмертие, но и в известную воплощенность загробного существования.

7. Пушкину оставалось сделать еще только один шаг, чтобы довести воплощенность тени до наивысшего предела. Раз личность в загробном состоянии продолжают волновать ее прижизненные чувства, связывающие ее с земными объектами, естественно, что она и оттуда стремится воздействовать на земные дела сообразно со своим чувством; и так как, по мысли Пушкина, она за гробом реально существует в виде тени, подобно живым существам, облеченным в более плотное вещество тела, то он неизбежно должен был допустить и фактическую возможность такого вмешательства. Было естественно предположить, что тень, доведенная до крайнего возбуждения зрелищем земного происшествия, больно ранящего ее чувство, ринется на землю и делом, то есть более или менее осязательно остережет или покарает своего обидчика. Мы видели, что мысль Пушкина о загробной жизни все время вращалась вокруг этой точки; из нее он исходил в своих отрицательных утверждениях: тень мужа должна была бы прийти наказать изменившую ему молодую вдову, тень Ленского должна была бы прийти напугать изменницу-Ольгу и ее мужа в их брачную ночь, тень барона должна была бы заступиться за кости барона, ухватив святотатца за ворот или погрозив ему костяным кулаком. И, наоборот, только в этой точке могла найти себе завершение и положительная вера Пушкина. Его отрицательное рассуждение исходило от факта: знаю, что муж, Ленский и барон не пришли с того света и не вмешались активно в земные дела, так явно касавшиеся их; следовательно, загробная жизнь личности есть пустой вымысел. Напротив, здесь он от веры пришел к факту: знаю, что личность остается за гробом живою и неизменною; следовательно, она неизбежно и стремится, и действует, когда чувство влечет ее к действию.

Мы видели также, как близко Пушкин в ряду своих положительных утверждений подошел уже к этому пределу. Он говорил нам о тенях летающих, скользящих, сидящих на земле, о тени, стоящей в дверях гробницы, наконец, даже о любовной ласке, которую дарит тень. От поцелуя до всякого другого физического действия оставался небольшой шаг. Но если и все эти положительные изображения перед судом холодного разума являлись бредом и безумием, тем безумнее должно было показаться повествование о тени действующей; и Пушкин замаскировал свой рассказ, чтобы заранее изъять его из-под судимости. Я говорю о «Каменном госте», где, прикрывшись средневековой легендой, он наконец насытил свое чувство, воплотил то предельное чаяние, которым пламенел его дух столько лет, – представил тень действующей. В образе командора, мстящего гибелью своему обидчику, воскрешены за гробом и Ленский, и барон, – воскрешен за гробом вообще человек и неизбежно утверждена вера в бессмертие личности. Этот образ – положительный полюс мысли Пушкина, как образы «юноши», мужа молодой вдовы, умершего Ленского и барона – ее отрицательный полюс.

Но в эту самую минуту, когда положительная вера Пушкина достигла своей вершины, ее единокровный враг – его неверие – разразился ей в лицо дьявольским хохотом. Едва ли в летописях поэзии найдется еще другой пример такой злой, такой беспощадной автопародии, как «Каменный гость» и сочиненный одновременно с ним «Гробовщик», потому что они написаны на одну и ту же тему и, в пределах этой темы, умышленно по одному плану[60 – Они оба написаны осенью 1830 года, когда Пушкин, в связи с жгучими воспоминаниями о той умершей женщине, чей образ внушил ему тогда же «Заклинание» и «Для берегов отчизны дальной», так много углублялся мыслью в «тайны гроба роковые». Конец «Гробовщика» датирован 9 сентября, конец «Каменного гостя» – 1 ноября. Но «Каменный гость» был именно только закончен в эти дни, а задуман и начат, как известно, гораздо раньше, еще до марта 1828 года.]

Дон Гуан
(Статуе.)

Я, командор, прошу тебя прийти
К твоей вдове, где завтра буду я,
И стать на стороже в дверях.

«А созову я тех, на которых работаю: мертвецов православных... Ей-богу, созову, – продолжал Адриан, – и на завтрашний же день. Милости просим, мои благодетели, завтра вечером у меня попить; угощу чем бог послал».

Статуя

Я на зов явился.

«Видишь ли, Прохоров, – сказал бригадир от имени всей честной компании, все мы поднялись на твое приглашение...»

Какую страшную душевную муку должен переживать за гробом командор! Что обида барона или загробная ревность Ленского! Видеть свою жену в объятиях другого – в объятиях своего убийцы – и знающей, кого она обнимает: вот пытка двойная, тройная. Здесь ревность, обида и жажда мести, слившись в одно пламя, гонят душу так яростно, что она, как конь, язвимый шпорами, перескакивает чрез предел – из царства теней в мир вещественный, и реально действует среди живых, уводит Дон-Жуана в преисподнюю. Здесь огненная мука разверзает могилу и загробный выходец подлинно жив. В «Гробовщике» ожившие мертвецы лишь мерещатся пьяному сновидению по пьяной прихоти наяву. И как осязательно, как ярко Пушкин изображает их мнимый приход, этот смешной сон пьяного гробовщика, *danse macabre*[61 – Пляска смерти (франц.)] в карикатуре! Точно какая-то сила подстрекала его злее, как можно злее высмеять свою пламенную веру, представить в наиболее комическом и пошлом виде небытие и пустоту того образа, который он так страстно лелеял, – образа живой тени. Что? более всего утешало его в земных невзгодах, то он кинул в грязь и злорадно топчет ногами. Не мстил ли он себе за самую потребность в загробном утешении? не устыдился ли на минуту своей трусости пред беспощадной правдою смерти? Но и здесь – какая смелость мысли!

Мне остается подвести итог рассказанному. Перед нами странное зрелище: на протяжении многих лет Пушкин высказывает попеременно два противоположных утверждения о загробной жизни. Читатель спросит, как и я сам спросил себя: возможно ли, чтобы разумный человек на один и тот же вопрос отвечал – и не раз – то «да», то «нет?» Либо Пушкин верил в загробное переживание личности, либо нет; но как он мог в одно и то же время с равной убежденностью и верить и не верить?

На это недоумение я отвечу: человеческие «да» и «нет» не всегда исключают друг друга, но подчас и живут вместе. «Да» и «нет» Пушкина были подобны двум линиям, проведенным в разных плоскостях, и потому не пересекающимся. Его «нет» представляло собою утверждение о факте. Оно говорило: человеческий опыт не знает никаких признаков загробного существования; никто никогда не видел тени умершего, никогда умерший не давал о себе знать в земных делах; поэтому нет никаких оснований думать, что личность остается живою за гробом. Это был приговор той инстанции, которая обобщает и ведает весь наш чувственный опыт, то есть всю эмпирическую действительность. Против этого приговора, разумеется, нельзя спорить – в своей узкой сфере он неопровержим. Совершенно иной и несравненно сложнее ход мышления привел Пушкина к его положительному утверждению. Человечество всегда верило в загробную жизнь и на своем длинном пути создало бесчисленные догадки о формах ее; и все эти образы, от грубейших до наиболее духовных, имели предметом и целью, конечно, не объективную истину, потому что и дикий человек понимал, что о загробной жизни мы не можем узнать ничего достоверного: эти верования имели своим предметом не загробную, но живую жизнь, они диктовались нуждами живого человека. Пушкинское «да» родилось из такой же нужды. Мы видели: мысль о смерти предстала ему первоначально как вопрос о реальности, о подлинности, о смысле чувств и дум, обуревающих его здесь, живого. Одно из двух: если в смерти личность исчезает бесследно, если самое могучее чувство, волнующее меня сейчас, неминуемо будет смертью погашено, то мысль о его бренности парализует меня сейчас, в самый миг его переживания. Именно так рассуждал Пушкин. Ему не было никакого дела до загробной тайны, но для него было в высшей степени важно осмыслить свою текущую, свою ежедневную жизнь в ее неразрывной связи с фактом предстоящей смерти. И так как его чувства были страстны, то есть каждое в данную минуту утверждало себя с беспрекословной уверенностью, то его выбор был предрешен: он должен был освятить и укрепить свою стихийную душевную жизнь верою в ее бесконечную длительность. Иначе он не мог бы жить, – он был бы разорван надвое между необузданным самоутверждением своего чувства и безверием, в корне подрывающим это самоутверждение. Итак, «нет» и «да» Пушкина были разнородны: там умозаключение из данных опыта, здесь умозаключение из потребностей воли. Там бесстрастно звучало: «загробной жизни нет», здесь страстный голос упорно твердил: «хочу, чтобы личность переживала смерть, верю в бессмертие личности, – не могу не хотеть и не верить».

Отсюда начался у Пушкина обычный, даже неизбежный процесс воплощения веры. Вера всегда рождается из воли в виде отвлеченного утверждения, но никогда не остается им: с самой минуты ее рождения в духе начинается ее преобразование. Сказано: «вера без дел мертва» [123 – Цитата из Нового завета: «Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?» (Соборное послание Святого апостола Иакова. Глава 2, стих 20).]; с таким же правом можно сказать: «вера без образа мертва», потому что догмат веры не иначе наполняет душу, как облекись в конкретные образы, как бы зерно ее, пав в воображение, родит в нем и организует фантастический мир или фантастическое существо, в основе их бытия совершенно отличные от внешней действительности, даже противоположные ей, но в конструкции и в механизме движений точно следующие ее законам. Так вера Пушкина облеклась в образ тени. Раз начавшись, этот процесс воплощения не может остановиться, пока не дойдет до конца, то есть пока не придаст тому фантастическому образу всех признаков конкретности до полного уподобления предметному миру. Только в этой полноте образ веры действительно наполняет душу: он стал объективным, он мнимо-доступен восприятию всех внешних органов чувства, как любая вещь; он стал достоверным, как все, что мы видим и осязаем. Отвлеченное верование Пушкина: «личность жива и за гробом» облеклось в образ тени, и этот образ, постепенно наполняясь жизнью, наконец, совершенно уподобился плотскому существу, живому человеку: тень чувствует, ходит, целует и действует.

Но в этой конечной точке вера снова оказывается лицом к лицу с действительностью, от которой она вначале отделилась. Этой чувственно-воспринимаемой действительности теперь противостоит другая, тоже – только иначе – воспринимаемая действительность. Та не дает никаких показаний о тенях, в этой тени живут и действуют. Казалось бы, человек, находящийся в

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org

здоровом уме, должен во что бы то ни стало сделать выбор – признать подлинную либо ту, либо другую. Внешний опыт неопровержимо свидетельствует, что все люди умирают; вера утверждает, что некогда был человек, который так и не умер, но жив поныне и будет жить вечно.

Опыт убеждал Пушкина, что смерть разрушает не только тело, но и самую личность человека; вера упорно твердила ему, что личность остается живою после телесной смерти. Такие противоположности могут ли уживаться в сознании? Но таков всеобщий закон человеческого духа: вера и эмпиризм не только всегда сосуществуют, но даже и не могут существовать друг без друга, как в живом существе душа без тела или тело без души. Как видно, человек, хотя и бессознательно, но твердо знает, что у него есть два воспринимающих аппарата и, следовательно, два опыта, два познания: познание грубо-чувственное, в котором учтены лишь внешние движения вещей, и познание высшее и целостное, основанное на показаниях общего, несравненно более чуткого восприятия. Оттого он и верит эмпиризму, и не верит, руководствуется им в своей внешней и частичной деятельности, но и знает его целостную ложь и в душе противопоставляет его лживому образу мира иной образ мира, знаемый тайно, как подлинная действительность. И для Пушкина его «нет» и «да» в вопросе о загробной жизни были не двумя исключаящими друг друга положениями, но двумя истинами разного качества: одна – истиной рассудка, другая – истиной духа.

Так же двойственно, но с более ясным самосознанием и определеннее, чем Пушкин, думал о загробной жизни Гёте. 19 октября 1823 г. он сказал канцлеру Мюллеру: «Для мыслящего существа совершенно невозможно представить себе небытие, прекращение мышления и жизни; постольку каждый носит в самом себе доказательство бессмертия, притом произвольно. Но лишь только человек захочет объективно выступить из себя и догматически доказать или понять продолжение личного существования за гробом, лишь только вздумает облечь то внутреннее восприятие в филистерский наряд, – он тотчас запутывается в противоречиях. И все же человека всегда влечет сочетать невозможное. Почти все законы – синтезы невозможного; например, институт брака. И это – благо, потому что только постулируя невозможное, он способен достигать невозможного» [124 – Гершензон неточен. В «Разговорах с Гёте» Эккермана под датой 19.X.1823 г. канцлер Мюллер не упоминается. См.: «Разговоры с Гёте, собранные Эккерманом». Пер. с немецкого Д. В. Аверкиева. Ч. I. Изд. II. СПб., изд. А. С. Суворина, 1905. С. 33–34. В части I этого издания имя канцлера Мюллера упоминается на с. 3, 13, 31, 47, 62, 74–78, 136, 261; в части II на с. 7, 8, 10, 182, 210, 211. См. также: Эккерман И. П. Разговоры с Гёте. Перевод с нем. Н. Ман. М.: Художественная литература, 1981. С. 77–78.]

В этом умозрении Пушкина более всего поражает одна черта: его жажда именно личного бессмертия. Так называемое бессмертие души, то есть безличное бессмертие, несколько не интересовало его; по-видимому, он приравнивал его к полному угашению жизни. Я не знаю в творчестве и в мировоззрении Пушкина ничего, что в такой степени характеризовало бы его, как эта черта: самоутверждение своей личности, какова она есть.

Сны Пушкина [125 – Впервые: Пушкин. Сб. I. Под ред. Н. К. Пиксанова. М.: Госиздат, 1924. С. 77–79.]

Пушкин рано заметил загадочное явление сонной грезы и на протяжении лет, как увидим, временами пристально размышлял о нем. В своих произведениях, начиная с «Руслана и Людмилы» 1817–1819 гг., кончая «Капитанской дочкой» 1833 года, он изобразил пять сновидений. Собрав их вместе и внимательно рассмотрев, можно до некоторой степени уяснить себе общую мысль Пушкина о сновидении, если только у него сложилась такая единая мысль, или, по крайней мере, узнать характер и причины его интереса к этому явлению. В делах такого рода надо больше всего остерегаться поспешных обобщений; поэтому я разберу каждый случай отдельно, как если бы он был единственным, и только в конце попытаюсь соединить свои наблюдения в один итог, насколько это окажется возможным.

1. Сон Руслана. – Руслан уже убил своего соперника Рогдая, нашел Людмилу и везет ее сонную в Киев, где, по обещанию добродетельного финна, она проснется. После стольких тревожений его цель достигнута; казалось бы, он должен быть счастлив.

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org

Может быть, его смутно тревожит мысль о другом его сопернике, Фарлафе, который одновременно с ним выехал на поиски Людмилы и теперь находится неизвестно где? Фарлаф труслив и коварен; возможно, что Руслан бессознательно ждет и боится вероломства с его стороны. Ночью, спешившись под курганом, сняв с седла спящую Людмилу, Руслан сидит в задумчивости; дремота понемногу одолевает его; наконец он уснул.

И снится вещий сон герою:
Он видит, будто бы княжна
Над страшной бездны глубиною
Стоит недвижна и бледна...
И вдруг Людмила исчезает,
Стоит один над бездной он...
Знакомый глас, призывный стон
Из тихой бездны вылетает...
Руслан стремится за женой;
Стремглав летит во тьме глубокой...
И видит вдруг перед собой:
Владимир в гриднице высокой,
В кругу седых богатырей,
Между двенадцатью сынами,
С толпою названных гостей,
Сидит за бранными столами.
И так же гневен старый князь,
Как в день ужасный расставанья,
И все сидят не шевелясь,
Не смея перервать молчанья.
Утих веселый шум гостей,
Не ходит чаша круговая...
И видит он среди гостей
В бою сраженного Рогдая:
Убитый, как живой, сидит;
Из опененного стакана
Он, весел, пьет и не глядит
На изумленного Руслана.
Князь видит и младого хана,
Друзей и недругов... и вдруг
Раздался гуслей беглый звук
И голос вещего Баяна,
Певца героев и забав.
Вступает в гридницу Фарлаф,
Ведет он за руку Людмилу;
Но старец, с места не привстав,
Молчит, склонив главу унылу,
Князя, бояре – все молчат,
Душевные движенья кроя.
И все исчезло – смертный хлад
Объемлет спящего героя.

Сон явно распадается на две части. Первая часть его: падение Людмилы в бездну, ее призывный стон оттуда и устремление Руслана ей во след есть несомненно отражение пережитых Русланом тревог, его ужаса при исчезновении Людмилы, долгого страха за нее, неизвестности, поисков. Но вторая половина сна есть предвидение и пророчество: ведь Фарлаф действительно в эту же ночь похищает у него Людмилу и увозит ее в Киев. Сон почти полностью осуществляется на деле; только во сне Фарлаф при звуках Баяновой песни вводит Людмилу за руку в гридницу Владимира, – в действительности он внесет ее, спящую на руках, и Баяна не будет там; но, как и во сне, появление Фарлафа с Людмилой не обрадует ни Владимира, ни его гостей – все останутся погруженными в уныние. Даже предположив в Руслане тот безотчетный страх пред Фарлафом, такое точное предвидение фактов остается загадкой.

2. Сон Марьи Гавриловны в «Метели» – Пушкин недаром снабдил этот рассказ эпиграфом из Жуковского, где есть «Вещий сон гласит печаль!» В ночь перед бегством Марье Гавриловне снится сон. С вечера она не ложилась, укладывала вещи и писала письма. Легко представить себе ее душевное состояние в эту ночь. Она готовится совершить страшное преступление против родителей, да и сама, конечно, пугается своего поступка и неизвестной будущности, ожидающей ее за порогом родного дома. Этих мыслей достаточно, чтобы объяснить ее первый сон. Перед

рассветом она бросилась на постель и задремала; «но и тут ужасные мечтания поминутно ее пробуждали. То казалось ей, что в самую минуту, как она садилась в сани, чтоб ехать венчаться, отец ее останавливал ее, с мучительной быстротой тащил ее по снегу и бросал в темное, бездонное подземелье... и она летела стремглав с неизъяснимым замиранием сердца». Этот сон, конечно, не более, как образ и воплощение тревожных чувств Марьи Гавриловны, ее страхов и угрызений совести. Но как понять ее второе сновидение? «То видела она Владимира, лежавшего на траве, бледного, окровавленного. Он, умирая, молил ее пронзительным голосом поспешить с ним обвенчаться». Психологическими мотивами этого сна нельзя объяснить. Положим, Марья Гавриловна втайне знает ненадежность своего возлюбленного. Владимир, конечно, не герой, он – бледная личность; Марья Гавриловна могла давно, не давая себе отчета, почувствовать в его фигуре, в глазах, в звуках его голоса – роковую обреченность, судьбу неудачника. За всем тем в ее сновидении остается неразгаданное ядро: предвидение насильственной смерти Владимира. Надо обратить внимание на одну подробность в изложении обоих снов, которой нельзя объяснить оплошностью автора. Пушкин писал обдуманно и тщательно. Действие рассказа происходит, как известно, зимою; и в первом сновидении Марьи Гавриловны, о гневе ее отца, правильно упоминаются сани и снег; очевидно, этот сон непосредственно продолжает сознательное, согласное с действительностью, мышление Марьи Гавриловны. Напротив, ее второй сон, о смерти Владимира, явно чужд ее сознанию и оторван от действительности: она видит Владимира лежащим на траве. Едва ли можно сомневаться, что этому второму сновидению Пушкин умышленно придал смысл фактического предвидения; из дальнейшего мы узнаем, что вскоре после той роковой ночи Владимир был смертельно ранен под Бородином, 26 августа, то есть, вероятно, в самом деле «лежал на траве, бледный и окровавленный», как заранее приснилось Марье Гавриловне.

3. Сон Гринева. – Шестнадцатилетний Гринева едет в Оренбург, чтобы определиться на службу. В Симбирске, на постоялом дворе, он проиграл большую для него сумму денег и в довершение напился пьян. С беспокойной совестью, мучимый раскаянием, он выезжает из Симбирска; конечно, вспоминает своего строгого отца, представляет себе его гнев и огорчение. К вечеру в степи путников застигает буря; сбившись с дороги, они беспомощно ждут среди выжженной мглы, когда невдалеке показывается прохожий. Они окликают его; в темноте его нельзя разглядеть; в разговоре Гринева успевает только заметить, что мужик умен, хладнокровен, решителен; по крайней мере Гринева сознает только эти свои наблюдения, хотя бессознательно он уловил, как увидим, и многие другие черты незнакомца. Прохожий берется довести их до жилья, садится на облучок, и кибитка трогает. Дальше Гринева рассказывает так:

«Я опустил цыновку, закутался в шубу и задремал, убаюканный пением бури и качкою тихой езды.

«Мне приснился сон, которого никогда не мог я позабыть и в котором до сих пор вижу нечто пророческое, когда соображаю с ним странные обстоятельства моей жизни. Читатель извинит меня: ибо, вероятно, знает по опыту, как сродно человеку предаваться суеверию, несмотря на всевозможное презрение к предрассудкам.

«Я находился в том состоянии чувств и души, когда существенность, уступая мечтаньям, сливается с ними в неясных видениях первосония. Мне казалось, буря еще свирепствовал и мы еще блуждали по снежной пустыне... Вдруг увидел я ворота – и въехал на барский двор нашей усадьбы. Первою мыслию моею было опасение, чтоб батюшка не прогневался на меня за невольное возвращение под кровлю родительскую, и не почел бы его умышленным послушанием. С беспокойством я выпрыгнул из кибитки и вижу: матушка встречает меня на крыльце с видом глубокого огорчения. «Тише, – говорит она мне, – отец болен при смерти и желает с тобою проститься». – Пораженный страхом, я иду за нею в спальню. Вижу, комната слабо освещена; у постели стоят люди с печальными лицами. Я тихонько подхожу к постеле; матушка приподнимает полог и говорит: «Андрей Петрович, Петруша приехал; он воротился, узнав о твоей болезни; благослови его». Я стал на колени и устремил глаза мои на больного. Что ж?... Вместо отца моего, вижу в постеле лежит мужик с черной бородою, весело на меня поглядывая. Я в недоумении оборотился к матушке, говоря ей: «Что это значит? Это не батюшка. И с какой мне стати просить благословения у мужика?» – «Все равно, Петруша, – отвечала мне матушка, – это твой посаженный отец; поцелуй у него ручку, и пусть он тебя благословит...». Я не соглашался. Тогда мужик вскочил с постели, выхватил топор из-за спины и стал махать во все стороны. Я хотел бежать... и не мог; комната наполнилась мертвыми телами; я спотыкался о тела и скользил в кровавых лужах... Страшный мужик ласково меня кликал, говоря: «Не бойсь, подойди под мое благословение...» Ужас и недоумение

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosofff.org
овладели мною...Ив эту минуту я проснулся».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию
(<http://www.litres.ru/mihail-gershenzon/izbrannoe-mudrost-pushkina/?lfrom=156749724>) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

notes

Примечания

1

Этюд «Скрижаль Пушкина», изъятый автором из книги, но сохранившийся в части тиража, помещен в Приложении настоящего издания [Ред.]

2

Пыпин А. Н. Характеристики литературных мнений. 1872–73. Изд. 3. С. 55, 70 и 88.

3

Соловьев Вл. Значение поэзии Пушкина // Вестник Европы г. 1899, декабрь. С. 709–711.

4

Овсяннико-Куликовский Д.Н. А. С. Пушкин: Произведения в стихотворной форме // История русской литературы XIX в. Изд. Т-ва Мир. Вып. 5. 1908. С. 373–376.

5

В Дивеевском житии Серафима Саровского есть рассказ о девушке, святой, которая ходила, опустив глаза в землю, – не глядела.

6

В последней книжке А.С. Волжского (изд. «Путь») хорошо сказано о таком же, как у Пушкина, отношении русского простонародья к святым: умиляется на святость, но не вожделеет ее. – И немецкий поэт сказал: Die Sterne, die begehrt man nicht (Звезды – их не вожделеют. – Гёте).

7

Св. Тереза определяет высшую форму экстаза, как чистое созерцание (contemplatio pura); это состояние характеризуется, по ее словам, совершенным замиранием как мысли и слова, так и воли: «Когда восхищение становится полным и общим, тогда человек не проявляет никакой деятельности, не совершает никаких поступков». Так учили и другие мистики.

8

«Свет небес, святая Роза!» (лат.).

9

Цитируется вариант, публикуемый в «Сценах из рыцарских времен» [Ред.].

10

Пушкин часто употребляет слово «разум» и в смысле рассудка, например:

Пылать – и разумом всечасно
Смирять волнение в крови.

Ясно, что здесь говорится не о том «разуме», который восхваляется в «Вакхической песне». Сравн.: «Думы – плоды подавленных страстей».

11

Сравн. в «Разговоре книгопродавца с поэтом»:

Одна бы в сердце пламенела
Лампадой чистою любви...

Настоящая статья дважды удостоивалась внимания печати: когда первоначально была прочитана публично, и после появления ее в философском ежегоднике «Мысль и слово». Отвечать на возражения было бы излишне: ответить должна, насколько сумеет, вся эта книга. Но два упрека, сделанные мне, требуют фактического разъяснения. И. Н. Игнатов, изложив мою статью, писал: «Вы видите, какое пенистое, какое искрометное шампанское. Страсть, разнузданность, ураган стихийного стремления! Лучше самая пагубная страсть, лучше сумасшествие, лучше исступленность, чем разум. Долой эволюцию, долой прогресс, долой просвещение и науку! – И это все говорил Пушкин? Правда ли это? Неужели правда? Но, если мы вспомним, какая масса митингов происходила около него на Страстной площади, какие агитационные речи слышал он, не мудрено, что он сам ими заразился и стал говорить то, о чем не смел и думать в течение своей земной и послеземной жизни». И. Н. Игнатов так и озаглавил свой фельетон: «Пушкин – максималист» (Русские ведомости, 14 марта 1918 г.) намек относится, конечно, к тем митингам, которые кипели вокруг памятника Пушкина в период большевистского переворота, то есть в конце 1917 и в начале 1918 г.; но моя статья была написана в царствование Николая II и публично читана в январе 1917[278 – Речь идет о двух чтениях: 16.1.1917 г. в Москве и 26.1.1917 г. в Петрограде.]; следовательно, если я выставил его, по словам И. Н. Игнатова, «агитатором большевизма и анархизма», то сделал я это не под влиянием большевизма, о котором тогда и помина не было. – Другой упрек сделал мне Ю. И. Айхенвальд в «Речи»[279 – В газете «Речь» за январь – февраль 1917 г. отзыв Ю. И. Айхенвальда о лекции М. О. Гершензона «Мудрость Пушкина» не обнаружен.] – упрек в том, что я умолчал о статье Д. С. Мережковского[280 – Речь идет о статье Д. С. Мережковского «Пушкин», вошедшей в его книгу «Вечные спутники»; в ней Мережковский разбирает книгу А. О. Смирновой (Россет) «Записки» и, отталкиваясь от текста «Записок», делает выводы о значении личности и творчества Пушкина для его современников и потомков. Приводим некоторые отрывки из статьи Мережковского: «Его не сравнивают ни со Львом Толстым, ни с Достоевским: ведь те – пророки, учителя, или хотя бы учителями, а Пушкин только поэт, только художник <...>». «Трудность обнаружить мирозерцание Пушкина заключается в том, что нет ни одного, главного произведения, в котором поэт сосредоточил бы свой гений... Наиболее совершенные создания Пушкина не имеют полной меры его сил: внимательный исследователь отходит от них с убеждением, что поэт выше своих созданий». «Народ и гений так связаны, что из одного и того же свойства народа проистекает и слабость и сила производимого им гения. Низкий уровень русской культуры – причина недовершенности пушкинской поэзии – в то же время благоприятствует той особенности его поэтического темперамента, которая делает русского поэта в известном отношении единственным даже среди величайших мировых поэтов. Эта особенность – простота». «В XIX веке, накануне шопенгауэровского пессимизма, проповеди усталости и буддийского отрешения от жизни, Пушкин в своей простоте – явление единственное, почти невероятное». «Вот мудрость Пушкина. Это – не аскетическое самоистязание, жажда мученичества во что бы то ни стало, как у Достоевского; не покаянный плач перед вечностью, как у Льва Толстого; не художественный нигилизм и нирвана в красоте, как у Тургенева; это – заздравная песня Ваху во славу жизни, вечное солнце, золотая мера вещей красота <...> Цена всякой человеческой мудрости воспитывается на отношении к смерти» (Цитируется по изданию: Мережковский Д. С. Вечные спутники. М., 1996. с. 373, 375, 381, 384, 387).], в значительной степени предвосхищающей мои выводы. В плагиате я не повинен: я действительно раньше не читал статьи Мережковского о Пушкине. Прочитав ее теперь, я в полной мере признаю за нею первенство относительно многих существенных соображений о поэзии Пушкина, изложенных в моей статье, и радуюсь этим совпадениям. На другой, философский упрек Ю. И. Айхенвальда, – что я искажил понятие бездейственности, – правильно ответил за меня Н. Я. Абрамович[281 – Гершензон цитирует по памяти следующий отрывок из главы о Пушкине в «Истории русской поэзии от Пушкина до наших дней» Н. Я. Абрамовича (лит. псевдоним Н. Кадмин): «Новый «реалистический» период жизни и творчества Пушкина ознаменован громадной внутренней работой. На первом месте стоит работа лично-внутренняя, работа дум, сознания, созерцания, постижения себя и мира <...> Чисто эстетический интерес к миру углубился художественным и психологическим

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org интересом к нему» (Кадмин Н. (Н. Я. Абрамович). История русской поэзии от Пушкина до наших дней. Т. II. М., 1914. С. 28).], определив бездейственность, о которой идет речь, как «неподвижное созерцание, в глубине которого заключена величайшая и напряженнейшая внутренняя активность».

13

«Так было трудно... заложить основание римского народа»[282 – Цитата из «Энеиды» Вергилия (1, 33) (Бабичев Н. Т., Боровский Я. М. Словарь латинских крылатых слов. 3-е изд. М.: Русский язык. 1988. С. 787).] (лат.).

14

См. тот же контраст умиления и корысти: Тургенев и Л. Н. Толстой – в моей книге «Мечта и мысль И. С. Тургенева».

15

Перед глазами, зримо, наглядно (лат.).

16

«Пылающее сердце» (лат.).

17

«Отвращение к явлениям» («Пресыщенность явлением») (лат.).

18

Воспроизвожу по рукописи Румянцевского музея, № 2373. [Эти черновые наброски Пушкина ныне опубликованы (с незначительными разночтениями). – Соч. в десяти томах. Т. VI. 1957. С. 726–727. – Ред.]

19

В существо дела (лат.).

20

В статье «О трех повестях г. Павлова».

21

См. Якушкин В.Е. Рукописи А. С. Пушкина в Румянцовск. Музее // Русская Старина. 1884, июль. С. 52. Любопытно отметить, что фамилию «Нарумов» Пушкин в первый раз употребил в черновом наброске начала «Дубровского», написанном, по-видимому, в одно время с черновым началом «Пиковой дамы»: в этом наброске позднейший Троекуров назван Нарумовым (см. Русская Старина, там же, авг. С. 329). Потом, решив переделать начало «Пиковой дамы», Пушкин использовал здесь эту фамилию; самодуру же из «Дубровского» дал имя Троекурова.

22

Стенные картины о блудном сыне были в 20–40-х годах, по-видимому, частой принадлежностью станционной обстановки; может быть, какой-нибудь немецкий коммивояжер развозил по русским почтовым станциям это произведение немецкой художественной промышленности. Гр. В. А. Сологуб в «Тарантасе» описывает комнату на почтовой станции: «Между окон красуются изображения Малек-Аделя на разъяренном коне, возвращение блудного сына, портрет графа Платова» и т. д.

23

Это стихотворение печатается без названия, по первой строке [Ред.].

24

С этим в связи – шутливое письмо Пушкина из Болдина к Дельвигу, от 4 ноября, где он называет себя «вассалом» Дельвига и свои стихи – «песнями трубадура». – «Я здесь, Инезилья» – конечно самостоятельное стихотворение, а не предназначалось для помещения в «Каменном Госте», как думают комментаторы: Пушкин не мог вложить мужскую песню в уста Лауры.

25

Прекрасно только то, чего нет (франц.).

26

Доу (совр. Дау) Джордж (1781–1829) – английский живописец и портретист на

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org
исторические темы. Автор около 33 портретов русских военачальников для «Военной галереи» Зимнего дворца, он писал с натуры в 1828 г. портрет Пушкина (не сохранился). Пушкин упомянул имя художника в двух своих произведениях: «Полководце» и «Путешествии в Арзрум» (Черейский – 2. С. 132).

27

Т. е. Виельгорскому [Ред.].

28

Сравн. у Пушкина – «Гольфстрем», с. 28–29 и *passim*.

29

Вопросы теории и психологии творчества. Т. 8. Харьков, 1923.

30

См. мою статью «Тень Пушкина». – Сб. «Искусство». Журн. Академии Худож. Наук. М., 1923.

31

Русский Архив. 1881. Т. 1. С. 431–438. Подлинник по-французски.

32

Жуковского.

33

«Архив Раевских». Ред. и прим. Б. Л. Модзалевского СПб., 1909. Т. II. С. 97, прим. 2; Модзалевский Б. Л. Библиотека Пушкина (Пушкин и его современники. IX–X.). С. 68.

34

Кавказская поминка о Пушкине. Тифлис, 1899. С. 10 9.

35

«Архив Раевских». Т. II, указ. место.

36

Соч. Пушкина. Под ред. П. О. Морозова. Просвещение. Т. VI. С. 669.

37

Там же.

38

Якушкин В. Е. Описание рукописей Пушкина // Русская Старина. 1884, ноябрь. С. 346.

39

Брюсов В. Письма Пушкина и к Пушкину. М. 1903. С. 9.

40

Стихотворный отрывок «Стамбул гяуры нынче славят», помещенный в 5-й главе «Путешествия», датированный в черновой 17 окт. 1830 г., мог быть вставлен в готовый текст.

41

Догадка Е. Г. Вейденбаума вполне подтверждается рукописью Пушкина: здесь фраза «Должно однакож надеяться»... вписана – и то не вся, а только до половины и оставлена недописанной – другими, гораздо более черными чернилами, и очень мелко, между строками и сбоку.

42

Библиотека А. С. Пушкина, см. выше. С. 314.

43

Там же. С. 67.

44

См.: Кавказская поминка о Пушкине. С. 52, прим.16.

45

Отмечу, что в рецензии на Илиаду Гнедича, несомненно принадлежащей перу Пушкина («Литер. газета», № 2, от 6 января), библиографические сведения даны так же подробно и притом точно в той же форме:... «в боль. 4-ю д.л.». То же и в 1-й статье об «Истории русского народа» Н. Полевого («Литер. газета», № 4, от 16 января). Сравн. также его рецензии в «Современнике» 1836 г. на «Востолу» и «Вечера на хуторе близ Диканьки».

46

«Забвение» по смыслу происходит от «забывать», «забыть» – от «забываться», что и разумел Пушкин под «забвением». Таких перечеканок в пушкинском языке немало; например, он неизменно употреблял слово «ничтожество» в совершенно не свойственном этому слову смысле уничтожения, небытия.

47

«Воспоминания в Царском Селе» (Воспоминаньями смущенный):

И въявь я вижу пред собою
Дней прошлых гордые следы. [Ред.]

48

Речь идет здесь именно о грезах воображения, но надо заметить, что понятие воображения у Пушкина вообще шире: он и воспоминание считает функцией воображения, как показывают цитированные выше стихи об Онегине:

И перед ним воображенье

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org
Свой пестрый мечет фараон,

после чего следует ряд картин памяти.

49

Стихотворение называется «Фонтану Бахчисарайского дворца». [Ред.]

50

Стихотворение называется «Платонизм». [Ред.]

51

Под «милыми предметами» Пушкин понимает женщин, как объектов любви; так, в третьей песне «Онегина»:

Не правда ль: милые предметы,
Которым за свои грехи
Писали втайне вы стихи,
Которым сердце посвящали,
Не все ли, русским языком
Владея слабо и с трудом,
Его так мило искажали

и т. п.

(III, 27).

52

(Онегин. I, 55).

53

Стихотворение называется «Послание Дельвигу» («Прими сей череп, Дельвиг: он»). [Ред.]

54

Юмор висельника (нем.).

55

Неслыханно! (нем.)

56

В. Шекспир. «Гамлет». Сцена из V акта в переводе А. И. Кроненберга (1848). См.: «Гамлет» в русских переводах XIX–XX веков. М.: Интербук, 1994. С. 297.

57

1826 г., без заглавия (Пушкин. Соч. в 10-ти томах. Т. II. 1956. С. 330) [Ред.].

58

Вместо строки: Несу надгробные цветы.

59

Публикуется без заголовка, описывается по начальным стихам: «Перед гробницею святой...» [Ред.].

60

Они оба написаны осенью 1830 года, когда Пушкин, в связи с жгучими воспоминаниями о той умершей женщине, чей образ внушил ему тогда же «Заклинание» и «Для берегов отчизны дальней», так много углублялся мыслью в «тайны гроба роковые». Конец «Гробовщика» датирован 9 сентября, конец «Каменного гостя» – 1 ноября. Но «Каменный гость» был именно только закончен в эти дни, а задуман и начат, как известно, гораздо раньше, еще до марта 1828 года.

61

Пляска смерти (франц.).

Комментарии

1

Печатается по: М. О. Гершензон. Мудрость Пушкина. Т-во «Книгоиздательство Писателей в Москве». М., 1919. Приложение (Северная любовь Пушкина; Пушкин и гр. Е. К. Воронцова; Друг Пушкина Нащокин) публикуется в составе сб. «Образы прошлого» (1912), где эти очерки были собраны впервые (см. т. 3 наст. издания). Комментарии составлены Е. Ю. Литвин.

2

Одноименный с названием книги очерк опубликован впервые в сб. «Мысль и Слово». Философский ежегодник, издаваемый под редакцией Г. Шпета. М., 1917. С. 1–37. Однако в начале 1917 г. Гершензон дважды выступал с лекцией «Мудрость Пушкина» (16 января в БЗК в Москве и 26 января в зале Тенишевского училища в Петрограде). Об этом он рассказывает в письмах к брату от 17 и 30 января 1917 г. – См.: Гершензон М. О. Письма к брату. Изд. М. и С. Сабашниковых. М., 1927. С. 179–181.

3

Белинский В. Г. Сочинения Александра Пушкина. Статья пятая (цит. по изданию: Белинский В. Г. Собрание сочинений в девяти томах. Т. 6, М.: Художественная литература. С. 282–283 (далее: Белинский)).

4

Там же. С. 283.

5

Ф. М. Достоевский выступил со своей знаменитой речью о Пушкине в июне 1880 г. на втором заседании Общества любителей российской словесности, проходившего в рамках мероприятий, посвященных открытию в Москве памятника А. С. Пушкину. Она была опубликована в августовской книжке «Дневника писателя» за 1880 г. Гершензон в вольном пересказе цитирует следующие фразы из речи Достоевского: «Фантастический и нетерпеливый человек жаждет спасения пока лишь от явлений внешних;...И никогда-то он не поймет, что правда прежде всего внутри его самого <...> Нет, эта гениальная поэма («Цыганы». – Е.Л.) не подражание! Тут уже подсказывается русское решение вопроса, «проклятого вопроса» по народной вере и правде: «Смирись, гордый человек, и прежде всего потрудись на родной ниве», – вот это решение по народной правде и народному разуму. «Не вне тебя правда, а в тебе самом, найди себя в себе, подчини себя себе, овладей собой – и узришь правду. Не в вещах эта правда, не вне тебя и не за морем где-нибудь, а прежде всего в твоём собственном труде над собою. Победишь себя, усмиришь себя, начнешь великое дело и других свободными сделаешь и узришь счастье, ибо наполнится жизнь твоя, и поймешь наконец народ свой и святую правду его». (Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений в 30-ти томах. Т. 26, л.: Наука, 1984. С. 138, 139.)

6

Возможно, что Гершензон имел в виду уже ставшее к тому времени распространенным саморазграничение символистского течения на два потока: раннее – эстетское («пленительное») и религиозно-мистическое (по Гершензону, «тайное»), ассоциирующиеся в первом случае с Брюсовым и Бальмонтом и, с другой стороны, так называемыми «старшими символистами» и «младосимволистами» (Вяч. Иванов, Блок, Белый и др.) (За помощь в данном комментарии благодарю ведущего научного сотрудника ИМЛИ И. В. Корецкую).

7

* Агасфер – «Вечный жид»; персонаж христианской легенды позднего западноевропейского средневековья. Имя Агасфер – стилизованное библейское имя, произвольно заимствованное из Ветхого завета (легенды об Эсфири); в более ранних версиях легенды встречаются и другие имена – Эспера-Диос («Надейся на бога»), Бутадеус («ударивший бога»), Картафил (см. Мифы народов мира. М., 1989. С. 54).

8

Гершензон имеет в виду следующую фразу из одесского письма Пушкина П. А. Вяземскому, датированному апрелем – первой половиной мая 1824 года: «... читая Шекспира и Библию, святой дух иногда мне по сердцу, но предпочитаю Гёте и Шекспира. – Ты хочешь знать, что я делаю, – пишу пестрые строфы романтической поэмы и беру уроки чистого афеизма» (Х. С. 70). Письмо полностью не сохранилось, оно было перлюстрировано. Именно эти строки послужили основной причиной высылки Пушкина из Одессы в Михайловское.

9

Ормузд – другие наименования: Ахура Мазда Авест «Господь Мудрый»; древнеперс. Аурамазда; среднеперс. Ормазд, в грецизированной передаче Оромаздес. Верховный бог зороастрийского пантеона, в системе дуализма тождественный мировому Добру и противостоящий Ангхро Майнью (см. ниже). Представление восходит к культу Ахуров в индо-иранской религии; по одной из версий, уже в то время Ахура Мазда почитался у многих племен как верховный бог, связанный с небом и иногда олицетворяющий «небесную твердь». Ариман – другое наименование Ангхро Майнью Авест. «Злой Дух»; среднеперс. и фарси Ахриман; в грецизированной передаче Ариман. В зороастрийских религиозных системах всех эпох – воплощение Мирового Зла, антагонист Ахура Мазды. (См.: Зороастрийская мифология. Рак И. Ф. Мифы древнего и средневекового Ирана // Нева, СПб., 1998. С. 446, 454.)

10

Стихотворение Пушкина «В часы забав иль праздной скуки...» (1830) (III. С. 157).

11

Цитата из стихотворения Пушкина «Еще одной высокой, важной песни...» (1829). В современном академическом издании Пушкина эти строки выглядят так:

«Они дают мне знать сердечну глубь,
В могуществе и немощах его,
Они меня любить, лелеять учат
Не смертные, таинственные чувства»

(III. с. 150).

12

Творчеству и биографии Пушкина А. Мицкевич посвятил следующие работы: «О польских переводах из Дмитриева и Пушкина», «Пушкин и литературное движение в России», а также коснулся его творчества в двух курсах лекций «О славянской литературе» (16.II. 1841; 24.V., 7.VI 1842). Упоминания о стихотворении «Пророк» в них нет.

13

Речь идет о произведении Данте «Божественная комедия».

14

Цитата из стихотворения Пушкина «Козлову» (1825).

15

Цитаты из стихотворения «К***» (1825), посвященное А. П. Керн.

16

Гершензон приводит строки из начальных строф 4-й главы «Евгения Онегина», изъятых Пушкиным. См.: Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: в 10 т. Т. V. С. 528.

17

Цитата из стихотворения Пушкина «Под небом голубым страны своей родной...» (1826), посвященное памяти Амалии Ризнич (II. с. 250).

18

Цитата из неоконченной поэмы Пушкина «Езерский» (XIII строфа). См. также «Египетские ночи». В академическом издании Пушкина последние две строчки выглядят так:

«Гордись: таков и ты поэт,
И для тебя условий нет»

(IV. с. 250).

19

Евгений Онегин. Гл. I, строфа XLVI.

20

Там же. Гл. VI, XLVI.

21

Там же. Гл. II, VII.

22

Начало стихотворения «Мордвинову» (1827): «Под хладом старости угрюмо угасал...» (III. с. 16).

23

Стихотворение «Дар напрасный, дар случайный...» написано 26 мая 1828 г.

24

Из стихотворения «К морю» («Прощай, свободная стихия!», 1824). В академическом издании Пушкина данная строфа выглядит так:

«Мир опустел... Теперь куда же
меня б ты вынес, океан?
Судьба земли повсюду та же:
где капля блага, там на страже
уж просвещенье иль тиран»

25

Слова Алеко из ранней редакции «Цыган».

26

Из стихотворения «Предчувствие» (1828). Стихотворение написано в связи с делом о распространении стихотворения «Из Андрея Шенье» и допросами о принадлежности Пушкину «Гавриилиады».

27

Из письма к Н. И. Кривцову от 10 февраля 1831 года: «<...> Счастья мне не было. Мне за 30 лет. В тридцать лет люди обыкновенно женятся – я поступаю как люди и, вероятно, не буду в том раскаиваться. К тому же я женюсь без упоения, без ребяческого очарования. Будущность является мне не в розах, но в строгой наготе своей <...>» (X. С. 264).

28

Усеченная цитата из последней XLVI строфы VI главы «Евгения Онегина». Приводим ее полный текст:

«Дай оглянусь. Простите ж, сени,
Где дни мои текли в глуши,
Исполнены страстей и лени
И снов задумчивой души.
А ты, младое вдохновенье,
Волнуй мое воображенье,
Дремоту сердца оживляй,
В мой угол чаще прилетай,
Не дай остыть душе поэта,
Ожесточиться, очерстветь,
И наконец окаменеть
В мертвящем упоенье света,
В сем омуте, где с вами я
Купаюсь, милые друзья».

29

«Кто, волны, вас остановил», 1823 г. Ср. «Свободы сеятель пустынный», особенно строфу в академическом собрании сочинений:

«Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.»

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич»

(II. С. 145).

30

Последняя строка стихотворения Ф. И. Тютчева, предположительно датированного 1830 годом: «Как над горячею золой...»

31

К этому времени автором основных трудов о последней дуэли А. С. Пушкина был пушкинист и историк революционного движения в России П. Е. Щеголев. В 1915 г. в VI томе Венгеровского издания собрания сочинений А. С. Пушкина появилась его статья «Последняя дуэль Пушкина», а в 1916 г. в периодическом издании «Пушкин и его современники» вышло первое издание его фундаментального труда «Дуэль и смерть Пушкина: исследования и материалы»; 2-е издание, исправленное и дополненное, появилось в начале 1917 г. (Сохранилась обширная переписка Гершензона со Щеголевым, публикация которой войдет в том 5 настоящего издания.)

32

Древнегреческий философ Пифагор (ок. 580–500 до н. э.) и его последователи, абсолютизируя абстракцию количества, пришли к выводу, что количественные отношения являются сущностью вещей.

33

Строка стихотворения А. С. Пушкина 1823 г. «Мое беспечное незнание» (II. С. 143).

34

Из того же стихотворения. У Гершензона неточно процитирована последняя строка приведенного им стихотворного отрывка. В академическом издании Пушкина она выглядит так: «Боготворить не устыдился?» (II. С. 143).

35

То же стихотворение (цит. также: «Бывало в сладком ослепенье»):

Взглянул на мир я взором ясным
И изумился в тишине;...
Чего мечтатель молодой,

Страница 143

36

В статье «Александр Радищев», датированной 3 апреля 1836 г., Пушкин писал: «Мы никогда не почитали Радищева великим человеком. Поступок его всегда казался нам преступлением, ничем не извиняемым, а «Путешествие в Москву» весьма посредственной книгой; но со всем тем не можем в нем не признать преступника с духом необыкновенным; политического фанатика, заблуждающегося конечно, но действующего с удивительным самоотвержением и с какой-то рыцарской совестью <...> Сочинения Радищева в стихах и прозе (кроме «Путешествия») изданы были в 1807 году. Самое пространное из его сочинений есть философическое рассуждение «О Человеке, о его смертности и бессмертии». Умствования оно пошло и не одушевлено слогом. <...> Какую цель имел Радищев? чего именно желал он? На эти вопросы вряд ли бы мог он сам отвечать удовлетворительно. Влияние его было ничтожно. Все прочли его книгу и забыли ее несмотря на то, что в ней есть несколько благоразумных мыслей, несколько благонамеренных предположений, которые не имели никакой нужды быть облечены в бранчивые и напыщенные выражения и незаконно тиснуты в станках тайной типографии, с примесью пошлого и преступного пустословия. Они принесли бы истинную пользу, будучи представлены с большей искренностью и благоволением; ибо нет убедительности в поношениях, и нет истины, где нет любви» (VII. С. 242, 244, 246).

37

Стихотворение «Пророк» написано 8 сентября 1826 года (II. С. 384).

38

Статья А. С. Пушкина «Баратынский» при его жизни не печаталась. Написана, по-видимому, в октябре – ноябре 1830 г. в Болдине, и, вероятно, предназначалась для «Литературной газеты». Опубликована в 1840 г. (VII. С. 489). При цитировании Гершензон нарушил порядок расположения: первые три цитируемые им строки в самом деле завершают статью, а следующая, более развернутая цитата относится к ее началу (См. VII. С. 153–154).

39

Речь идет о письме Пушкина В. А. Жуковскому от 20-х чисел апреля 1825 г. (X. С. 112).

40

Речь идет об издании: «Библиотека великих писателей» под ред. С. А. Венгерова. Пушкин. Изд. Брокгауз – Ефрон. СПб., 1911. Т. IV. С. 45–48; на С. 47 факсимильное воспроизведение автографа «Памятника» (далее: Венгерова).

41

Речь идет об «Истории русской литературы XIX в.» под ред. Д. Н. Овсяннико-Куликовского. Пушкину была посвящена глава 4 тома I этого издания. Глава поделена на два раздела: о прозе писал Н. О. Лернер, а о поэзии сам Д. Н. Овсяннико-Куликовский. О стихотворении «Памятник» у него ничего не сказано.

42

«И чем дальше, тем больше замыкался Пушкин в гордом одиночестве эстетического индивидуализма; если он иногда и приближался даже к ультраиндивидуализму, к эстетизму – заявляя, например, что не только цель поэзии – поэзия, но и цель поэта – поэзия, что художник рожден исключительно

...для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв,

– то это было мимолетным облачком, не оставляющим тени на светлом и широком мировоззрении Пушкина» (Иванов-Разумник Р. В. История русской общественной мысли. Индивидуализм и мещанство в русской литературе и жизни XIX в. Т. I. Изд. 3-е, доп. СПб., 1911. С. 145).

43

Речь идет об издании: Незеленов А.И. История русской словесности для средних учебных заведений. Под ред. В. В. Каллаша. Изд. товарищества В. В. Думнова, наследн. бр. Салаевых. Ч. II (Карамзинский и пушкинский периоды). Всего вышло девятнадцать изданий. В РГБ есть 18-е изд. 1912 г. и 19-е изд. М., 1914; общий обзор жизни и деятельности А. С. Пушкина на стр. 79–156, 281.

44

См.: Покровский В. А. С. Пушкин. Его жизнь и творчество. Сборник историко-литературных статей. 3-е доп. издание. М., 1912. VII + 791 с. (далее: Покровский).

45

Статья Сухомлинова «Источник вдохновения Пушкина» (Покровский. С. 157–158).

46

Кадлубовский <А.П.> Пушкин – певец красоты (Покровский. С. 172–180).

47

Статья В.П. Гаевского, <Я.К.> Грота, <В.Я.> Стоюнина «Воспитательное и образовательное значение Царскосельского лицея» (Покровский. С. 39–45).

48

Статья Евлахова «Эстетическая теория Пушкина» (Покровский. С. 333–340).

49

Гершензон ошибся. В статье В. С. Соловьева «Значение поэзии в стихотворениях Пушкина» речь идет главным образом о стихотворении «Пророк». (См.: Соловьев В.С. Философия искусства и литературная критика // Сост. и комментарии Р. Гальцевой, И. Роднянской и А. А. Носова. – М.: Искусство. 1991. С. 316–370.) – Серия «История эстетики в памятниках и документах». О стихотворении «Памятник» кратко упомянуто в главе 2 статьи Соловьева «Поэзия гр. А. К. Толстого» // Там же. С. 484–485.

50

Впервые опубликовано: «София». 1914. № 3. С. 63–72; под заглавием «Пушкин и Лермонтов» помещено в т. VI «Пушкин» «Библиотеки великих писателей» под ред. С. А. Венгерова. СПб., 1915. С. 514–519.

51

Ротчев Александр Гаврилович (1806 или 1807–20.VIII.1873) – воспитанник Московского университета, поэт, переводчик, сотрудник альманахов «Ураания» (1826), «Северная лира» (1827), «Северные цветы» (1829,1830) и др. Ротчеву принадлежит цикл стихов «Подражание Корану» (1826–1827), написанный, по-видимому, не без влияния Пушкина (См.: Черейский Л. А. Пушкин и его окружение. Словарь-справочник. Под ред. В. Э. Вацура. Изд. 2-е. л., 1988. С. 379. далее: Черейский–2.).

52

Речь идет о стихотворении М. Ю. Лермонтова «Склонись ко мне, красавец молодой!» (1832). По мнению современного исследователя Л. Н. Назаровой, версия, что оно восходит к стихотворению А. Г. Ротчева «Песнь вакханки», которое в свою очередь является сокращенным переводом произведения А. Шенье «Лидия», возможна. Но эта тема, если она и взята у предшественников, значительно усложнена Лермонтовым в психологическом плане («Лермонтовская энциклопедия». М. 1981. С. 507).

53

Стихотворение Ф. И. Тютчева «29-ое января 1837», первая строка которого звучит так: «Ты был богов орган живой» (См.: Тютчев Ф. И. Собрание сочинений в двух томах. Т. I. М.: Художественная литература, 1984. С. 106).

54

Гершензон приводит строки из начальных стрóf 4-й главы «Евгения Онегина», изъятых Пушкиным. См.: Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: в 10 т. Т. V. С. 528.

55

Стихотворение Пушкина «Воспоминание» («Когда для смертного умолкнет шумный день», 1828) (Ш.С. 57).

56

Последние две строки из стихотворения Пушкина «О. Массон» (1819) выглядят так:

«Ночь восторгов, ночь забвенья
Нам наверное назначь»

(I. С. 312).

57

Строки из стихотворения Пушкина «Прозерпина» (1824):

«Там бессмертье, там забвенье,
Там утехам нет конца,
Прозерпина в упоенье,
Без порфиры и венца,
Повинуется желаньям,
Предает его лобзаньям
Сокровенные красы <...>»

(II. С. 162).

58

Цитата из стихотворения «Калмычке» (1829).

59

Гершензон пользовался следующим изданием: Платон. Творения. Т. 1–2. М.: Изд. К. Т. Солдатенкова, 1899–1903. В современном издании этот отрывок в переводе А. Егунова звучит так: «Третий вид одержимости и иступления – от Муз, оно охватывает нежную и непорочную душу, пробуждает ее, заставляет излить вакхический восторг в песнопениях и в иных родах поэзии и, украшая несчетное множество деяний предков, воспитывает потомков» (Платон. Избранные диалоги. М.: «Художественная литература», 1965. С. 208).

60

Начало работы Андрея Белого над романом «Котик Летаев» относится к октябрю 1915 г., когда он находился в Швейцарии. В первом полугодии 1916 г. написаны 2–5 главы «Котика Летаева», в октябре того же года написаны 6-я глава и эпилог. В августе 1917 г. в 1-м сборнике альманаха «Скифы» опубликованы первые главы романа, а в январе 1918 г. окончание «Котика Летаева» напечатано во 2-м сборнике «Скифов» (См.: «Андрей Белый. Проблемы творчества. Статьи, воспоминания, публикации». М.: Советский писатель, 1988. С. 789–791).

61

Бергсон Анри (1859–1941) – французский философ-интуитивист, создатель учения о творческой эволюции. Автор работ «Непосредственные данные сознания» (1889), «Материя и память» (1896), «Творческая эволюция» (1907).

62

Платен Август, граф (1796–1835) – немецкий поэт. Культивировал строгую классическую форму, выступал против немецкого романтизма, следуя в литературе античным образцам.

63

Закревская Аграфена Федоровна (урожд. графиня Толстая) (1799–1879) – предмет увлечения Е. А. Баратынского, П. А. Вяземского, А. С. Пушкина. Пушкин посвятил Закревской стихотворения «Портрет», «Наперсник», «Счастлив тот, кто избран своенравно» (Черейский – 2. С. 162–163).

64

В письме к брату Полю-Эдмону, датированном 4 августа 1831 г., Альфред де Мюссе писал: «Когда, слагая стих, я чувствую некоторое знакомое мне биение сердца, я уверен, что этот стих наилучшее из того, что я могу произвести» (Musse A. de. Oeuvres Posthumes. Paris, 1887. P. 212) (пер. с французского Е. П. Гречаной, которую комментатор благодарит за помощь в разыскании этой цитаты).

65

Впервые: Пушкин. Соч. т. IV // Библиотека великих писателей. Под ред. С. А. Венгерова. СПб.: 1910. С. 328–334.

66

В статье одиннадцатой «Сочинения Александра Пушкина» Белинский писал: ««Пиковая дама» – собственно не повесть, а мастерской рассказ. В ней удивительно очерчена старая графиня, ее воспитанница, их отношения и сильный, но демонически-эгоистический характер Германна. Собственно, это не повесть, а анекдот: для повести содержание «Пиковой дамы» слишком исключительно и случайно. Но рассказ – повторяем – верх мастерства» (Белинский. Т. 6. С. 490).

67

Судиенко Михаил Осипович (1802–1871) – с января 1827 г. поручик лейб-гвардии Кирасирского полка, с сентября 1827 г. адъютант А. Х. Бенкендорфа. Сохранилось три письма Пушкина Судиенко, а 27 августа 1833 г. Пушкин посетил Судиенко в Москве (Черейский-2. С. 424–425).

68

Гершензон цитирует начало второго тома «Войны и мира» (Толстой Л.Н. Война и мир. Т. 2. М.: Художественная литература, 1968. С. 8).

69

Впервые в издании: Пушкин А. С. Моцарт и Сальери. Рисунки М. Врубеля. Изд. Общины Св. Евгении. Пг., 1917. С. 3–9.

70

Вариант пятой строфы незавершенного стихотворения Пушкина «В. Ф. Раевскому», 1822. В академическом издании Пушкина этот отрывок выглядит следующим образом:

Иная, высшая награда
Была мне роком суждена –
Самолюбивых дум отрада!
Мечтанья суетного сна! (II. 106).

Павел Александрович Катенин (1792–1853) – поэт, критик, офицер. Пушкин познакомился с Катениным летом 1817 г., встречался с ним в 1818–1820 гг. Он ценил Катенина как эрудированного критика и своеобразного поэта, автора смелых экспериментов, введшего в поэзию «язык и предметы простонародные». Вместе с тем Пушкин понимал ограниченность и догматичность литературных взглядов Катенина и потому для их отношений был характерен определенный внутренний антагонизм. Об этом (уже после смерти Катенина), свидетельствует в частности, П. В. Анненков. В письме к А. И. Тургеневу 1853 г. он рассказывает о реакции Катенина на «маленькую трагедию» Пушкина «Моцарт и Сальери»: «Катенин прислал мне записку о Пушкине – и потребовал мнения. В этой записке между прочим, «Борис Годунов» осуждался потому, что не годился для сцены, а «Моцарт и Сальери» – потому, что на Сальери возведено даром преступление, в котором он невиновен. На послание я отвечал, что никто не думает о настоящем Сальери, а что это – только тип даровитой зависти. Катенин возразил: стыдитесь; ведь вы, полагаю, честный человек и клевету одобрять не можете. Я на это: искусство имеет другую мораль, чем общество. А он мне: мораль одна и писатель должен еще более беречь чужое имя, чем гостиная, деревня или город. Да вот десятое письмо по этому эпически-эстетическому вопросу и обмениваем» (цит. по статье А. Г. Горнфельда «Моцарт и Сальери» в венгерском издании Пушкина. – Т. III. С. 121).

Фрина – греческая гетера, послужившая моделью Праксителию для его Афродиты Книдской, а Апеллесу – для Афродиты Анадиомены. Легенда о красоте, ставшая оправдательным аргументом в судебном разбирательстве, берет начало в истории о том, как Фрина предстала перед своими судьями в облике жрицы храма Афродиты, воплощением самой богини. История эта известна по составленному Афением (III–II вв. до Р.Х.) сборнику фрагментов из греческих писателей «Пирующие софисты» (Athen. Dīpnosoph. 590 d. Указано И.В. Шталь), переведенному на европейские языки, известному в русской культурной среде и, в частности, послужившему Пушкину источником ряда стихотворений в античном духе (См. комментарий В. С. Непомнящего в издании «Моцарт и Сальери», трагедия Пушкина. Движение во времени. Антология трактовок и концепций от Белинского до наших дней. М.: Наследие, 1997. С. 919).

Вывод Гершензона во многом перекликается с заключительными строками из статьи А. Г. Горнфельда: «Все свершилось: Сальери знает, что внезапных даров уже не принесет ему жестокая жизнь и не придет к нему безумная радость творческой ночи. Явился «новый Гайден» и сотворил великое – и слился воедино с тем злейшим врагом. «Заветный дар любви» перешел в чашу дружбы. И у Сальери есть все для того, чтобы закончить свою жизнь, кроме дара Изоры. Он найдет другой путь в вечность» (Библиотека великих писателей. Пушкин. Т. III. С. 126).

Наталия Ивановна Гончарова (1785–1848) – мать Н. Н. Пушкиной. Пушкин познакомился с будущей тещей в начале 1829 г., когда через Ф. И. Толстого был введен в московский дом Гончаровых. Дальнейшее общение Пушкина с Н. И. Гончаровой связано со сватовством, помолвкой и женитьбой на ее дочери и с первым месяцем жизни молодоженов в Москве. Отношения Пушкина с Н. И. Гончаровой были натянутыми, из-за вмешательства тещи в семейную жизнь Пушкина молодые были вынуждены в

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org
середине мая 1831 г. уехать из Москвы и Пушкин разорвал с ней отношения
(Черейский-2. С. 114).

75

Афанасий Николаевич Гончаров (1760–1832) – дед Н. Н. Пушкиной, внук основателя полотняных заводов в Медынском уезде Калужской губернии. К 1830-м годам растратил свое огромное состояние и оставил наследникам около 1,5 млн. руб. долгу. Знакомство с Пушкиным относится к маю 1830 г., когда он посетил имение Гончаровых. Их общение и переписка касались исключительно хозяйственных дел. 7 июня 1832 г., будучи в Петербурге, Гончаров крестил первую дочь Пушкиных – Марию (Черейский-2. С. 112).

76

Письмо Пушкина А. Н. Гончарову от 14 августа 1830 г. (Х. С. 238).

77

Пушкин уезжал из Москвы 31 августа 1830 г. (Там же).

78

Письмо от 29 сентября 1830 г. (Х. С. 240, 241).

79

Данная «цитата» Гершензона, по всей видимости, компиляция из двух работ А. А. Потебни «Мысль и язык» и «Из лекций по теории словесности». Приведем здесь два отрывка из первой работы А. А. Потебни и один из второй.

«<...> Что касается до самого субъективного содержания мысли говорящего и мысли понимающего, то эти содержания до такой степени различны, что хотя это различие обыкновенно замечается только при явных недоразумениях <...>, но легко может быть создано и при так называемом полном понимании. Мысли говорящего и понимающего сходятся между собой только в слове. <...> Итак, слово есть настолько средство понимать другого, насколько оно средство понимать самого себя. Оно потому служит посредником между людьми и устанавливает между ними разумную связь, что в отдельном лице назначено посредствовать между новым восприятием (и вообще тем, что в данное мгновение есть в сознании) и находящимся вне сознания прежним запасом мысли. Сила человеческой мысли не в том, что слово вызывает в сознании прежние восприятия (это возможно и без слов), а в том, что именно оно заставляет человека пользоваться сокровищами своего прошедшего» (Потебня А. А. Эстетика и поэтика. М.: Искусство, 1976. С. 139–140, 143).

«<...> Есть два рода иносказательности: в одном – образ принадлежит к другому порядку явлений, чем его значение <...> В другом – образ и значение принадлежат к одному и тому порядку явлений. Это обыкновенная художественная типичность <...> Ряд последовательных ответов на один и тот же вопрос переходит от иносказательности первого рода к иносказательности второго» (Там же. С. 553–554).

80

Гершензон цитирует статью В. Я. Брюсова «Домик в Коломне» в томе III венгеровского собрания сочинений Пушкина (С. 88–91). Цитируются страницы 88–89. Последняя цитата не совсем точна. Она выглядит так: «Эти строфы (XV–XXII), которые, впрочем, сам Пушкин и не напечатал, остаются горестным свидетельством, как больно ощущал он ту травлю, которую предприняли против него в те годы критики и которую он старался презирать» (С. 89).

81

Стройновская Екатерина Александровна, урожд. Буткевич, графиня (1800–1867) – жена графа В. В. Стройновского (1747–1834), писателя и сенатора. Пушкин жил по соседству с ней (наб. р. Фонтанки) и видел ее в церкви Покрова в Коломне (1818–1820). По утверждению П. В. Нащокина и П. А. Плетнева, Пушкин описал эти встречи в «Домике в Коломне». В позднейших воспоминаниях племянник Стройновской Н. С. Маевский писал: «Пушкин не был с нею знаком, но ходил, говорят, в церковь Покрова любоваться ею» (Черейский–2. С. 422).

82

Неточная цитата из книги П. В. Анненкова «А. С. Пушкин. Материалы для его биографии и оценки произведений». СПб., 1873. С. 285. Цитата выглядит следующим образом: «Когда в сокращенном виде напечатана она была в «Новоселье» 1833, то почти всеми была принята за признак конечного падения нашего поэта. Даже в обществах старались не упоминать о ней в присутствии автора, щадя его самолюбие и покрывая снисхождением печальный факт преждевременной потери таланта».

83

Белинский В. Г. Сочинения Александра Пушкина. Статья одиннадцатая.

84

П. В. Анненков. Одно слово в цитате дано неточно. У Анненкова: «беззловобивость»).

85

Этюд М. О. Гершензона «Скрижаль Пушкина», в части тиража вышедший в свет против воли автора, несмотря на его ошибку, представляет большой интерес – и психологический, и литературоведческий (и ошибки талантливое ученого поучительны и помогают следовать за ним в его поисках); важен этот текст и для понимания интересов Пушкина (он не случайно переписал для себя объемистое, более одной печатной страницы примечание Жуковского; очевидно, оно очень его заинтересовало). Дорожил этой страницей и Жуковский, он полностью повторяет ее в письме 1848 г. к Гоголю: Жуковский В. А. Стихотворения. Поэмы. Проза. М., 1983. С. 376–377. Поэтому издатели решаются опубликовать этот этюд, изъяв его из основного корпуса книги «Мудрость Пушкина». По поводу ошибки М. О. Гершензона были опубликованы статьи П. Е. Щеголева («Книга и революция». 1920. Кн. 2. С. 57–60), Н. Лернера (Там же. Кн. 1 (13). С. 81) и др. (см. Библиографию Бермана под 1919 годом – Т. 4 настоящего издания). Берман сообщает: «Эта статья (с. 5–6) М. О. Гершензоном была по отпечатанию книги вырезана, так как оказалась отрывком из «Наль и Дамаянти» Жуковского. В продажу поступило некоторое количество экземпляров с оставшейся страницей, благодаря недобросовестности типографии» (Берман Я.З. М. О. Гершензон. Библиография. Вып. LII. Одесса, 1928. С. 42 (далее: Берман). Берман ошибся: прозаический текст, переписанный Пушкиным, не мог быть отрывком из поэмы «Наль и Дамаянти», – это примечание В. А. Жуковского к своему стихотворению «Лал-ла Рук», строфа из которого цитируется. См. также Проскурина В. Течение Гольфстрема: Михаил Гершензон, его жизнь и миф. СПб., 1998. Гл. 6. \Ред.]

86

Речь идет о работе «Описание рукописей Пушкина» В. Е. Якушкина // Русская старина. 1884, июль, ноябрь.

87

Сборник «Статьи о Пушкине» издан посмертно в 1926 г. с предисловием Леонида Гроссмана [публикуется в конце тома]. Комментарии составлены Е. Ю. Литвин.

88

Впервые: «Вопросы теории и психологии творчества». Т. 8. Харьков, 1923. С. 65–68.

89

Впервые: историко-литературный временник «Атеней». Кн. I. Пг., 1924. С. 25–36. Рецензии на эту статью появились уже после смерти Гершензона – см.: Н. Бельчиков («Печать и революция». 1925. № 2. С. 263); Н. Измайлов («Атеней». 1926. Кн. III. С. 142).

90

Пушкин познакомился с Батюшковым в начале февраля 1815 г., когда Батюшков посетил Пушкина в Царском Селе. В 1813–1817 гг. Пушкин испытал сильное воздействие эпикурейской, элегической и батальной лирики, а также сатиры Батюшкова, и в лицейские годы посвятил ему два послания – «К Батюшкову» («Философ резвый и пиит») (1814) и «Батюшкову» («В пещерах Геликона») (1815). Батюшков и Пушкин встречаются в «Арзамасе», на «субботах» В. А. Жуковского. Батюшков внимательно следит за поэтическим развитием Пушкина и в 1818 г. дает высокую оценку первым песням «Руслана и Людмилы». В 1824–1828 гг. в разговорах и набросках критических статей Пушкин постоянно возвращается к оценке творчества и исторического значения Батюшкова, которого (наряду с Жуковским) считает основателем в русской поэзии «школы гармонической точности». Наиболее развернутый разбор и недостатков лирики Батюшкова содержится в заметках Пушкина на полях «Опытов в стихах» Батюшкова. Как верно отмечено Гершензоном, в «Медном всаднике» у Пушкина есть следы чтения прозы Батюшкова. Последняя их встреча состоялась 3 апреля 1830 г., когда Пушкин навещил душевнобольного Батюшкова в Грузинах под Москвой (Черейский–2. С. 29–30).

91

Впервые – в т. VI Пушкина. Изд. Брокгауз – Эфрон. Пг., 1915. С. 258–265.

92

Речь идет о письме Пушкина Чаадаеву от 6 июля 1831 г. из Царского Села. Чаадаев передал Пушкину шестое и седьмое письмо из общего числа восьми писем, составляющих корпус его эпистолярного сочинения (до восстановления всего цикла «Философических писем» письма, находящиеся у Пушкина, считались вторым и третьим). Подробнее об этом см.: Шаховской Д. П. Я. Чаадаев – автор «Философических писем» // ЛН. Т. 22–24. С. 6–17.

93

Письмо Чаадаева Пушкину, приблизительно датированное мартом – апрелем 1829 г. (оригинал – по-французски) – несколько иная редакция перевода в последнем издании переписки Пушкина. См.: Переписка А. С. Пушкина в двух томах. Том 2. М.: Художественная литература, 1982. С. 270.

94

Письмо Чаадаева Пушкину от 17 июня 1831 г. В последнем издании писем Чаадаева этот текст выглядит следующим образом: «Это – несчастье, мой друг, что нам не пришлось в жизни сойтись ближе с вами. Я продолжаю думать, что нам суждено было идти вместе, и что из этого впоследствии вышло бы нечто полезное и для нас и для других» (Чаадаев П. Я. Полное собрание сочинений и избранные письма в 2-х томах (серия «Памятники философской мысли»). Том 2. М.: Наука, 1991. С. 67) – в этом издании перевод дается по тексту редакционного перевода журнала «Русский архив».

95

Письмо Чаадаева Пушкину от 18 сентября 1831 г.

96

Гершензон, очевидно, дает свой собственный перевод данного письма, так как редакционный перевод его выглядит несколько иначе (см.: Чаадаев... Т. 2. 1991. С. 69–73, 286).

97

Письмо от 19 октября 1836 г. не было отправлено Чаадаеву. Гершензон, очевидно, имеет в виду следующие рассуждения Пушкина о России: «<...> У греков мы взяли евангелие и предания, но не дух ребяческой мелочности и словопрений. Нравы Византии никогда не были нравами Киева. Наше духовенство до Феофана было достойно уважения, оно никогда не пятнало себя низостями папизма и, конечно, никогда бы не вызвало реформации в тот момент, когда человечество больше всего нуждалось в единстве. <...> Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с вами согласиться <...> Татарское нашествие – печальное и великое зрелище. Пробуждение России, развитие ее могущества, ее движение к единству (к русскому единству, разумеется), оба Ивана, величественная драма, начавшаяся в Угличе и закончившаяся в Ипатьевском монастыре, – как, неужели все это не история, а лишь бледный и полузабытый сон? А Петр Великий, который есть целая всемирная история! А Екатерина II, которая поставила Россию на пороге Европы? А Александр, который привел нас в Париж? <...> я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как литератора – меня раздражают, как человек с предрассудками – я оскорблен, – но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам бог ее дал». – Переписка Пушкина. Т. 2. С. 289–290. Оригинал на франц. яз.

98

П. Я. Чаадаев умер 14 апреля 1856 г., т. е. через 19 лет, 2 месяца и 4 дня после кончины А. С. Пушкина.

99

Речь идет о письме Чаадаева к С. П. Шевыреву, датированному октябрём 1854 г. Оно впервые было опубликовано в Собрании сочинений и писем Чаадаева под ред. М. О. Гершензона (1913). В этом письме Чаадаев справедливо указывает на то, что «автор статей ни слова не упоминает обо мне <...> Признаюсь, это умышленное забвение отношений моих к Пушкину глубоко тронуло меня. Давно ли его не стало, а вот как правдолюбивое потомство, в угодность к своим взглядам, хранит предания о нем! Пушкин гордился моею дружбою, он говорил, что я спас от гибели его и его чувства, что я воспламенял в нем любовь к высокому, а Г. Бартенев находит, что до этого никому нет дела <...> Не пустое тщеславие побуждает меня говорить о себе, но уважение к памяти Пушкина, которого дружба принадлежит к лучшим годам жизни моей» (Чаадаев... Т. 2. С. 273).

100

Впервые в изд.: Пушкин А. С. Граф Нулин. Снимок с издания 1827 г., редактированного самим А. С. Пушкиным. С приложением статьи М. О. Гершензона. М.: Изд. М. и С. Сабашниковых, 1918. С. 1–3.

101

Гершензон цитирует «Статью седьмую» большой работы В. Г. Белинского «Сочинения Александра Пушкина». Эта статья включает в себя разбор поэм «Цыганы», «Полтава» и «Граф Нулин». См.: Белинский В.Г. Т.6 С. 359, 361, 362.

102

Статья П. О. Морозова «Граф Нулин» появилась во II томе издания Пушкина под редакцией С. А. Венгерова в серии «Библиотека великих писателей». СПб., 1908. С. 387–392. Цитаты, приводимой Гершензоном, в данной статье нет.

103

Эта заметка написана А. С. Пушкиным в 1830 г., опубликована П. В. Анненковым в 1855 г. (VII.С. 156, 488).

104

Неточная ссылка. Речь идет об издании: Дневник Алексея Николаевича Вульфа 1828–1831 гг. С предисловием и примечаниями М. Л. Гофмана и с приложением портрета А. Н. Вульфа. Отдельный оттиск из изд. «Пушкин и его современники». Вып. XXI–XXII. Петроград. Типография Императорской академии наук, 1915. 340 с.

105

Гершензон ошибся. В 1828 г. Погодин писал не о «Графе Нулине», а о IV и V главах «Евгения Онегина». См.: Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. Кн. 2. 2-е изд. СПб., 1904. С. 178–185. В данном случае речь идет об отзыве Н. И. Надеждина: «Первою жертвою этого государственного секретаря (по выражению Погодина) был Граф Нулин. В 1828 году в Петербурге вышла книжечка, заключающая в себе две повести в стихах: «Бал» (Баратынского) и «Граф Нулин» (Пушкина). Надеждин в «Вестнике Европы» (1829, № 2.С. 113, 151–171, 215–230) написал на эту книжечку разбор. Еще в другой своей статье под заглавием «Сонмище нигилистов» он заметил: «Литературный хаос, осеменяемый мрачною философию ничтожества, раздражается нулиными! Множить ли, делить ли нули на нули – они всегда остаются нулями! Неужели бедной нашей литературе вечно мыкаться в мрачной преисподней губительного нигилизма? <...> Никогда произведение не соответствовало так вполне носимому им имени. Граф Нулин есть нуль во всей математической полноте значения

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org
этого слова». Кончается разбор следующим общим замечанием: «Это суть прыщички на
лице вдовствующей нашей литературы! Они и красивы, и пухлы, и зрелы». И так, по
приговору Надеждина Пушкин и Баратынский суть прыщички нашей литературы». <...>
Критика эта возмутила Пушкина до глубины души. «Граф Нулин, – писал он, –
наделал мне больших хлопот. Нашли его, с позволения сказать, похабным, –
разумеется, в журналах; в свете приняли его благосклонно и никто из журналистов
не захотел за него вступиться. <...> (VII. С. 129. – Е.Л.). Как отмечает далее в
своей книге Барсуков: «Погодин в своем «Дневнике» записал: «Целое утро убеждал
Пушкина, чтоб он не намекал на царскую цензуру своим критикам. Бесится без
памяти за обвинение в безнравственности». Нас крайне удивляет, что Погодин,
будучи столь близок к Пушкину, не только был равнодушен к выходкам Надеждина
против Пушкина, но даже одобрял их и даже писал Шевыреву: «Надеждин вооружился
против Пушкина и говорил много дела между прочим, хотя и семинарским тоном».
(См.: Барсуков. Указ. соч. С. 343, 345, 346.)

106

В «Московском телеграфе» было упомянуто о выходе «Графа Нулина» и «Бала», но
рецензировался лишь последний (1828. № 24, декабрь. Раздел V «Русская
литература». С. 475–480).

107

Подробное описание этой книги под № 252 дано в работе: Модзалевский Б. Л.
Библиотека А. С. Пушкина (Библиографическое описание). – Отдельный оттиск из
издания «Пушкин и его современники». Вып. IX–X. СПб.: Типогр. Императорской
Академии наук, 1910. С. 67–68. (Воспроизводится по факсимильному изданию: М.:
книга, 1988.)

108

Всеволожский Никита Всеволодович (1799–1862) – с ноября 1816 г. актуариус
Коллегии иностранных дел, с марта 1829 г. служил по ведомству Тифлисского
губернатора; позднее камергер, действительный статский советник, основатель
литературно-политического общества «Зеленая лампа». Знакомство и общение с ним
Пушкина началось по окончании Лицея – в Коллегии иностранных дел, где они оба
служили, на вечерах А. А. Шаховского, на заседаниях «Зеленой лампы». «Дом
Всеволожских» Пушкин намеревался вывести в неосуществленном романе «Русский
Пелам». Пушкин был также знаком с семьей Всеволожского: женой Варварой
Петровной, сыном Всеволодом и отцом Всеволодом Алексеевичем (Черейский–2. С.
82–83).

109

Первые строки послания «Всеволожскому» выглядят так:

«Прости, счастливый сын пиров,
Балованный дитя свободы!» (I. С. 326).

110

Речь идет о письмах Пушкина Л. С. Пушкину и О. С. Пушкиной от 27 июля 1821 г. из Кишинева в Петербург: «... Вот еще важное: постарайся свидеться с Всеволожским – и возьми у него на мой счет число экземпляров моих сочинений... – экземпляров 30. Скажи ему, что я люблю его... что я помню вечера его, любезность его... Лампу его – и все елико друга моего <...>»; Л. С. Пушкину 4 сентября 1822 г., Я. Н. Толстому 26 сентября 1822 г. – также из Кишинева в Петербург (Х. С. 26, 37, 38).

111

Письмо из Тригорского в Петербург (Х. С. 101).

112

Письмо не от 8, а от 18 мая 1827 г. из Москвы в Тифлис (Х. С. 177–178).

Мария Ивановна Римская–Корсакова, урожд. Наумова (1764 или 1765–1832) – вдова камергера Александра Яковлевича Римского–Корсакова; Александра Александровна Римская–Корсакова, ее дочь (1803–1860), с 12 февраля 1832 г. жена князя Александра Николаевича Вяземского, корнета кавалергардского полка, за причастность к декабристскому движению (член Северного общества) переведенного в Спб. драгунский (уланский) полк, участвовавший в турецкой кампании, получившего чин поручика и в 1832 г. уволенного со службы. Московский знакомый Пушкина (сент. 1826 – начало 1830-х гг.). По возвращении из ссылки Пушкин стал частым посетителем «открытого дома» М. И. Римской–Корсаковой. С А. А. Корсаковой он также познакомился в доме ее матери. О семействе Римских–Корсаковых Пушкин упоминает в письмах к жене, Вяземскому и др. (Черейский–2. С. 369).

113

Во время своей поездки в Тифлис и далее в армию Пушкин вел дневник, сперва подробный и последовательный, далее – отрывочный. В 1835 г. он его обработал и пополнил, предполагая издать отдельной книжкой. Тогда же, 3 апреля 1835 г., написано предисловие. «Путешествие в Арзрум» появилось в первой книге журнала «Современник». До этого отрывок «Военная Грузинская дорога» был напечатан в «Литературной газете» от 1830 г., № 6. При печатании Пушкин сделал цензурные сокращения, в частности не печатал описания своего свидания с Ермоловым... а в описании Военно–Грузинской дороги пропустил цитату из стихов Рыльева (VI. С. 553).

114

В современном академическом издании Пушкина этих рецензий нет.

115

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org
Впервые в сб. «Вопросы теории и психологии творчества». Т. 8. Харьков, 1923. С. 69–76.

116

Гумбольдт Вильгельм (1767–1835) – немецкий философ, языковед и государственный деятель. Согласно теории исторического познания Гумбольдта, всемирная история есть результат деятельности духовной силы, лежащей за пределами познания, поэтому она не может быть понята с причинной точки зрения. В своем учении о языке Гумбольдт предложил оказавшийся весьма ценным метод сравнительно-исторического исследования языков. Основные сочинения Гумбольдта «О границах деятельности государства» (1792), «О задачах историка» (1821). В переводе П. Билярского в России в 1859 г. вышла книга Гумбольдта «О различии организмов человеческого языка и о влиянии этого различия на умственное развитие человеческого рода». СПб.: Тип. Имп. Акад. наук. 366 с. (См.: Библиотека А. А. Блока. Описание. Кн. 3. Л.: БАН, 1986. С. 221.)

См. также: Гумбольдт В. Язык и философия культуры. Пер. с нем. М.: Прогресс. 1985. Тень Пушкина.

117

Впервые в журнале «Искусство». 1923. Кн. I. С. 114–142.

118

«Таврида» (II. С. 103–105).

119

Цитата из незавершенного стихотворения, начинающегося со слов:

«Придет ужасный час... твои небесны очи
Покроются, мой друг, туманом вечной ночи <...>»

(II. С. 153, 347).

120

«Надеждой сладостной младенчески дыша...»

(II. С. 142).

121

II. С. 262.

122

Стихотворение «Недавно я в часы свободы...»

(1822) (II. с. 118).

123

Цитата из Нового завета: «Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?» (Соборное послание Святого апостола Иакова. Глава 2, стих 20).

124

Гершензон неточен. В «Разговорах с Гёте» Эккермана под датой 19.X.1823 г. канцлер Мюллер не упоминается. См.: «Разговоры с Гёте, собранные Эккерманом». Пер. с немецкого Д. В. Аверкиева. Ч. I. Изд. II. СПб., изд. А. С. Суворина, 1905. С. 33–34. В части I этого издания имя канцлера Мюллера упоминается на с. 3, 13, 31, 47, 62, 74–78, 136, 261; в части II на с. 7, 8, 10, 182, 210, 211.

См. также: Эккерман И. П. Разговоры с Гёте. Перевод с нем. Н. Ман. М.: Художественная литература, 1981. С. 77–78.

125

Впервые: Пушкин. Сб. I. Под ред. Н. К. Пиксанова. М.: Госиздат, 1924. С. 77–79.

278

Речь идет о двух чтениях: 16.1.1917 г. в Москве и 26.1.1917 г. в Петрограде.

279

В газете «Речь» за январь – февраль 1917 г. отзыв Ю. И. Айхенвальда о лекции М. О. Гершензона «Мудрость Пушкина» не обнаружен.

280

Речь идет о статье Д. С. Мережковского «Пушкин», вошедшей в его книгу «Вечные спутники»; в ней Мережковский разбирает книгу А. О. Смирновой (Россет) «Записки» и, отталкиваясь от текста «Записок», делает выводы о значении личности и

Гершензон М. Избранное. Мудрость Пушкина filosoff.org
творчества Пушкина для его современников и потомков. Приводим некоторые отрывки из статьи Мережковского: «Его не сравнивают ни со Львом Толстым, ни с Достоевским: ведь те – пророки, учителя, или хотя бы учителями, а Пушкин только поэт, только художник <...>». «Трудность обнаружить мирозерцание Пушкина заключается в том, что нет ни одного, главного произведения, в котором поэт сосредоточил бы свой гений... Наиболее совершенные создания Пушкина не имеют полной меры его сил: внимательный исследователь отходит от них с убеждением, что поэт выше своих созданий». «Народ и гений так связаны, что из одного и того же свойства народа проистекает и слабость и сила производимого им гения. Низкий уровень русской культуры – причина недовершенности пушкинской поэзии – в то же время благоприятствует той особенности его поэтического темперамента, которая делает русского поэта в известном отношении единственным даже среди величайших мировых поэтов. Эта особенность – простота». «В XIX веке, накануне шопенгауэровского пессимизма, проповеди усталости и буддийского отрешения от жизни, Пушкин в своей простоте – явление единственное, почти невероятное». «Вот мудрость Пушкина. Это – не аскетическое самоистязание, жажда мученичества во что бы то ни стало, как у Достоевского; не покаянный плач перед вечностью, как у Льва Толстого; не художественный нигилизм и нирвана в красоте, как у Тургенева; это – заздравная песня Ваху во славу жизни, вечное солнце, золотая мера вещей красота <...> Цена всякой человеческой мудрости воспитывается на отношении к смерти» (Цитируется по изданию: Мережковский Д. С. Вечные спутники. М., 1996. С. 373, 375, 381, 384, 387).

281

Гершензон цитирует по памяти следующий отрывок из главы о Пушкине в «Истории русской поэзии от Пушкина до наших дней» Н. Я. Абрамовича (лит. псевдоним Н. Кадмин): «Новый «реалистический» период жизни и творчества Пушкина ознаменован громадной внутренней работой. На первом месте стоит работа лично-внутренняя, работа дум, сознания, созерцания, постижения себя и мира <...> Чисто эстетический интерес к миру углубился художественным и психологическим интересом к нему» (Кадмин Н. (Н. Я. Абрамович). История русской поэзии от Пушкина до наших дней. Т. II. М., 1914. С. 28).

282

Цитата из «Энеиды» Вергилия (1, 33) (Бабичев Н. Т., Боровский Я. М. Словарь латинских крылатых слов. 3-е изд. М.: Русский язык. 1988. С. 787).

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://filosoff.org/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://dostoevskiyfyodor.ru/> Приятного чтения!